

Михаил Петрович Любимов
Записки непутевого резидента, или Will-o'- the-wisp



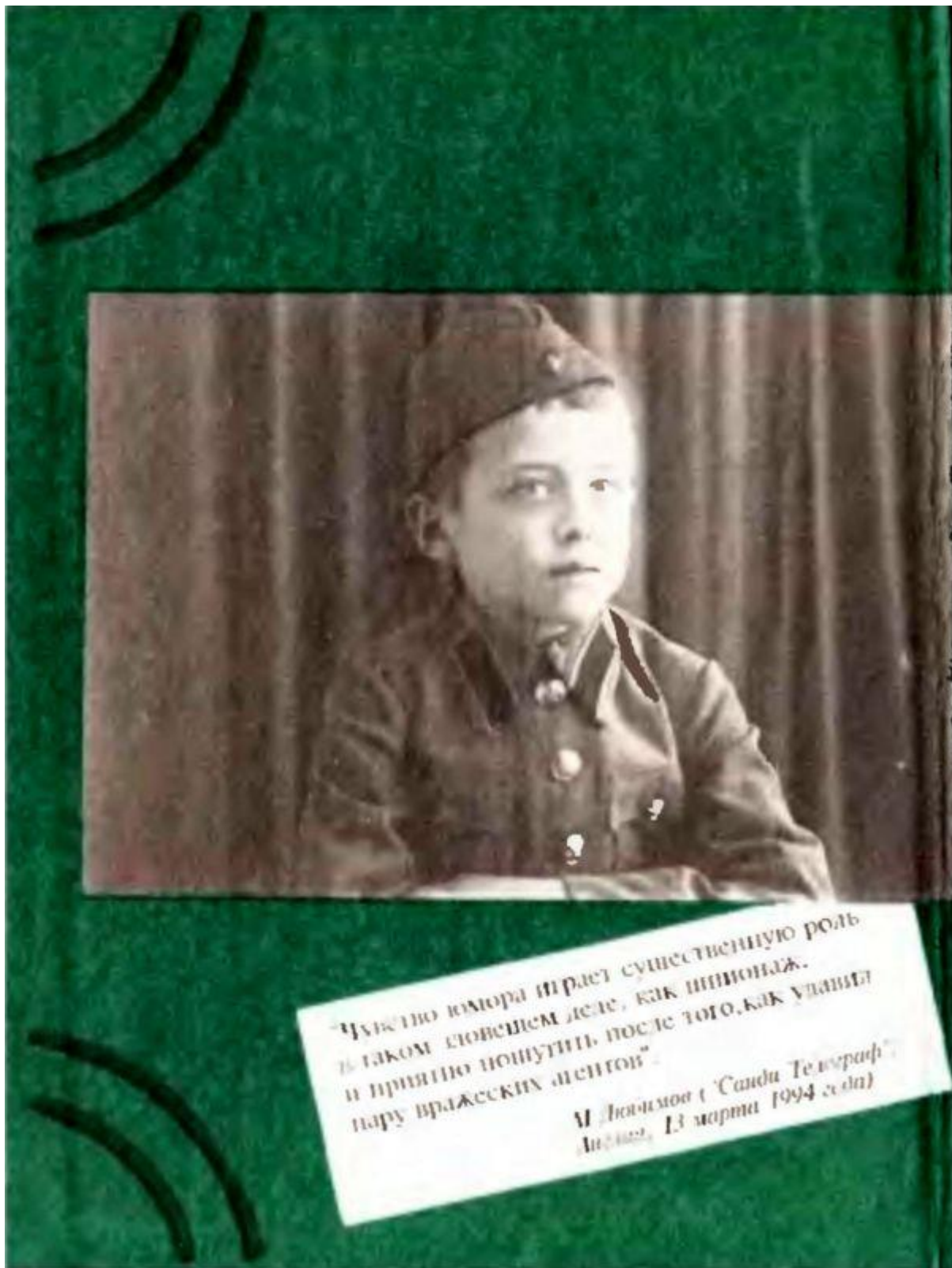
<http://kinozal.tv/details.php?id=1342625>

«Записки непутевого резидента, или Will-o'- the-wisp. Мемуар-роман с восемью командировками»: Художественная литература; Москва; 1995
ISBN 5-280-03067-8

Аннотация

Книга М. Любимова необычна. Это пронизанное юмором повествование о похождениях советского разведчика. Сам автор – бывший полковник разведки КГБ, ныне литератор.

Михаил Любимов
Записки непутевого резидента, или Will-o' – the-wisp
Мемуар-роман с восемью командировками





МИХАИЛ ЛЮБИМОВ

*Записки
непутевого резидента,
или
Will-o'-the-wisp*

МЕМУАР-РОМАН
С ВОСЕМЬЮ КОМАНДИРОВКАМИ



МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1995

Подмиг разведчика

Большевики, как известно, люди особого склада. Поскольку они знали только одну партию и путь к успеху при их власти был только один, то казалось нормальным, что герои эпохи кроются только из особого материала. Адмиралы, чекисты, сталевары... К некоторым фигурам этого героического мемориала Михаил Любимов прислоняется с загадочной улыбкой. «Сталевар» греет душу анкетным пунктом: «из рабочих», хотя всего-то – отец героя, подавшийся когда-то в Москву с Тамбовщины, сколько-то послесарничал, пока не прибился в ЧК. «Чекисты», таким образом, из безвестных героев делаются для будущего разведчика родней.

«Адмиралы» в его воображение впадают из рано прочитанного Новикова-Прибоя: прочти (или посмотри) он вовремя что-то другое, в его воображение ворвались бы конники, пограничники, летчики-пилоты, пушки-пулеметы... но все равно это были бы люди особого склада. Дитя социализма есть дитя социализма.

«Разведчику» в этой иерархии изначального места нет. Есть – «чекист»: стальной дзержинец с револьвером и в кожанке, «холодная голова и горячее сердце». Есть – «разведчик» полкового масштаба: бинокль у глаз, пакет на груди; апофеоз подвига – поедание пакета, когда тебя берут в плен. Но что такое «резидент», это мальчик, родившийся под звуки злодейского убийства товарища Кирова, вряд ли может вообразить. Здесь – лагуна, пробел, умолчание, белое пятно в синодике советских героев. Идти по улице Лондона с непроницаемым видом, прикрыв один глаз воротником... или нет: сидеть в лондонском пабе и хлебать суп из бычьих хвостов... или нет: упиться на светском рауте до положения риз и при этом железно запомнить, кто именно что именно тебе сказал и что ты завтра ему скажешь, телефонным звонком углубляя связь... Нет, это вообразить себе невозможно. В гайдаровскую систему это не вписывается. Я имею в виду Гайдара-деда с его героями, а не Гайдара-внука с его реформами (адмирала-сына, который меж ними проплыл, оставим Новикову-Прибою).

Так если герои социалистической эпохи все сплошь сделаны из особого материала, то что сказать о разведчиках, внедренных в тайные поры той и этой жизни? Разведчики сделаны из особо секретного материала. То есть из «ничего». Ничего не известно! Неразлично-неотлично. Невидимый фронт.

Десятилетия спустя вываливается из небытия Павел Судоплатов, когда-то сплетавший сети на полмира, и выясняется, что последние десятилетия своей деятельной жизни он сидел-таки в тюрьме и подавал прошения о смягчении участи как самый заправский зэк. Выясняется, что в «разведчиках» мог оказаться кто угодно... белый генерал Скоблин... американский физик Оппенгеймер... Вопрос о стимулах, убеждениях и мотивах сползает в неизвестность, и совершенно неясно, из какого же особого материала скроены тысячи и тысячи людей, составившие прославленную советскую разведку.

Просту говоря: что их ведет?

Вопрос – не для историка и очевидца; вопрос – для писателя.

По счастью, Михаил Любимов сочетает способности разведчика и писателя. Первое доказано карьерой чекиста, полковника КГБ, резидента, вербовщика, похитителя секретов и ловца агентов, прошедшего с честью через восемь «командировок». Второе доказано детективной прозой, коей агент занялся по выходе на раннюю (чекистскую) пенсию, – этот жанр поставил его в ряд, где Хаджи-Мурат Мугуев спорит с Юлианом Семеновым.

Мемуар-роман – это третье.

Мемуар-роман позволяет заглянуть в ту сферу, которая у разведчика засекречена много больше, чем его профессиональные подвиги, – в глубину мотивировок: в душу.

Насчет профессиональных секретов не будем строить иллюзий: М. Любимов открывает читателю ровно столько, сколько считает возможным, и ни на волос больше.

Как писатель М. Любимов открывает читателю много больше, чем хочет и планирует, – это особенность литературной стереофонии, эффект исповедальности, пластика талантливой руки, обрисовывающей контур так, что объем проступает как бы сам собой.

Стилистический штрих в автопортрете: «Уши. Сережки нормальные, оттопыривание отсутствует, выверта наружу нет» – выдает одновременно и школу тренировок «наружного наблюдения», и юмористическую готовность самому повернуться перед фотокамерой в фас и в профиль: *c'est la vie!* все мы под Богом... надо быть готовым ко всему.

Мне приходилось слышать читательские отзывы о текстах Любимова: зачем этот Лоуренс Аравийский столько острит! Лучше бы поподробнее описал технологию.

Не ждите: Лоуренс Аравийский про технологию лишнего не скажет; того, что он уже сказал, достаточно для размышлений. Вопрос в том, о чем при этом размышлять.

И поскольку я размышляю не о том, как устроен тайник на свалке, а о том, что движет Лоуренсом Аравийским, когда он ищет этот тайник на английской свалке, – мне более всего важно именно то, как он на эту тему острит.

Иногда это облегчает чтение текста, иногда затрудняет: пестрение шуточек, флер

иронических иносказаний, облако, составленное из опознавательных острот Кэрролла, Ильфа, Петрова и прочих знаковых корифеев великой эпохи. Эта система иносказаний слишком знакома людям моего поколения: мы, школяры сороковых годов, могли объясниться исключительно репликами Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, – это был стиль, шик, компенсация зажатости, выброс энергии, загнанной в подсознание. Это было – как код «разведчика», заброшенного... не в Англию, не в Данию и не в Аравию, а в родимую повседневную реальность, где на каждом шагу подстерегает запрет и грозит опасность.

Михаил Любимов – из этого самого поколения. «Шестидесятник», угодивший из одного Зазеркалья в другое. Дитя героической эпохи, затолканное матерью в окно переполненного вагона при эвакуации из Таганрога в Ташкент. Маленький строитель коммунизма, схватившийся штудировать Маркса, – томик взят у соседа по коммуналке; у того же соседа сперт из шкафа пистолет, – наверное, в том дворе все соседи были – чекисты. После кишашей скорпионами ташкентской коммуналки «западный и очень уютный город Львов» кажется раем, тем более что замнач «Смерша» Прикарпатского военного округа (бывший слесарь с Тамбовщины) вселяется с семьей в «грациозный особняк с часовым у входа». Впрочем, между этим оплотом цивилизации и Московским институтом международных отношений, куда сын слесаря и замнач «Смерша» поступает на излете сталинской эпохи, – отрезвляющей прокладкой ложится культурный слой, накопленный народом в уличной уборной – ее герой осваивает в «пионерлагере под Голицыном». Возможно, эта залитая дерьмом родная реальность черной дырой продолжает смотреть на нашего разведчика, когда он принимает кородрягу на дипломатических приемах.

Что такое кородряга, мы не знаем, и Мих. Любимов, опытный конспиратор, предупреждает нас, чтобы не пытались дознаться.

Мы знаем другое: мир, с детства распахнутый в воображенные светлые дали социализма, имеет противовесом темное Зазеркалье проклятого Запада. Потом Зазеркалье оборачивается: воображенная тьма компенсируется блеском жизни, проведенной в этом Зазеркалье как в непреложной реальности. Что изнутри держит душу посреди разведываемой кородряги: томик Маркса, изученный в отрочестве, пистолет, найденный у соседа в шкафу, обидная черная дыра голицынского пионерлагеря или часовой у подъезда дома «недалеко от Стрыйского парка» – этого Лоуренс Аравийский не скажет и самой королеве, не то что нам с вами. Но дело свое сделает. И как резидент, и как мемуарист.

Память разведчика удержит все, что надо. «Угольная яма», вывернутая в сверкающий резидентский быт, будет возвращена обратно. Это позволит автору мемуар-романа увидеть свою восьмикратно обернутую жизнь как целое – безжалостными глазами... впрочем, может быть, и жалостными, как сказал о том Владимир Набоков, а Михаил Любимов – в эпитафии – подтвердил, то ли заговорщически подмигнув нам, читателям, то ли смахнув предательскую слезу.

Л. Аннинский

*Записки
непутового резидента,
или
Will-o'-the-wisp*

МЕМУАР-РОМАН
С ВОСЕМЬЮ КОМАНДИРОВКАМИ

– Смотри, Пьетро, какие блистающие глаза у малютки, какой ум написан у него на лобике! Наверное, он будет если не кардиналом, то, во всяком случае, полковником!

Михаил Кузин. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро

...Дорогими слепыми глазами
Не смотри на меня, пожалей,
Не ищи в этой угольной яме,
Не нащупывай жизни моей!

Владимир Набоков

Предыстория, 1934 – 1961

Будущий полковник КГБ родился в роковой 1934 год (убийство Кирова) в семье чекиста с 1918 года, женатого на красавице из Днепропетровска. Именно в этом городе, где потом дерзал Брежнев, в доме на улице Маркса (странно, что дитяню не нарекли Карлом или, на худой конец, Владленом) под родительским крылом и предпочла мама дать мне жизнь, правда, через три месяца после этого эпохального события благополучно возвратилась на место постоянной прописки в Даев переулок, что на Сретенке.

Отец родом из Кадома Тамбовской губернии, дед – крестьянин и ремесленник, переехал туда из деревни; отец неплохо слесарничал (одно время в анкетах в графе «социальное положение», стыдясь паразитического и негегемонского «из служащих», я гордо писал «из рабочих»), в 1918 году приехал на заработки в Москву и случайно попал на работу в ЧК.

Дедушка по маминой линии был врачом и носил пенсне, бабушка писала стихи и болела диабетом.

Глубже все корни обрублены и покрыты мраком: в семье никто прошлым не интересовался.

Простые люди, которых Октябрь, как говорится, поднял на гребень.

Черт побери.

Так я хотел начать.

Попытка жизнеописания в надежде, что жизнь, запечатленная в Слове, сообщит мешку с костями полковника желанное бессмертие.

Самоутверждение, чтобы, корчась в предсмертных судорогах, гордо прохрипеть, что прожил безупречную жизнь и, если бы довелось, повторил бы всю эту катавасию снова и, конечно же, снова поступил бы в КГБ.

Не хочется. Если повторять, то можно найти место и поудобнее, вся жизнь и все силы отданы гнусной Системке, которая и взрастила и подарила вполне благополучное существование и, распавшись, оставила только горечь.

По милости Истории главный герой не вырывал ногти подследственным и не стрелял в затылок (наверное, смог, если бы потребовали Родина и Партия: ломали людей и покрепче), да и на разведывательном поприще небоскребов не взрывал и королев не травил – занимался в основном кражей секретов, не такой уж страшный грех, если даже святой Августин воровал груши из соседского сада, а отец Флоренский столкнул с лестницы своего брата Васеньку (сами признались).

Системка изначально немного кастрировала мозги героя (если можно быть немного беременной), всю жизнь он набирался ума, прозревал и, возможно, прозрел окончательно, что похвально, когда дело касается полковников.

Впрочем, прозревал он с большинством родного народа (это утешает душу коллективиста), от него, от народа, он не отрывался ни туда, ни сюда, с ним и путался, и полностью запутался, а на старости лет вдруг осознал, что и жизнь, и история – всего лишь бред, в общем, шум и ярость.

Взглянем на героя с высоты низколетящего самолета, что избавляет от разгребания завалов души.

Перед вами человек с головой длиною в 10,83 дюйма и шириною в 6,36 дюйма (со щеками гораздо больше), в детстве за большой затылок дразнили Геббельсом, нос, к сожалению, не длинный и не крючком, как хотелось бы, дабы возбуждать внимание дам, а весьма ординарный, небольшой, с заметными кровеносными сосудами (с детства), с годами выросшими по загадочной причине в склеротические жилки, выступ надбровных дуг убого мал и не отдает талантом, зато высота лба внушает уважение, лоб растет с каждым годом все выше и выше, как полет наших птиц. Уши: сережки нормальные, прекрасный верхний бордюр, выверта наружу нет, объем противозазелка нормальный, оттопыривание отсутствует (*nota bene!*), общая форма – овальная, по периметру ползут одуванчики светлых волос, они вздымаются и вдруг напарываются на черный, неясно зачем и откуда выросший куст.

Обладатель головы впивается в эту смоль двумя обгрызенными пальцами, с наслаждением

вырывает куст и подносит к глазам, дивясь, что такое может вырасти на человеческом ухе, пробует добычу на язык, дует изо всех сил, щекочет волосинками нос, чихает и, сдерживая искушение все это заглотнуть, вдруг хохочет и с сожалением кидает на пол.

Бесцветны и жидки брови, они нарисованы, словно для подтверждения, что эта сторона головки сыра суть лицо, узко и безрадостно межглазное пространство, что свидетельствует об остроте ума, а возможно, о тупости, контур фаса – лошадиный, но размытый в ширину все из-за тех же необъятных щек.

Глаза серые и невыразительные, шпионско-дипломатические, рот правильный, почему-то не чувственный, без заячьей губы и слюнявости, он, правда, становится выразительней и часто раскрывается после стакана кородраги¹, зубы все с пломбами, с некоторых слезла эмаль, но все вместе образует великолепную улыбку, по многим свидетельствам, не единственное достоинство полковника. Подбородок не выпирает несокрушимой волей, как у настоящих рыцарей, хотя герой скромно относит к себе строчки Вяземского: «Под бурей рока – твердый камень, в волненьи страсти – легкий лист».

Сейчас это любопытное соединение щек и задницы начнет ползти и по жизни, и по разведке.

Итак, мемуар-роман с восемью командировками.

Мемуар, ибо все было и ни капли лжи.

Роман, ибо все фикция: человек не способен восстановить прошлое, тем более сотрудник разведки, вечно помешанный на конспирации.

Роман с командировками, ибо автор не может без командировок, особенно заграничных.

Исповедь? Возможно.

Will-o'- the-wisp – это блуждающий огонек. Они мерцают в дали, блуждающие огоньки, и заманивают путников в болотные топи.

Серебряных дел мастер и авантюрист Бенвенуто Челлини учил вволю послужить государю, а потом обязательно описать свою жизнь, но сделать это не раньше сорока.

Челлини был не писатель, не литератор, а просто человек пишущий. Это намек.

Хронология невыносима, все мозаично, процесс воспоминания – это тоже жизнь, это лишь переход в другое измерение.

Чосер перевел у Боккаччо: «Шутник с кинжалом под плащом». Еще намек.

Льюис Кэрролл играл в куролесы и писал повесть в виде хвоста.

Хвосты. Хвосты в институте. Суп из бычьих хвостов в Лондоне. Хвосты слезки. Хвосты убегающих комет счастья. Кошке под хвост. Хвосты бесов. Хвост павлина. Собственный хвост, наконец, самый главный. Сначала хвостик, потом хвост, а дальше уже хвостище, каждый волос имеет голос, губы имеет, голову, нос, поет, заливаясь каждый волос и, следовательно, – целый хвост.

Хвост и мемуар-роман имеют общее: они оба сзади.

Жизнь проступает пятнами, – она уже вымахала в океан, ее можно окинуть взором и ничего не увидеть, поэтому лучше смотреть в одну точку: пятно – человек, пятно – событие, пятно – дымка, которую сейчас уже не разгадать.

Самое раннее пятно, пророческое: младенец стоит с выпученными глазками в кровати, разминая и размазывая (возможно, и поедая) собственные экскременты, он орет от возмущения, дозываясь мамы.

Пятно святотатственное: года четыре, мост у Азовского моря в Таганроге, герой в коротких штанишках, крестом перепоясанных на груди и на спине, указывает грязным пальчиком на священника: «Мама, почему дядя в юбке?» Священник хмуро делает маме выговор за плохое воспитание ребенка, мама тушуетя и извиняется, мальчик недоумевает. Можно дописать: так я стал коммунистом.

Пятно фрейдистское: уже шесть лет, сороковой год, Киев, улица 25-го Октября (Крещатик); автор играет в «папу и маму» с девочкой Леной, которая готовит обед в игрушечной кастрюльке, баюкает детей-кукол, рассказывает «папе» о приключениях Карика и

¹ Просьба не рыскать по энциклопедиям, не раздражаться и не нервничать, а спокойно прочитать роман.

Вали (популярная книга), «папа» же с интересом смотрит на трусики «мамы», он уже знает, чем женщины отличаются от мужчин, но помалкивает.

Еще пятно фрейдистское (о ужас!): уже семь лет, женская баня в Ташкенте, где загадочно мелькают темные треугольники, бабы ругают маму почему зря: «Мальчик-то уже взрослый! Все видит! Что вы его с собою водите?» Мама утверждает, что мальчик еще маленький, и дитя опускает глазки с манящих волосатых треугольников на мокрый пол. Невеликое прегрешение по сравнению с Жан-Жаком Руссо, который не только занимался страшным делом – онанизмом, но и в содомию чуть не влез.

Вот и все самые яркие пятна до семи лет, какая обида! Ничего светлого, ничего святого, ни общения с березками, ни заветного камня у речки, ни радуги, вдруг раскрывшей перед мальчиком свой павлиний хвост.

А потом 22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, и нам объявили, – мать, вой сирен, набитые бомбоубежища (нравилось выходить и смотреть на прожекторы, бегущие по небу), в переполненном эшелоне добрались до родителей в Днепропетровске, дожидались побед Красной Армии, но пришлось эвакуироваться в Таганрог, вскоре и там начали бомбить. Дранг нах остен. В Ташкент с пересадками, ужасный Сталинград: толпы атаковали вагоны и устраивались с тюками на крышах, мама с рыданиями втиснула меня в окно, в руки здоровых офицеров, умоляла проводника впустить ее, но страж был как кремень (страх, что я уеду без мамы), наконец мама в купе и смеется, и я счастлив, хотя и задыхаюсь от дыма папирос.

Длинный коридор коммуналки в Ташкенте, все завалено саксаулом, симпатяги-арыки, куда запускал бумажные кораблики, чтение писем от папы с фронта, патриотические ответы в стихах: «Вот лоб суровый, взгляд бесстрашный, револьвер держишь ты в руке, в атаку ходишь ты бесстрашно, и все же думаешь о мне!»

С годами патриотизм крепчал, социальная направленность определяла творчество, и единственным аполитичным стихом (его стыдился и любил) были несколько строчек о коте Барсике, который хулиганил, за что и получил.

В школе я проникся лозунгом «учиться, учиться и учиться!», у соседа по коммуналке попросил Маркса, важно прочитал страницы три «Капитала» (ничего не понял, впрочем, не понимаю и сейчас), но возгордился и ликовал, когда слышал беседы мамы с подругами: «Мишенька осваивает Маркса». Квартира кишела скорпионами, и один таки меня ночью ткнул, визжал я ужасно, ибо его раздавил и еще больше перепугался, сбежались все соседи, уверили, что сейчас не сезон и укус неопасен, мертвого скорпиона сунули в банку и залили спиртом – теперь будет противоядие (пить? делать инъекцию? – этого никто не знал).

Прегрешения: у добряка-соседа, приобщившего к Марксу, слямзил из шкафа пистолет, но был засечен мамой.

В ташкентском нашем дворе жило много шпаны, нас, мальцов, подкармливали жмыхом и использовали на побегушках, впрочем, мальцы (1–2 классы) живо интересовались тайнами зачатия, оттачивали мат и даже пощупывали девочек, визжавших от счастья.

В 1943 году, похоронив родителей, мама перебралась в Москву: аэростаты в небе, немецкие пленные после Сталинграда, бредущие по улицам под конвоем, жизнь у приятельницы в комнатухе на Серпуховке (любил я покопаться в ее шкафу, разглядывая лифчики, юбки и презервативы, запрятанные в шкатулку), в школе я был чужаком и иногда доставалось, особенно запомнилось, как лупцевали ранцами, набитыми учебниками (от книг всегда больно), телефоны-автоматы у метро «Серпуховская», – из них так нравилось звонить кому попало! – дребезжащий трамвай, погоня за ним, хват за поручни, прыжок на ступеньку, шикарнейший соскок на полном ходу...

Настало время всерьез готовить себя к мировой славе, голоса у вундеркинда не было, шахматные таланты не прорезались, пришлось последовать примеру русских классиков, входивших в историю с младых ногтей (правда, я считал, что Пушкин начал писать слишком поздно).

Так появился роман из морской жизни, созданный под влиянием Новикова-Прибоя, страниц десять, написанных кровью сердца («Прекрасный роман, сынок, одно лишь замечание: у тебя адмирал ест мороженое в метро, но разве наш советский адмирал станет это делать?»).

Но романы пишутся долго, они ведь должны быть толстыми, а славы хотелось сразу же,

одним махом: пришлось наполнить тетрадку стихами, нарисовать иллюстрации (тут помогал дружок) и отправить в «Пионерскую правду», регулярно открывавшую geniев. Ответ как кулак в нос: «Печатать стихи в газете тебе еще рано. Учись писать правильно. Слова «светит» нет. Присылай стихи на консультацию...».

Вместе с мамой делали бусы: залезали в прозрачные стекляшки кисточками с краской, мазали почище Кандинского, потом нанизывали стекляшки на толстую нитку, – артель была довольна, бусы, как ни странно, шли нарасхват.

Отец в то время ловил диверсантов на разных фронтах, один раз приехал в Москву в белом коротком полушубке, на фронте забурел, сморкался прямо на тротуар, зажав пальцем одну ноздрю, я впился в его трофейный «вальтер» и забыл обо всем на свете.

Страшные дни в пионерлагере под Голицыном: нелегкие соприкосновения с деревянной уборной, утопавшей в грязи, унижительное сидение над черными дырами, куда старшеклассники грозили сбросить, нелегкое привыкание городского мальчика к орлиной позе – зачатки ненависти к пионерлагерям, общественным клозетам и прочим формам коллективизма.

В 1944 году после захвата Львова отца поставили заместителем начальника «Смерша» Прикарпатского округа, мы переселились из Москвы в типично западный и очень уютный город, где стояли добротные дома и особняки с палисадниками. Город утопал в зелени, весной полыхали белыми гроздьями каштаны на Гвардейской, там недалеко от Стрыйского парка мы и устроились.

Школа с недалекими, но милыми учителями, день Победы и радостные люди, палившие в небо из автоматов и пистолетов, внезапная смерть мамы, завывавшая собачонка Ролька (ее потом искусал дог), запах свечей в часовне Лычаковского кладбища, переезд в грациозный особняк с часовым у входа, недостижимая блондинка Оля в бантиках, с которой все же однажды прошел под руку по Академической, обсаженной тополями, за толстушкой Инной ухаживал а-ля маркиз де Сад: стрелял в нее солью из духового ружья, целясь чуть пониже спины, однажды попал и убил роман.

Уроки музыки, потные руки, становившиеся еще горячее и мокрее, если об этом думать, проклятый Черни-мучитель, как я ненавидел его этюды!

Пятно животного хохота: школьный карнавал, когда в танце краковяк лопнула бечевка в огромных шароварах запорожского казака и бедный мальчик, путаясь и потев, с трудом добрался до сортира и там часа два продевал булавкой новую веревку.

Пятно политического негодования: убийство бандеровцами униатского священника Костельника прямо у рынка, а затем и писателя Ярослава Галана, борца с иезуитами.

Пятно нежности: до смерти желанная учительница физкультуры; грубое пятнище: бритый наголо географ в галифе, потешавший весь класс матом, пятно – занудство: преподавательница украинского в оспинках, научившая декламировать стих о Сталине знаменитого Павло Тычины: «Людина стоїть в зореносім Кремлі, людина у сірій військовій шинелі», – выступал на всех концертах самодеятельности.

В 1949 году отца перебросили в Куйбышев, школьный драмкружок, репертуар от Сатина и Протасова, через Астрова к современным американским полковникам – исчадиям ада, платонический роман с девушкой из соседней школы, работа над собой во имя великого будущего, с выписками афоризмов в толстые тетради (на случай выступлений с трибуны ООН), неудачное обучение плаванию в Волге одноклассника и гения шахмат Льва Полугаевского, который чуть не утонул и очень после этого на меня разозлился.

А еще я ловил в озерах карасей бреднем, запер случайно в квартире опаздывавшего на поезд друга отца, за что получил от папы по морде (в первый раз, второй – уже в Москве, когда затанцевал его партнершу), собирал на квартире компании, пел с придыханием «Очи черные» под собственноручный аккомпанемент (считал себя обладателем неплохого альта, но, наблюдая за кислыми физиономиями слушателей, вскоре засомневался), а еще выиграла мы первенство города по волейболу среди школ, а еще был выпускной вечер с вручением золотой медали, вроде бы дававшей право распахивать ногою двери во все вузы без экзаменов, а еще – ночные гуляния у Волги, тогда еще нормально-широкой, а не огромной лужи, изуродованной водохранилищами, а еще, а еще...

Московский государственный институт международных отношений, все ново, все загадочно, и греют сердце обращения «вам, будущим дипломатам», впереди – вся жизнь, впереди успех, а пока поездки в подшефный колхоз с питанием одной картошкой – это веселило, и ночью соревновались, кто громче пукнет. Подслеповатый, похожий на постаревшего Добролюбова, профессор Дурденевский, ходивший в мидовской форме и пару раз по инерции отдавший мне честь (я носил отцовскую полковничью бекешу и сапоги, ноги при этом обматывал портянками, чем гордился), неудобная, но счастливая жизнь на Твербуле в крохотной комнатухе, снятой у актера театра имени Пушкина – бывшего Камерного (там узнал о Таирове, Коонен, о пьесах О’Нила и безыдейном «Багровом острове» Булгакова), первая любовь и блуждания в районе Патриарших, недалеко от дома Берии (однажды видел, как он прогуливался, отмахивая от себя охрану), золотой (!) медальон с дымчатым локоном, отставка отца и его переезд в Москву, смерть Сталина (на похороны не пошел из-за нелюбви к очередям), разброд и шатания после разоблачения Хрущевым «культы личности», и вновь обретенная вера в коммунизм – счастье человечества.

Попытка личного счастья, поиск Идеала – спутницы жизни а-ля Жорж Санд («когда сей женственный талант бросал перо и фолиант, часы любви бывали сладки – французы так на это падки» – это из институтской стенгазеты), но только покрасивее, искал целеустремленно и чисто, при этом очень уважал отца Сергия за железную волю (пальцы стал рубить в более зрелом возрасте). Записка от сокурсницы: «Я не знаю, Христос ли ты, но единственное, в чем я уверена: я не Магдалина и мне не нужны святые объятия пастора ни в коем случае, будь то пастор из монахов Боккаччо или фанатик, уничтожающий свою плоть. Аминь!»

Прощальная выставка дрезденской галереи, взволновавшая Москву, встреча с первой женой Катей в домике на ул. Огарева (деревянный ангел висел в коммунальной комнате), тусклая практика в отделе печати МИДа, статьи под псевдонимом с критикой американских корреспондентов в Москве («Пуговичная» объективность г-на Катлера – шедевр пропагандистской атаки), там пятно-дерьмо: выступил на собрании с критикой начальства за плохую работу с практикантами, начальство возмутилось, снова выступил, но уже в другом тоне².

Но вот распределение в Финляндию, прощай, предыстория, ты оказалась такой короткой, здравствуй, зрелая жизнь, переполненная подвигами на ниве невидимого фронта.

Вперед под звуки марша, под музыку Судьбы, сверкните неповторимой улыбкой, сэр, но не застывайте в ней, помня об отскочившей эмали на зубах, вдохните и выдохните воздух!

Я просил своего друга Игоря Крылова, крупного ученого и добрейшего человека, посвятить мне венок сонетов, он и написал:

«Мой друг, спешу тебе ответить, творец, мыслитель и поэт, зачем тебе венок сонетов? Я напишу тебе букет. Ведь согласишься со мной, мой милый, что в буче нашей боевой венки мы ставим у могилы, а ты еще – вполне живой. А коль взглянуть на дело трезво (Светоний это описал), венок придумал Юлий Цезарь: он плешь венками прикрывал. Зачем тебе такие вещи? Ведь череп твой ничем не блещет!»

Череп, действительно, не блещет, но зато какой хвост!

И я исчезаю из предыстории, как Чеширский кот: первым – кончик хвоста, последней – улыбка, до этого она долго парила в воздухе, удивляя Алису: ведь она видела котов без улыбки, но никогда не подозревала, что улыбка может быть без кота.

Улыбка тем временем опускается вниз на грешную землю, прямо между разведкой и жизнью.

2

Как хороша поспешность!
Надо знать,
Что необдуманность иной раз лучше
Глубоких замыслов...

У. Шекспир

Лондон, 1961 – 1965

Король. Так приготовься. Корабль уж снаряжен, благоприятен ветер, отплыть в Англию ждут спутники, и все готово.

Гамлет. В Англию?

Король. Да, Гамлет.

Гамлет. Хорошо.

У. Шекспир

Привет, неуловимый, загадочный Альбион! Предрассветный Пэлл-Мэлл, по которому гнал я безбожно кар, мчался на первое свидание с сыном в трущобы Ист-Энда, воспетые в свое время Джеком Лондоном и другими обличителями капитализма, именно там и находился роддом, где трудились акушеры-коммунисты и потому риск погибнуть во время родов был гораздо меньше, чем в буржуазных больницах, где все, как известно, подвластно звону злата.

Привет, универмаг «Маркс и Спенсер», не бивший ценами по голове, как помпезный «Хэрродс», а дешевый, демократический магазин (не зря ведь носил святое имя!), где, стыдно признаться, меня, великого дипломата и шпиона, иногда покупатели принимали за сирого продавца и просили показать то терку для овощей, а то и жилет – наверное, на физиономии моей лежала печать предупредительной услужливости, недаром возвращен я был во времена Первого Машиниста Истории.

Привет, викторианский «Бакли-отель», грузноватое украшение Пиккадилли, – «Прощай, Пиккадилли, прощай, Лестер-сквер, далеко до Типперэри, но сердце мое здесь!» – и олени, гулявшие по лужайкам и газонам Ричмонд-парка, вечная загадка для русской души, ибо голову сломишь, но не поймешь, почему, несмотря на бродячие и лежащие толпы, трава в Англии дышит свежестью, а в родных пенатах, где ходить по ней строго запрещено, все вытерто и серо.

И коттеджи Челси в георгианском стиле с цветами на подоконниках и кожаными чиппендейлскими диванами, под которые тянуло заглянуть – вдруг там закоченевший труп из романа Агаты Кристи.

Looking at things and trying new drinks³.

Шел я к великолепному Альбиону извилистыми тропами: в тогда еще не до конца прогнившем МГИМО растили из меня американиста, вырастили полускандинава с ужасным шведским, но, как повелось в нашей плановой державе, загремел я на работу в посольство в Финляндии, хотя по-фински не знал ни слова.

Там я тихо тосковал, штемпелюя визы в консульстве, пристрастился к гороховому супу со шкварками и разогретому клюквенному соку, которым торговали прямо рядом с лыжней в Лахти, пытался понять «сухой закон» и увязать его с пьяными в дым на улицах и, конечно же, разинув рот, глазел на витрины, бегал в кино и до такой степени наслаждался свободой, что даже купил «Доктора Живаго» на английском, правда, не осмелился приобрести лежавший на другом прилавке русский оригинал, ибо его окружали Бердяев, «Грани» и прочий ужас – казалось, что Большой Брат не спускал с меня глаз.

В посольстве многое выглядело чертовщиной, окутанной пеленой важности и секретности: кто-то делал вырезки из газет, кто-то делал запись беседы с принятым в МИДе комическим заголовком «Из дневника N. N.», кто-то ничего не делал, но делал вид, что делал, на приемах все дружно напивались, а на следующий день говорили, что «прием прошел хорошо» и на нем «отлично поработали», а я страдал в своем консульском отделе и думал: неужели я родился для виз и справок о невыносимом положении финских трудящихся? Монолог Сатина о Человеке, рожденном для лучшего, крепко сидел в моих мозгах.

И в этом занудстве будней временами появлялись таинственные люди, снисходительно взиравшие на нас, тихих мышек – сотрудников МИДа, они вылезали из шикарных заграничных

³ Смотреть вокруг и пробовать новые напитки.

лимузинов, по лицам их блуждала озабоченность, словно в предвесье войны, они негромко переговаривались на своем профессиональном сленге и спешили в Кабинет – иной буквы, кроме заглавной, и не поставив! – где сидел резидент КГБ, человек всеильный, паривший где-то высоко над послом в невидимых облаках и вершивший настоящие дела, явно не имевшие ничего общего с бумажной суетой. Секретная служба, как жаждал я приобщиться к твоему рыцарскому ордену, к основе основ нашего непобедимого государства, как мечтал я войти в когорту отважных и посвященных, у которых были холодная голова, горячее сердце и чистые руки!

И вошел.

Очень скоро я начал работать на разведку и был нацелен на прыщавую долговязую девку-курьера из очень враждебного посольства, которую я должен был изучать и обрабатывать, постепенно завлекая в лоно. Горд я был ужасно – наконец почувствовал себя Человеком, а не клерком, наконец обрел долгожданную свободу и отныне меня не отторгали от иностранцев, наоборот, дали зеленый свет и бросили в гущу финляндской жизни, – ощущение свободы волновало, моя влюбленность в фирму была посильнее страсти Ромео.

Девка-курьер почему-то не спешила передавать секретные пакеты с сургучными печатями, хотя я всячески намекал ей на розовое будущее. Мой покровитель – консул Григорий был строг, как Иосиф Виссарионович, и предупредил, чтобы я не вздумал заводить с курьершей шуры-муры («КГБ знает все! Каждый твой шаг, каждый вздох! Даже у нее на квартире!») и работал на сугубо идейной основе.

Я и работал, больше всего боясь, что она вдруг вопьется мне в рот чувственными губами (консул Григорий вконец запугал меня провокациями), курьершу мой платонизм, по-видимому, не устраивал, службой она дорожила и вскоре дала мне от ворот поворот.

Впрочем, моя ретивость, очевидно, произвела впечатление, и мне предложили перейти в кадры разведки (несколько ночей я не спал от счастья, фантазировал, видел себя в «Подвиге разведчика», когда невозмутимый красавец Кадочников бросал в лицо врагу: «Вы болван, Штюбинг!»).

После обильных штудий в МГИМО и заграничной обкатки годовичные курсы в разведывательной школе под Москвой показали семечками. Там снова навалилась философия с ясным, как «Краткий курс», «Материализмом и эмпириокритицизмом»⁴, от которого, наверное, не раз переворачивался в гробу епископ Беркли, снова пришлось жевать отчеты генсеков и прочие партийные шедевры. Отраду душе давали экзотические спецнауки и превосходная английская библиотека, рисовавшая гораздо более яркую картину советского шпионажа, чем перегруженные трюизмами, до невероятности законспирированные учебники ветеранов, перековавших мечи на орала.

Если бы не два иностранных языка (кто изучал, кто совершенствовал), мы, уже оперившиеся слушатели, наверное, умерли бы от безделья. Развлекали спорт, дерзкие рейды в соседние селения, где наиболее озабоченные, особенно из провинции, решали свои внутренние проблемы, американские боевики и сладостные уик-энды в Москве. Юноша в то время я был предельно серьезный, преданный идее самоусовершенствования, потому навалился на французский язык, осилил четыре семестра и гордо читал на выпускном вечере стихи Превера о возлюбленной Барбаре-Варваре, шедшей под проливным дождем где-то около Бреста.

Любимым нашим приветствием по-французски было: «Что нового в сексуальной жизни?» – уж не такими мы были тупыми скучными монстрами, сморкавшимися в салфетку, нам, как и Марксу, ничто человеческое не было чуждо.

Не знаю почему, но острый глаз шефа отдела распознал во мне кадр, место которому не в нейтральной Швеции или провинциальных Норвегии и Дании, а в бывшей мастерской мира и владычице морей, – видимо, уже тогда было что-то во мне, напоминавшее о сэре Уинстоне.

Об Англии я кое-что знал с давних пор и даже читал в оригинале Шекспира, гордясь собственной ученостью, забубривал такие диковинные обороты, которые не могли понять даже

⁴ – Говорите по-человечески, – сказал Орленок Эд. – Я и половины этих слов не знаю! Да и сами вы, по-моему, их не понимаете. *Льюис Керролл*.

образованные англичане (не говоря о примитивах-американцах) и, уж конечно, наелся вдоволь британской классики, особенно медлительного и очень светского Голсуорси. От современников-англичан нас деликатно ограждали, боясь отравить сознание, за исключением прогрессивных Джеймса Олдриджа и Джека Линдсея, первый интриговал имиджем прозревшего английского дипломата, протянувшего руку социализму, второй бережил сердце невыносимыми страданиями рабочего класса.



Рисунок Кати Любимовой

Диккенс и Теккерей вроде бы жили и в наши дни – ведь ничто не изменилось в старой доброй Англии: в частных школах орудовали розгами жестокие педагоги, бедные гувернантки безнадежно влюблялись в самодовольных пэров и страсть их разбивалась о рифы сословного неравенства, вокруг бродило мерзкое жулье вроде Урии Гипа, ростовщики бросали несчастных нищих в долговые ямы, а лицемерка леди Шарп дерзко пробивалась из грязи в истеблишмент, торгуя совестью и телом.

И над всеми этими причудливыми английскими судьбами, словно божественное ослепительное солнце, высился гигант Карл Маркс, сумевший проверить на Англии свои универсальные законы, – ведь там началась первая промышленная революция, там появились мануфактуры и овцы съели людей, там, наконец, незрелые луддиты дали толчок пролетарскому движению.

Англия – Антанта, Англия – интервентка, нота Керзона, игры с Гитлером и Мюнхен, затяжка «второго фронта», речь Черчилля в Фултоне, Англия – заклятый враг, тонкий и хитрый в отличие от прямолинейного дядюшки Сэма.

Удивляло, что мудрый Сталин разрешил английским коммунистам (и только им!) переходить от капитализма к социализму мирным парламентским способом, а не проверенным путем вырезания граждан, обожавших буржуазный строй, меня эта ересь вождя даже смущала: теория должна быть четкой и нет иного блистательного перехода к социализму, кроме Октябрьской революции.

Британский лев отличался коварством, достаточно вспомнить капитана Крэбба, английского разведчика-водолаза, поднырнувшего под советский крейсер с Булганиным и Хрущевым во время стоянки в Портсмуте, дабы изучить секретные механизмы, – газеты писали, что его пришибли в воде, – поделом ему, думал я, застиг бы я его за этим грязным делом, двинул бы самолично кирпичом по голове.

Так я готовился к своей битве за Англию, корпел над разномастными фолиантами, включая даже стилизованный роман Голдсмита о похождениях китайца в Лондоне (возможно,

самое удачное пособие для русского разведчика), мечтал о дерзких акциях, о кражах самых страшных секретов, жаждал циркулировать в правительственных кругах, кого-то похлопывать по плечу, кому-то жать руку, кого-то ласково обнимать и – вербовать! вербовать! вербовать!

Впрочем, с живым Джоном Буллем я встречался не только в теории, судьбе угодно было столкнуть меня с Альбионом в институтские годы, когда я подрабатывал в «Интуристе» в середине 50-х годов. Организация тогда только начала оперяться и принимать первых клиентов, расстилая перед ними скатерти-самобранки самого-самого в мире социалистического общества, иностранцам демонстрировали лучший в мире университет, лучшее в мире метро, успехи колхозного строя на Сельскохозяйственной выставке, и не дай Бог туристу отойти в сторону от проспектов и сфотографировать нетипичную лачугу, белье, сушившееся на веревках, или помойку во дворе.

Вначале приезжали единицы, отчаянные смельчаки, но как их принимали, как кормили, как упайвали до положения риз под флагом знаменитого русского хлебосольства! О монбланы зернистой и паюсной икры, о нежные, как дыхание весны, ломтики осетрины, лососины и белуги, как тоскую я по вереницам бутылок с живительным грузинским вином, тогда еще не разбавленным водой... Ошеломленный турист бродил меж всех этих яств, расплачиваясь талонами (намек на отмену денег при коммунизме), и незрелыми своими мозгами переваривал все преимущества социалистической системы.

Мой первый англичанин оказался заядлым путешественником и кинолюбителем, он громко хохотал, раздувая розовые щеки и разрушая все мои представления о приличиях, он жестикулировал у моего носа, быстро ходил, почти бежал, мгновенно возбуждался и возмущался (просто какой-то итальянец или грузин!), особенно когда во время его незапланированных бесед с некоторыми чересчур прозападными советскими гражданами я переводил лишь те части их высказываний, которые совпадали с общей политической линией.

Как я намучился с его кинокамерой – ведь он пытался снять даже такой секретный объект, как здание КГБ на Лубянке, он нацеливался даже на такое важное стратегическое место, как Крымский мост. Да и с пропагандой все шло вкривь и вкось: все время сбивался он с проверенных маршрутов у Красной площади, уходил с улицы Горького в грязные боковые переулки, неожиданно спускался в подвалы, вереща своей чертовой кинокамерой, заговаривал со стилистами, позорившими облик советского человека узкими брюками, длинными пиджаками, туфлями на каучуковой подошве и любовью к джазу.

Перед вылетом в Ташкент, где мой англичанин планировал заснять восточный вариант советского счастья, у нас произошло ЧП, при воспоминании о котором и сейчас меня бросает в дрожь: оказался на ремонте туалет и мы заметались по аэропорту в поисках радости. Наши бега настолько затянулись, что мой быстроходный спутник уже напоминал большую взъерошенную курицу с остекленевшими глазами, спасавшуюся то ли от злого волка, то ли от ревущего сзади самосвала. Но вот наконец заветная дверь кабины, он рванул ее на себя со всей силой великого путешественника и метателя молота...

В то время я немного стыдился грязи в отечественных клозетах, хотя потом, в Лондоне, обнаружил почти полное сходство, разве что наши надписи на стенах явно уступали басурманским по изощренности, но дело было не в загаженности: как известно, в наших туалетах обычно по загадочной причине сломаны внутренние запоры – то ли у клиентов слишком много времени и они попутно отрывают щеколды, то ли ожидающие взламывают кабины и выбрасывают оттуда тех, кто имел несчастье задержаться, то ли хитроумные власти специально ломают замки в целях предупреждения гомосексуализма – «воистину, есть много вещей в этом мире, Горацио, что недоступны нашим мудрецам!». Итак, он рванул дверь на себя, и оттуда выпал прямо на кафельный пол седой человек в усах, сидевший на корточках прямо на пожелтевшем унитазе, упал не рядовой гражданин, а самый настоящий полковник⁵, который держался за ручку двери, охраняя свой покой, и теперь барахтался на грязном кафеле, путаясь в подтяжках.

⁵ Во время буддийских раздумий приходит мысль, что если человек после смерти превращается в иное создание, то возможны и метаморфозы по званиям – из полковника в полковника.

Скандал разразился превеликий, и не помогли мои заклинания о дружбе между советским и английским народами, мат стоял крепкий, полковник схватил моего англичанина за лацканы пиджака, и если бы не мои вопли об ответственности перед королевой и Министерством иностранных дел, то случилось бы страшное.

Этот эпизод, как ложка дегтя, испортил все мои старания, пропагандистские достижения мигом пошли насмарку, и я дрожал, что он уедет врагом нашей гостеприимной державы, да еще станет антикоммунистом, да еще статью тиснет и меня упомянет, – о, как хрупка жизнь будущего дипломата...

Но вот уже 1961 год, еще не списанный дореволюционный мягкий вагон, купе с рукомойником, отделанным бронзой, и мы с женою, молодые и красивые, среди коробок и тюков, набитых кастрюлями, бельем и прочими бытовыми предметами, на которые не хотелось тратить драгоценные фунты из зарплаты, не большей, чем у английского дворника, но в наших глазах равный кладу капитана Флинта.

Хук-Ван-Холланд, паром через Ла-Манш, Харич, скромный порт, да и наш паром мало напоминал приличествовавший событию фрегат под парусами. Я надвинул шляпу на глаза а-ля капитан Немо (сейчас бы черный плащ и бинокль – тут уже ни у кого не осталось бы сомнения, что прибыла важная птица), берег приближался, грудь распирала гордость от возложенной на меня шпионской миссии, охватывало приятное предвкушение опасного труда – так, наверное, чувствовала себя великая шпионка-танцовщица Мата Хари в своем парижском салоне перед тем, как прыгнуть в кровать к французским офицерам.

Правда, снедало и беспокойство, но не столько из-за боязни безжалостных капканов контрразведки МИ-5, сколько из-за смогов, которым посылал в свое время проклятия Карамзин: «Я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата сырого, мрачного, печального». Подобного климата я так и не ощутил, но тогда страшился грязных туманов – ведь мы ожидали ребенка и не хотели, чтобы малыш глотал проклятую сажу⁶. Однажды смог все же навалился на город, закутал его в такое грязно-молочное облако, что замерли автомобили, лишь некоторые смельчаки ползли, словно черепахи, с включенными фарами, и даже по улицам приходилось идти медленно и осторожно, вытянув руку вперед, как слепому, оставшемуся без поводыря.

И вот посольство на «улице миллионеров» в Кенсингтоне, с обеих сторон – чугунные ворота, вход охраняли верзилы в черных цилиндрах, рядом Кенсингтонский дворец и парк, миллионеров, правда, не видно, зато появилась пара веселых трубочистов.

Высочайшей волей резидента мне было повелено штурмовать бастион истеблишмента – консервативную партию Англии, партию тех самых упрямых, твердолобых тори, основанную преумнейшим Бенджамином Дизраэли, который был не только искусным политиком, но и жизнелюбом, прижившим пятерых детей от жены своего приятеля, лорда Купера. Вот они, сытые буржуа, твердящие о морали, не зря их клеймил Ильич: «Везде и всюду они лицемерны, но едва ли где доходит лицемерие до таких размеров и до такой утонченности, как в Англии».

Своей миссией я был польщен, ведь гораздо сложнее работать не в тех кругах, которые еще держали в святых Бернштейна и Маркса и не бежали от советских дипломатов, как черт от ладана, а там, где закаленные, убежденные слуги золотого мешка. Значит, начальство меня ценило, если нацелило на цитадель, именно мне суждено было стать хитроумным змием-разрушителем, который вползет в набитую секретными нору и разворотит все консервативные ульи. Не лейбористскую партию мне поручили, – кому нужны эти работяги? – не продажные тред-юнионы, а тех, кто засел в Форин Оффисе и самых горячих министерствах...

Мне виделся подтянутый молодой человек в безукоризненном сугубо английском костюме в полоску, с тщательно подобранным галстуком (нравились галстуки выпускников аристократической школы в Итоне – темный фон, перечерченный ярко-голубыми полосами, страсть к полосам не покидает меня и по сей день), который небрежно беседовал на балу в Букингемском дворце с английским министром обороны, министр крутился, как уж на

⁶ Тогда я еще не прочитал у Уайльда, что в Лондоне не бывает туманов и их придумал Тёрнер.

сковороде, увиливая от прямых ответов, и сам думал: «Боже мой, неужели у русских есть такие умные ребята? С ним ухо нужно держать востро! Да, он, пожалуй, осведомлен о состоянии нашей обороны лучше, чем я... И как молод! Как элегантен!»

Но до Букингемского было еще далеко – для начала нас с женой поселили в темном полуподвале на Эрлс-Террас, окнами выходявшем на по-хорошему русскую помойку: так складывался обычный путь новоприбывших – от низшего к высшему, – большинство дипломатов жили скученно в коммуналках (посольство в те годы не оплачивало квартиры, а нам они были не по карману) и улучшали свои жилищные условия по мере отбытия своих коллег в родные пенаты. В этой труппе мы счастливо провели первые полтора года вместе с родившимся сыном и совсем не чувствовали себя в положении английских пауперов – жизнь на родине была беднее, главное, беднее кислородом, а тут бушевали свободные спикеры в Гайд-парке, в галерее Тейт выставлялись запрещенные Ларионов и Гончарова, газеты и телевидение шокировали своими суждениями о Стране Советов – и сладки были эти запретные плоды.

Лондон ослепил меня разноликой суровой красотой, Лондон очень умен, Лондон – это интеллект, я до сих пор привязан к нему и с ужасом слушаю рассказы о том, что там скоро почти не останется англичан – все заполонят иммигранты. Облазил я и центр, и окрестности – это барин Карамзин разъезжал по нему на кебах, а нам, чернорабочим разведки, приходилось стаптывать много каблучков, ходить по самым хитрым переулкам, проверяться и проверять, и даже бегать, как случилось однажды, когда, пугая прохожих, я мчался с раскрытым атласом в руках, обливаясь потом, на встречу с агентом, бежал как на стометровке, ибо запутался на улицах, опаздывал и боялся, что агент уйдет.

Но самое главное, что в Лондоне на каждом шагу встречались англичане, и, Боже, как много было вокруг незавербованных англичан!⁷

Наглые тори, носители сверхсекретов, от которых зависели судьбы супердержавы (тогда все было *sure*), рядами бродили по Оксфорд-стрит, попыхивая бриаровыми трубками, прогуливали отмытых и причесанных собак, один вид которых унижал тех, кто на первое место ставил борьбу за счастье человечества, до одурения курили в кинотеатрах (к счастью, сейчас запретили, а тогда – за дымом исчезал экран, особенно на последнем сеансе, после которого англичане, особенно отставные колониальные полковники, вскакивали с кресел и торжественно пели «Правь, Британия»), орали во всю глотку на собачьих бегах и на рынке Портабелло, толкались, галдели, спорили – где ты, моя жар-птица, моя золотая рыбка?

С Англией у меня складывалась странная любовь: чем больше она мне нравилась, тем нервнее я себя чувствовал, словно совершал нечто постыдное, и тогда скрипело перо и летели иронические плевки в адрес Альбиона: «Зевает зябко под окном румяный полисмен. Мне снится нынче странный сон: почтенный джентльмен. Он вежлив, выдержан и строг, он в юмор с детства врос. В одной руке – любимый кот, в другой – любимый пес». Вот так его!

Этот жуткий джентльмен, этот призрак печальный! То он раскрывал красочный веер пороков и искушал меня, как святого Антония, то втягивал в свои грязные аферы, то, сокрушаясь по поводу своей дряблости, умолял: «Ты рифмой (!) помоги зажечь потухший мой очаг!» – а я, истинный коммунист-бессребреник, бросал ему презрительно в ответ: «Зачем, мой дорогой милорд, тебе камин топить? Ведь жить во злате и тепле – еще не значит жить!» И долдонил дальше: «Заборных стен твоих кирпич глаза мне красным жжет. К тому же пушки из бойниц уперлись прямо в лоб!»

И писано было это искренне и с душой, вот ужас-то! и не рассчитано на публику, хотя... кто знает? Может, где-то в закоулках подсознания и таилась мечта увидеть эти вирши в самой правдивой на свете газете «Правда».

Но прекрасны были и регата в Хенли, и набережная Чейни-Уок у домов, где жили и Габриэль Россетти, и мой фаворит Чарльз Алджернон Суинберн (именно его любил Мартин Иден), и люди попадались совсем не чопорные, как в романах (впрочем, были и снобы), а

⁷ Это напоминает трюизм, что в Англии даже извозчики говорят по-английски, но если серьезно, то просто мучительно искать контактов с англичанами в Копенгагене, где сплошные датчане.

милые и приветливые.

От запретной страсти к Альбиону бросало в дрожь, и весь этот флирт пахивал чуть ли не предательством. И тогда в сторону Альбиона летели уже не плевки, а рифмованные свинцовые пули. Я высмеивал регаты, погрязшие в разврате кабаки Сохо, жадных клерков Сити в дурацких котелках и с неизменными зонтами. Да и монархию сохранили, чтобы дурить головы, и тешили публику Вестминстерским аббатством, игрушечной гвардией и роскошным рестораном «Риц», в который, как известно, одинаково открыты двери и для богатых, и для бедных. Ха-ха.

Бесили меня и няни-гувернантки, толкавшие в Гайд-парке коляски с холеными, в красных бантиках детишками, эти сытые беби тоже раздражали (вспоминались голодающие в Африке), и хотелось разъяснить гувернанткам, что напрасно они смотрят так гордо – они лишь обслуга у ликующих, праздно болтающих, которым не до своих детей и не до труда на благо, им бы «Вдову Клико» в ночных кабаках... Какое счастье, что такого позорища не могло быть в нашей стране, где обилие детских садов с их равенством и братством и нет никаких бонн!

Взор мой метался в поисках честных и эксплуатируемых, они, естественно, встречались, пару раз я разговаривал с бомжами – от них воняло, да и понять сленг было невозможно, люмпены-бомжи явно не вписывались в революционную массу, на которую делала ставку компартия.

Я бывал в бедных кварталах с серыми, обшарпанными домами – это поддерживало огонь Веры, – беседовал с рабочими, но общего языка не находил, что приводило меня в смятение: неужели я оторвался от гегемона, который соль земли? Среди английских трудящихся я чувствовал себя дискомфортно, приходилось изображать простого парня, у которого папа работал слесарем (о ЧК я, естественно, помалкивал), что все равно не воспринималось на ура. Дипломатов рабочие не жаловали даже советских, видели в них чужой класс, впрочем, а кто их у нас любит?

Боже, неужели старший лейтенант был догматиком или еще хуже – дураком? Раскроем его личное дело, что на вечном хранении в отделе кадров, – фотография в штатском, фотография с погонами, анкеты разные, подписки, автобиография, парт- и прочие характеристики, составленный собственноручно список близких друзей (так полагалось), читаем доносы друзей, знакомых, подруг, а также дворников и управдомов⁸. Неужели дурак? А пуркуа па? А может, просто время было другое? Неужели весь народ... тоже... тс! не трогай святое! Неужели дурак? А почему бы нет?

И все равно терпеть не могу морганов, ротшильдов, особенно русских жуликов-предпринимателей, не выношу бонн и стриженных собак, ненавижу...

Не надо мучить старлея, ему еще надо успеть в полковники, ему еще надо ухитриться вовремя соскочить с поезда.

Неужели дурак?

Командировка в советское искусство, где разведчик крутится на подмостках, мучась от изжоги, циркулирует среди лордов и меломанов, хамит, танцует, вербует и играет все роли, кроме своей собственной

Силы такой не найти, которая б вытрясла из нас, россиян, губительную склонность к искусствам: ни тифозная вошь, ни уездные кисельные грязи по щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо.

Ан. Мариенгоф

⁸ Из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Всегда надо иметь в виду, что многие хозяева меблированных комнат и весьма значительный процент дворников могут оказывать услуги бюро разведки Чрезвычайной Комиссии, в особенности это практикуется в университетских городах».

Начать бы так: жили мы в Куйбышеве напротив оперного театра, и сей художественный факт золотым отпечатком лег на мое тогда еще не испорченное разведывательной деятельностью сердце.

И поставить точку или, на худой конец, добавить, что оперный театр располагался на просторной, как вся страна, площади, недалеко от памятника большому любителю искусства Василию Ивановичу Чапаеву, в театре иногда проводились и молодежные вечера с танцами, где будущему полковнику однажды из-за девушки чуть не начистили физиономию и только ноги, не раз потом выручавшие в битвах, уберегли от позорных синяков.

Уже в раннем детстве неугомонные родители, жаждавшие вырастить вундеркинда, напустили на меня тучи изящных муз. Особенно старался отец, всю жизнь с завистью поглядывавший на недостижимый Парнас, до революции он получил неплохую закваску в церковно-приходской школе, пел в церковном хоре, любил исполнять в кругу друзей оперные арии, обладая превосходным тенором, а иногда после рюмки брал гитару и ударялся в мещанские и цыганские романсы.

Первое мое серьезное приобщение к трем грациям состоялось в дни эвакуации в Ташкенте, когда мама приставила к первокласснику учительницу немецкого, заставившую выучить наизусть «Лесного царя» Гете (язык я возненавидел сразу и учил лишь в надежде оказаться за линией фронта у партизан), которого я потом читал несколько лет подряд ошеломленным моей эрудицией взрослым, читал, торжественно встав на стул, – они до слез умилялись и пачкали мои гордые щеки поцелуями.

После войны, уже во Львове, желание вылепить из меня маленького лорда Фаунтлероя не потухло: не успел я с помощью изощренных трюков сорвать занятия немецким, как в семье возникло трофейное пианино и я попал в лапы худосочной и педантичной музыкантши, замучившей упражнениями Черни. Коряво бухали в клавиши робкие пальцы и схватывала муть, наконец от Черни мы доползли до знаменитого вальса из «Фауста»...

Однако я был настойчив, и ненавистную пианистку тоже удалось выжить, после чего моя душа успокоилась и основательно застряла на брэнчании душераздирающих романсов типа: «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка и шарлатанка!»

Отец с меня не слезал, страсть как хотел привить мне любовь к прекрасному, водил в обожаемую им оперу, для страховки приобщил и к оперетте – обливаясь слезами и кровью, я прошел по всем гвоздям мирового репертуара от Кальмана до «Великой дружбы» Мурадели, разбитой вдрызг Вождем народов, ходили мы в оперу почти еженедельно, что закрепило во мне устойчивое отвращение к жанру.

Образовавшийся вакуум с класса восьмого, когда мы уже жили в Куйбышеве, заполонила в моем сердце лукавая Мельпомена, ею увлекся я самозабвенно, особенно блистал в образе дряхлого старца Крутицкого из «Мудреца», шаркал, хватался за бока, хромал, ронял челюсть, трясся, хрипел, шамкал, а школьный зал захлебывался от хохота, смотря на кривлявшегося идиота шестнадцати лет от роду.

Но себя я обрел в ролях фашистов, когда нужно было допрашивать, брызжа от злобы слюной, на что простые советские люди отвечали молчанием, доводя гадов до истерики, либо смело плевали в харю, причем копили слюну, старались плюнуть огромной порцией и попасть непременно в глаза (один партнер переиграл и сделал сразу три плевка).

Не удивительно, что спустя тридцать лет режиссер Салтыков попробовал меня на роль коменданта новгородского Кремля – ликом моим режиссер остался доволен: физиономия излучала презрение к трудовому народу, прусские сытость и тупость и природную агрессивность.

Правда, когда нужно было раскрывать надменный рот, замысел рухнул: под светом «юпитеров» и взглядами любопытных актеров я не мог вспомнить элементарный текст, даже «Здравствуйте. Садитесь. Будете говорить или нет?». Провал был полный, к счастью, утешила какая-то кудрявая седая дама с горящими глазами, попросив у меня автограф в свой паспорт (больше писать было некуда) и заверив, что никогда в жизни не видела таких добрых и симпатичных эсэсовцев, что, по ее мнению, доводило роль до невиданных глубин, драматизируя разрыв между вечной человечностью и покорным карьеризмом.

Искусство не покинуло меня и после окончания школы, когда я въехал в Москву

Растиньяком, пожелавшим покорить Париж и мир: накануне поступления в институт международных отношений, прямо у Большого театра (sic! – написал бы Ильич), куда я пришел считать колонны (на собеседовании интеллектуальная профессура обожала подкидывать подобные вопросы, еще мучили фамилиями генсеков всех стран мира), ко мне подошел низкорослый субъект в усиках и берете, взял под руку и залопотал: «Какой красивый мальчик! Какие у него губки! Мальчик, ты не хочешь пойти со мною в кафе-мороженое?»

Боже! кто этот тип? – о сексуальных меньшинствах я тогда и не подозревал, зато, будучи воспитанным в духе чекистской бдительности, видел везде козни американской разведки. Неужели они узнали о моем желании поступить в элитный МГИМО? Попытка вербовки, тонкий подход. Поражало, что щупальца империализма проникли столь глубоко в советскую почву, откуда они узнали обо мне? неужели мои друзья – это вражеские агенты? (последнее было впереди) или американцы внедрились в приемную комиссию?

Происшествие выглядело совершеннейшим ЧП, и, поскольку от родины и от партии у меня в то время не было секретов (а вы говорите, что не дурак), я собрался вывалить всю эту детективную историю на собеседовании – уж не знаю, какие трансцендентальные силы удержали меня от чистосердечного признания, правда, долго из-за этого я чувствовал себя неудобно – ведь не доложил! ведь с малого начинается предательство.

Музы играли мною, как любимой куклой: поселили в одном доме с актерами, научили писать лирические стишки девушкам и даже приобщили к делам живописным: институтский друг затащил меня в «Гранд-отель» и во время скромного пиршества таинственно отвел за угол ресторанного зала, где в толстой золоченой раме призывно развалилась обнаженная дама, нечто в стиле Буше. Я вспыхнул от смущения, почувствовав себя как мальчик, которого опытный сутенер затащил в публичный дом, нравы тогда были чистые и вид голого тела власти не поощряли.

Гораздо серьезнее искусство вошло в мою жизнь, когда, поступив в разведку, я решил жениться на актрисе Театра транспорта, более того, на дочке актрисы и художника – печальная весть для отдела кадров, где богема доверием никогда не пользовалась из-за ненадежности и непредсказуемости, эта публика хороша была на застольях для развлечения сановных особ, быстро терявших несовершенную артикуляцию уже после первой рюмки.

Размотка биографии моей жены Кати Вишневецкой вскрыла жуткую историю захвата тещи немцами во время гастролей фронтовой бригады театра Красной Армии и отсылки ее на работы в Германию. На этом прегрешения тещи не закончились, и вместо того, чтобы убить Гитлера или по крайней мере взорвать Унтер-ден-Линден, она влюбилась в пленного француза и вместе с ним дерзко бежала в Париж.

У кадровика от ужаса шевелились уши, когда он уточнял у меня нюансы романа (француз, к несчастью, был женат, так что к политической неблагонадежности примешивалась аморалка), впрочем, теща сразу же после войны вырвалась из полюбившейся Франции на родину, воссоединилась с мамой и дочкой, прошла через фильтры бдительных органов, однако из театра Советской Армии была изгнана в русский драматический театр в Вильнюсе, где долго работала и даже получила «заслуженную».

Все перипетии тещи изрядно подмочили мою незапятнанную биографию и затемнили перспективы грядущей карьеры, это меня изрядно огорчало, однако любовь, пути которой, как известно мне было уже тогда, усыпаны цветами и политы кровью, оказалась сильнее желания возглавить всю разведку лет в тридцать пять (сорокалетние тогда казались глубокими стариками).

В течение многих лет, заполняя в очередной раз анкеты, я с глухой тоской писал о грехопадениях тещи Елены Ивановны, она всегда радостно хохотала, услышав об этом, и обещала черкнуть письмецо своему другу в Париж – эта шутка бросала меня в дрожь, ибо вся заграничная почта перлюстрировалась, на тещу держали толстое дело и не было никакой гарантии, что КГБ не решит, что она – связная в моих тайных сношениях с французской разведкой.

Но звезды благоприятствовали мне, подвиги чекиста-папы намного (не знаю, на сколько) перевесили смертные грехи тещи, и в 1961 году мы с женой прибыли в Лондон, где, как пел старлей – вещий Боян: «сэр Генри смакует свой порт на Пэлл-Мэлле, а Джон – свое пиво в

соседней таверне» и над старым островом из такого же старого мерзкого моря «торжественно всходит кровавый бифштекс».

Впрочем, в первые годы на стихи (о, как хотелось родиться Тютчевым!) не оставалось времени – впереди лежал кремнистый путь и метания в торричеллиевой пустоте в поисках мужчин и женщин, благородных и склочных, красивых и уродливых, но, дьявол их побери, секретноносителей, читателей бумаг с магическим «сикрет» в верхнем правом углу. И старлей бродил, спиваясь, по приемам, засыпал в библиотеках, мучился на лекциях, заговаривал с незнакомцами в аптеках, страдал в ночных клубах, отводя взгляды от голых баб.

Но искусство не бросило меня в беде, к тому же в Лондоне оно заиграло новыми красками: криминальный брак с актрисой из темного момента чекистской биографии обратился в достоинство – принадлежность к светской богеме, словно волшебный ветер, могло крутить мельницу оперативного счастья.

Впрочем, я ощутил это еще в Москве, когда меня вызвал шеф английского отдела, человек просвещенный, живший на одной площадке с Борисом Ливановым (не одному мне везло в искусстве), и сообщил, что столицу осчастливили визитом лорд Бессборо и писатель Норман Коллинз – моя надежда и опора, с которыми требовалось познакомиться, и тогда они за руку проведут меня через все таинственные коридоры неприступного Лондона.

Уже не помню точно те глобальные причины, которые привели достойных джентльменов в стольный град (что-то связанное с культурой, при упоминании о которой, как слишком хорошо известно, хочется а-ля Геринг, Геббельс или Жданов схватиться за пистолет), но мне приказали ухватить их за развевающиеся фалды и уже после этого никогда не вылезать из литературных и прочих лордовых салонов. Вскоре я официально предстал перед аристократами как третий секретарь второго Европейского отдела МИДа, и мне поручили переводить некоторые беседы вне МИДа, без которых, наверно, англо-советские отношения скрутили бы полярные морозы.

С лордом Бессборо возникла проблема: как правильно к нему обращаться, не называть же его «милорд», словно при дворе короля Артура, сняв шляпу и склонив голову? Называть «сэр», словно он – плантатор, а я – дядя Том? Может, еще «масса Бессборо»? Никогда коммунары не будут рабами, никогда!

В панике я выбрал самое оскорбительное: обратиться к рыцарю Ее Величества как к мистеру Бессборо (говорят же «мистер президент» в Америке!) – все равно что назвать генерального секретаря «дядей» или «бородой».

Услышав «мистер», лорд окаменел, скрипнул челюстями, словно Наполеон на Бородино, завидевший конницу Багратиона, – после этого я для него умер, исчез, как сон, как утренний туман.

Коллинз, как истинный представитель высоколбой богемы, оказался компанейским человеком и настолько проникся ко мне симпатиями, что прямо из британского посольства послал с курьером свою книгу «Лондон принадлежит мне» с прочувствованной дарственной надписью – название книги очень соответствовало моим настроениям, – Впрочем, писателя ждало разочарование: вскоре ему позвонили из экспедиции МИДа и ласково сообщили, что адресат в означенном учреждении не числится, возможно, книгу нужно послать в Министерство культуры? Удивленный писатель тогда позвонил в справочное МИДа, где получил аналогичный ответ.

Итак, вся моя легенда третьего секретаря в один миг треснула и запылала ярким пламенем, и это еще до введения меня в мидовские штаты – ненадежный, коварный МИД, ты еще ответишь за это!

«Они только мешают нам, эти идиоты! Чем они вообще занимаются? Их давно нужно разогнать!» – кабинет шефа набух от животворного мата, все возмутились и говорили о государственном предательстве, шеф обзванивал и своих генералов, и деятелей ЦК, разнося вероломное внешнеполитическое ведомство в пух и прах, затем, набрав очков, позвонил прямо в МИД, правда, беседу вел в дипломатических тонах, дипломаты каялись, но оправдывались, и вполне резонно: в штаты министерства меня не ввели, кто в экспедиции мог знать, что я –

молодой дипломат? – ведь МИД далеко от КГБ⁹.

Впрочем, МИД на бой не пошел: сравнительно недавно погорел замминистра Малик, где-то брякнувший, что ему известно о сбитом «У-2» с Гарри Пауэрсом (эту новость временно сохраняли в тайне), и МИД боялся КГБ, как огня, зная, что здравые аргументы в советской внутренней кухне никакой роли не играют.

Но что делать? Неужели загубить на корню лейтенанта – надежду лондонской резидентуры?

В кабинет были немедленно призваны лучшие головы отдела, и на свет появился спектакль на уровне деревенской самодеятельности со сценой встречи Остапа Бендера и Шуры Балаганова, двух детей лейтенанта Шмидта, в кабинете председателя исполкома («Вася! Родной братик! Узнаешь брата Колю?»).

На следующее утро я уже фланировал по величественным коридорам, ожидая прибытия злосчастной пары на очередные переговоры. МИД я знал неплохо, ибо проходил институтскую практику в отделе печати у Леонида Ильичева, потом крупного партийно-дипломатического босса и академика (он навеки потряс меня своим грубым обращением с американскими журналистами и демократизмом, когда однажды, собрав в кабинете подчиненных, показывал какие-то диковинные фокусы с ниточками, нанизанными на руки, покрытые следами матросской татуировки), тогда же я приятельствовал с юным атташе пресс-отдела, будущим министром А. Бессмертных, частенько бывал с ним на вернисажах (sic!) и заставлял выслушивать свои стихи с лирическими отступлениями типа: «Прости, Александр, три «ш» нашикал, штих шалит, но на што мне штих, когда я охвачен шловешным шиком?»¹⁰ (сравнить с пушкинским: «Шишков, прости, не знаю как перевести»); с тех пор мы, правда, не встречались, поэтому сей пассаж стоит рассматривать как орнамент мемуаров, с описанием сидения в венской опере в одном ряду с Бисмарком и Меттернихом.

Джентльмены уже засели у шефа «второй Европы», меня тут же забросили в кабинет на том же этаже – ощущения спринтера на стартовой черте, застывшего в ожидании выстрела спортивного пистолета.

«Вышли!» – прошипел наконец перепуганный голос по телефону, и я вылетел к лифтам, сжав для убедительности в руках папку с тиснением «На подпись» (явно на подпись тов. Громыко А. А.).

Сцена воссоединения была настолько трогательной, что взбудоражила всех сотрудников, толпившихся на площадке: «Ба! Кого я вижу! Какими судьбами? Какая встреча!» – я чуть не падал в объятия потрясенных от счастья джентльменов, Впрочем, объятия честнее отнести к области воображения.

«Очень рад вас видеть! – спокойно заметил Коллинз (лорд смотрел на меня, как солдат на вошь). – Я как раз послал вам... книгу». – «Да, да, – перебил я его, изнемогая от благодарности, – да, да! Спасибо! Мне уже передали! Огромное спасибо! А ведь сначала, представьте себе! решили, что я тут не работаю». И я, как конь, заржал, поливая презрением и мидовский бюрократизм, и неосведомленность справочного бюро, и неразбериху в экспедиции, и прочие безобразия, вызвавшие роковую ошибку.

Сцена у фонтана удалась на славу, распрощались мы мило, доволен я был беспредельно, шеф тут же доложил наверх, как мы ловко исправили преступные промахи вечно беспечного МИДа, правда, в Англии любимцем джентльменов я почему-то не стал, хотя однажды любезный Коллинз пригласил меня в свой коттедж на обед. Как я ни старался покорить его своей любовью к культуре, в литературные друзья он меня не взял, милорда же я как-то встретил на ежегодной конференции консерваторов, он был сдержанно вежлив, подняв бровь, выслушал мое сообщение о результатах скачек в Дерби (тогда мне казалось, что разговор о

⁹ – Ах, что такое далеко? – ответила Треска. – Где далеко от Англии, там Франция близка.
Льюис Кэрролл.

¹⁰ Тогда я любил у Северянина: «Тише! чу! какой прекрасный шаг! Это ты идешь! Ты отдашься мне на ландышах и как ландыш расцветешь!» – пир шипящих не давал покоя.

лошадях – неперенный штрих бесед в английском свете), и мы, поклявшись увидеться в ближайшее время, нежно расстались навеки.

Жизнь учила, что легенду всегда нужно ковать самому, не полагаясь ни на МИД, ни на КГБ, ни на черта, самому писать свой автопортрет, самому окружать его значительными и мелкими фигурами, самому придумывать эпизоды из якобы взаправдашной жизни, а лучше всего проживать жизнь подалее от коллег из КГБ – тут уж, благодаря Кате, поле для бытия в искусстве было необъятное, причем все шло само собой, без усилий: гуляния в ресторане ВТО, где за биточками по-климовски и знаменитой поджаркой забывалась принадлежность к разведке, об этом, правда, помнил швейцар, который поэтому и пускал, – ведь давать рубли было жалко, приходилось делать государственно-озабоченную физиономию и многозначительно показывать краешек красного удостоверения, действующего, как «Сезам, откройся», детские игры по сравнению с великими маневрами моего друга-коллеги, который входил в ресторан «Баку» с вопросом, не звонил ли ему еще Гейдар Алиев, и легко мог сесть в ожидавшую кого-то «Чайку» со словами: «Хозяин просил передать, чтобы ты нас подкинул!»...

Вот это разведка, *comedia dell'arte*, куда мне до таких высот!

Но озарения бывали, так, в 1965 году уже опытный ас и лондонский денди вместе с другом из МИДа Володей Васильевым карабкался, словно на Эверест, на последний этаж гостиницы «Москва», где пировали искомые звезды международного кинофестиваля, первые три кордона прошли по Володиному удостоверению («Нас там ждет венгерский пресс-атташе...»), но на последнем этаже были категорически отвергнуты стражем: «Никуда я вас не пущу без специального пропуска! Тут же сам Аверелл Гарриман, бывший посол США!» – тут и проявилась находчивость: я взял служивого под локоть, отвел в сторону и чуть зловеще, приглушенным шепотом (не дай Бог, услышит Гарриман) прошептал: «Кстати, о господине Гарримане» – и поднес к его глазам сафьяновую книжицу.

У зербера опустилась челюсть, будто по поручению председателя КГБ я передавал мину для американского посла: «Так бы вы сразу и сказали...» – и мы, очастливленные, проследовали в райские кущи, завертелись меж белоснежных улыбок в дыму редких тогда американских сигарет, где сидела она, – я на тебя гляжу в упор, на взгляд твой, синий и осенний, так крокодилы разговор ведут в искусственном бассейне.

Вот и все. Книксен.

Пою тебя, магическое кагэбзское удостоверение, ты не раз выручало меня и в искусстве, и в суровых буднях, выхватывало прямо из лап ГАИ и несло по жизни как птица-тройка, оберегая и лелея. Мягкое и нежное на ощупь, словно верный пес, с фотографией в форме, которую никогда не носил, – съемки производились в Феликсовом клубе, где фотограф давал напрокат пахнувший прокисшими подмышками, заношенный мундир, накладывал на плечи погонны, щелкал, и выходила перепуганная белуга с остекленевшими глазами – слава тебе, книженция, ты спасала в пикантнейших ситуациях, ты вгоняла в дрожь, когда терялась, ты впрыскивала радость, когда вдруг находилась, ты делала вежливыми директоров станций ТО и начальников ЖЭКов, ты превращала в самую любезность суровых партайгеноссе, и даже обои в страшные дни капремонта клеили тщательно и аккуратно именно благодаря твоему обаянию...

Разве это не жизнь в искусстве?

Галерея Тейт. Великолепные Спенсер и Мур. У Спенсера толстая золоченая рама, за которую можно сунуть маленький контейнер. Пожалуй, опасно, охрана смотрит, а вот на скульптуры Генри Мура внимания не обращают – такие махины не увести – интересно, это бронза или какой-то особый сплав и прилипнет ли к заднице этого бронтозавра магнитный контейнер?

Потрясающий Гейнсборо в Кенвуд-Хаусе прямо на лаунах Хемстед-Хита, народу мало, недалеко ресторанчик, этот зеленый массив превосходен для тайников и разного рода сигналов, правда, с агентами встречаться рискованно: совсем недалеко советское торгпредство, не обделенное, естественно, вниманием контрразведки, можно легко напороться и на наружника, и на сослуживца, выкатившего дитя в коляске на прогулку.

В пабе «Чеширский сыр» (не путать с любимым Чеширским котом) работать можно только с официальными связями, ибо он забит журналистами, но, если припрет любовь к искусству, можно пройти в соседний дворик, где жил великий остроумец доктор Джонсон, там,

между прочим, легко найти место для бросового тайника, контейнер – не пустая пивная банка, конечно, но, скажем, коробок из-под спичек или жвачки.

Лондонские театры старомодны, сидеть всегда тяжело, ряды узки, немеют ноги, для разведки театры малопригодны, разве что вонючие сортиры, куда стоит в очереди такая же интеллигенция?

Моментальная передача в сортире. Возможно, но только во время спектакля, когда сортиры пустуют.

Лучший Лондон создан Кристофером Реном, в соборе Святого Павла можно установить визуальный контакт с агентом, а потом пройти в ресторанчик на набережной, Бромтонская орастория с разными скульптурными ансамблями идеальна для тайников, библиотека Лондонского музея весьма подходит для встречи с агентами, в двухэтажном книжном магазинчике на Бакли-сквер приятно обменяться информацией, роясь в антикварных фолиантах на полках.

Проверяться от слежки можно и в Национальной галерее, и даже в переполненном народом шикарном магазине «Хэрродс», для этого нужно знать расположение боковых лестниц, и наружнику, если он не хочет потерять вожаделенный объект, придется переть следом (в магазине масса выходов, которые трудно заблокировать).

Лондонские магазины ослепляют выбором, особенным вкусом отличаются витрины, они блестят и отражают идущих сзади и даже на другой стороне улицы, еще хороши лестницы с неожиданным тупиком – тут уж при развороте легко упереться в наружника, делающего вид, что зашнуровывает ботинок.

Проверка, проверка и еще раз проверка. Из галереи Куртод видна улица, ergo: реально вести наблюдение за агентом, засечь машины, идущие за ним, переписать их номера, а потом, пока агент крутит по городу, забраться в паб в районе Пимлико и там из окошка снова взглянуть на «хвост» за агентом, и сверить номера – это называется контрнаблюдением, труднейшее, между прочим, искусство...



Прототип с совершенно секретным ящиком. Виски? Коньяк? Кородряга? 1978 год. Дания

«Руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий», изданное в 1919 г. Волынской губчека, гласит: «Выходя из дому, надо всегда иметь в виду возможность внезапного ареста по улицам, потому не держать при себе без специальной надобности ничего компрометирующего. Всегда иметь в виду шпионов, однако проверять себя умело: не бросать беспокойных взглядов, не оборачиваться грубо и демонстративно и удостоверяться другими способами: направляясь проходными дворами, пустынными переулками, вскакивая на ходу в конки и проч. Тактика шпионов разработана и разнообразна. Очень часто, например, они передают свою «дичь», за которой охотятся, из рук в руки, от квартала к кварталу, идут параллельными улицами, забегают вперед. Шпионами часто служат извозчики, лавочники, продавцы сельтерской воды, семечек и т. п.» (подумать только: обыкновенных филеров отождествляют с нами, голубокровыми разведчиками!).

Лондон начинал принадлежать мне.

Вскоре выдали автомобиль, дабы любовь к искусству я мог удовлетворять более

современными методами. Московский опыт вождения ограничивался автокурсами, к тому же чертово левостороннее движение требовало полной перестройки, голова крутилась, как на шарнирах, и часто приходилось вздрагивать на переходах.

Час роковой настал, я выбрал воскресенье, когда Лондон пустеет, погрузил в машину Катю, всучил ей карту города и дал старт! Такое бывает, наверное, только в аду: мы рвались вперед, тряслись, въезжали в ямы, останавливались, мы вскоре заблудились, и жена горько плакала, роняя слезы на карту (я же, раздувшись, как вебрь, изничтожил ее за неумение ориентироваться). Через три мучительных часа я почувствовал себя чемпионом мира по автогонкам и вскоре, запоздало нажав на тормоза, въехал в машину, идущую впереди.

Обменявшись визитными карточками с пострадавшим (вина была моя, имелась страховка), мы бодро помчались дальше и чуть не сбили на «зебре» (святое место для англичан) старушеницу, ступившую на переход так нагло, словно она была в собственной квартире. Наконец мы вылетели на автостраду, набрали скорость, были оштрафованы полицией, затем вернулись и покрутили по Челси, вышли у Чейни-Уок, выпили по полпинты темного «гинесса» в пабе, и я сказал, что Катя изумительно ориентировалась по карте и вообще умница и красавица, и мы помирились и расцеловались и поехали в Баттерси-парк посмотреть на скульптуры, которые удивительны среди деревьев и кустов.

Тут мотор неожиданно остановился, и ничто не могло его оживить; напрасно я поднял капот и вывинчивал свечи под уничтожающие реплики Кати, напрасно я бился, – машина не сдвинулась с места, и, снова разругавшись, мы вернулись домой на такси, что равнялось стоимости пары ботинок.

Утром с помощью коллег машину запустили, я снова почувствовал себя Великим Шофером, изящно проехал по Кен-Хай, правой рукой придерживая руль, чуть замедлил ход на повороте в «улицу миллионеров», где стоял газетчик, и левой рукой протянул ему два боба, не смотря, естественно, вперед, – руль пошел влево и машина врезалась в ворота (говорили, что в истории ворот такого не случалось).

Но старлеи разведки живут не только автомобильными страстями, они не только вращаются в свете и с утра, как Евгений Онегин, прикидывают, в чьем доме отведать джин с тоником, на кого вечером навести лорнет и как возбуждать улыбки дам огнем неожиданных эпиграмм, они иногда просто живут, дышат и наслаждаются жизнью.

Тяжело превозмогая скопидомство, мы ринулись в королевский шекспировский, где узрели не только «Сон в летнюю ночь» с Ванессой Редгрейв, но и знаменитый спектакль по пьесе П. Вайса «Убийство Марата в исполнении сумасшедших Шарентонского монастыря под управлением маркиза де Сада». Ставил великий Питер Брук, и режиссер и тоже псих де Сад на репетиции этой пьесы в пьесе кричал Шарлотте Корде, зарезавшей лежавшего в ванне Марата: «Шарлотта, вы убили не так, пожалуйста, повторите еще один раз!», и она повторяла, и, безумная, рыдала, а в финале, когда гремели аплодисменты и сыпались цветы, сумасшедший бросал в зал какую-то веревочку из своего одеяния: мол, еще неизвестно, кто из нас псих, господа!

В те годы в моду вошло политическое кабаре, где правительство крыли в хвост и гриву (это наводило на крамольные мысли: а почему наше правительство...), и Бертольт Брехт, его баллады исполнялись Лоттой Ленъей и Гизеллой Мей, в «Ковент-Гарден» шла опера Курта Вайля «Взлет и падение города из махогани» по Брехту, над тупостью и сытостью буржуазии издевались остро и тонко, вольные бродяги презирали частную собственность, и все это хорошо ложилось на возвращенную на Марксе – Ленине душу.

Катю вскоре пригласили в Пушкинский дом (место, где собирались эмигранты, сносно относившиеся к осчастливленной революцией России), там она несколько раз прочитала доклады о расцвете могучего советского театра, порадовала публику Блоком, познакомилась с массой симпатичных старичков и старушек, тосковавших по родной земле. Меня этот контингент интересовал мало: русские всегда под надзором властей, да и что реального они могли сделать для службы?

Вскоре на Катю кто-то накапал, и резидент посоветовал мне отгородить жену от Пушкинского дома, якобы забитого английской агентурой, – ведь контрразведка, как известно, коварна и вероломна, потому не стоит играть с огнем в этой змеиной норе, а направить пыл

души на божественные круги, куда заплывали жирные караси из правящего класса.

Так мы начали циркулировать в салоне добродушного и улыбочивого Чарльза Перси Сноу и жены его, тоже писателя, Памелы Джонсон, попали в дом публицистки Эллы Уинтер, соединенной когда-то узами с самим Джоном Ридом, прославленным американским революционером и автором «Десяти дней, которые потрясли мир», побывали на банкетах у нашего соседа по улице писателя и пагуошского деятеля Вейланда Янга (там сразили меня свобода общения и непринужденность гостей, особенно сидевший на полу с другими гостями аристократ и лейбористское светило Энтони Веджвуд Бенн в пуловере и без галстука, – я же, наслушавшись лекций о необыкновенной чопорности англичан, облачен был в смокинг, взятый напрокат), общались мы с Эланом Силлитоу, милым парнем из Ноттингема, в то время «рабочим» писателем, который вскоре отошел от социальных тем и погрузился в анализ *condition humaine*, были и у Арнольда Уэскера, очень левого драматурга, мечтавшего приобщить народ к культуре, дружили с известным фотографом Идой Карр, увековечившей нашего сына.

Появление на свет отпрыска вынудило Катю отключиться от светской жизни, что вызвало скрытую радость начальства, особенно после того, как Катя встретила случайно в Гайд-парке Питера Брука и целый час проговорила с ним на скамейке (кто-то из советских молодых матерей засек ее на месте преступления).

Случилось и еще одно, не менее драматическое ЧП: на домашнем приеме¹¹ Катя сказала одному сотруднику Форин Оффиса: «Мы вас сейчас украдем!» (он собирался уходить домой), но шутку, как известно, понимают лишь мистеры Пиквики со всем клубом, а коллеги имеют длинные уши, и если слышат, что иностранца собираются украсть, то непременно думают о депортации народов – вскоре Катю вызвали к резиденту и состоялась «профилактическая беседа» (термин КГБ), из которой, впрочем, она ничего не вынесла, кроме безумной невнятности, которой закруглял углы ее собеседник. Долго она выпрашивала потом у меня, за что же все-таки ее вызвали на ковер и чего, собственно, от нее хотели – все это мистически именовалось «работой с женами».

Так что жизнь в искусстве давала сбои – и тут неожиданный удар нанесла живопись в лице дегенеративного авангардизма: однажды я купил кофейный столик с черно-абстрактными, словно кляксы, пятнами. Несчастная эта покупка, наложившись на скандал в Манеже, где расвирепевший Хрущев громил Неизвестного, Белютина и Ко, возмутила кое-кого из навеки влюбленных в Шишкина, на меня настучали в Центр друзья-доброжелатели, и казус сей всплыл на партийном собрании в Москве («И у нас есть еще товарищи, попадающие под влияние буржуазной культуры!»). Однако репрессивных мер не приняли, на родину вместе с декадентским столиком не выставили, и он стал лишь предметом незлобивых шуток а-ля «Правда» по поводу картин, намалеванных хвостом осла.

А тут еще и по линии поэзии удар: появился в Лондоне крамольный Евтушенко, упоенно читавший у нас в доме свои стихи и «Змею» Лоуренса из антологии английской поэзии, взятой мною в посольской библиотеке (книгу ему пришлось подарить, компенсировав библиотеку Бабаевским и Панферовым). Контрразведчики в резидентуре имели задание приглядывать за его зловещими деяниями и особенно возмущались тем, что он угощал на свои гонорары англичан, а не сдавал их в кассу посольства, как положено честному советскому гражданину.

А вообще жизнь была прекрасна, работа нравилась и вдохновляла, хотелось авантюры, чтобы, как Бомарше, переплывать Ла-Манш, дабы предотвратить публикацию памфлетов против любовницы короля Людовика XV, чтобы вороной жеребец высекал искры из серых булыжников, чтобы болтался кинжал у самого живота и позванивали в такт копытам золотые

¹¹ Начальство высоко оценило мой оперативный пыл, и вскоре из коммуналки на Эрлс-Террас нас переселили в особняк на Почестер-Террас, дабы мы могли принимать и охмурять англичан. Из настольной книги «Необходимое руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «При найме квартиры хотя бы для простого жительства надо всегда обращать внимание: насколько изолирована она от соседей, толсты ли стены, нет ли внутренних дверей, куда выходят окна. У одного товарища окна квартиры выходили против высокого холма, и шпионы забирались на скат вечером и сквозь окно с большим удобством наблюдали за тем, что делалось в комнате».

луидоры в кожаном мешочке.

Коня прекрасно заменяла зеленоватая «газель», и я летал на ней по Лондону, ходил на выставки, в светские салоны, на собрания, культурные и абсолютно бескультурные, бегал даже в городские дансинги (это о музыке и балете – sic!), надеясь на вальс-бостон с наивной шифровальщицей или хотя бы с секретаршей военного министра¹² – ведь чем черт не шутит! разве не Великий Случай играет нашими судьбами?

Но о несчастье! лондонские дансинги кардинально отличались от танцплощадок в южных санаториях, где каждая вторая дама либо из ЦК, либо из Совета Министров, либо из КГБ – сущие клад и крем-брюле для разведчика, – а тут одни продавщицы, одни нежные девы и юные жены, любившие нас, одни официантки и прачки, ну хоть бы одна из Оксфорда или Кембриджа или хотя бы из школы подготовки машинисток для государственных служб.

Выдавал я себя за заезжего шведа, танцевал, выбиваясь из сил, словно в фильме «Загнанных лошадей убивают, не правда ли?», шли месяцы горьких разочарований, и в моем отчаянном мозгу заработал калькулятор: население Лондона составляет восемь миллионов, считал я, четыре миллиона женщин минус дети и старушки – два миллиона в остатке, минус миллион не выносивших городские дансинги, полмиллиона больных, итак, с полмиллионом дам мне предстояло перетанцевать, дабы найти и просеять сквозь решето будущих агентесс советской разведки. При всей энергии и юном темпераменте на всю эту операцию при ежевечерней, без выходных и отпуска, нагрузке в десять партнерш требовалось почти двести лет, срок порядочный при условии большого износа на работе в органах...

Жизнь на площадках Терпсихоры рушилась, не выгорало ничего и в ночных клубах, где шныряли худосочные проститутки, говорившие на кокни (только Пигмалион – профессор Хиггинс решил бы превратить их в агентов), англичане вздрагивали, когда в галерее я пытался обсудить достоинства Гольбеяна, благо на концертах хватало такта не узнавать у соседа фамилию композитора в момент крещендо.

Яркой молнией сверкнула надежда на «Черной лисице», где читала текст Марлен Дитрих, истинная блонд, обладавшая хрипловатым нежным голосом, маленькая Марлен, которую Хемингуэй называл «капусткой».

В крошечном зале на Пиккадилли гардероб был забит до отказа, и пришлось оставить плащ (и кинжал) в соседней комнате на стуле. И тут монетка выпала орлом: рядом в кресле оказался милый функционер из центрального офиса консервативной партии, на удивление словоохотливый, с внешностью еще не подстреленного лося.

Перед самым началом в грое оваций влетела Дитрих собственной персоной, небрежно сбросила на пол перед первым рядом шикарную норку и уселась на нее, отмахнувшись от джентльменов, предложивших ей место.

Спертую духоту тут же разбавили ароматы французских духов, но не до них было – я впился в функционера, как утопленник в протянутую руку, тут же договорился выпить с ним по пинте пива в соседнем пабе, фильм смотрел рассеянно, в глазах рябило от счастья: наконец я прорвусь в бастион консерваторов! – и грезилась вороха секретных документов, которые выволочет симпатичнейший функционер в дальний парк, где мы встретимся за игрой в крокет (не забыть купить бриджи с подтяжками).

Фильм и грезы продолжались недолго, мы радостно встали, я ринулся за плащом (и кинжалом), но фортуна дала подножку: рыцарскую форму стибрили, – о Англия, приют воров еще со времен Оливера Твиста! туда бы нашу ЧК, живо бы навели порядок! – а пока я метался в поисках утраченной собственности, функционер испарился, даже не попрощавшись...

Иногда я грустно подходил к лакомому зданию Форин Оффиса и увязывался за каким-нибудь клерком с измученной физиономией паупера, жаждавшего заполучить хотя бы тысячу фунтов, одного такого довел однажды до бара, сел рядом за стойку, слушая, как хрустят его голодные зубы, разрывавшие сандвич, и обратился с гениальным по простоте вопросом «который час?» (так в юности я знакомился на куйбышевской набережной с девушками). Клерк

¹² А ну, на дно со мной спешу – там так омары хороши, и спляшут с нами от души, треска, моя голубка!
Льюис Кэрролл.

проворчал время сквозь забитый рот, но, когда я любопытствовал о чем-то заново, пересел на другое место.

Где же искать сокровища? – я лишь читал о блестящих салонах у бывшего разведчика и автора Бонда Яна Флеминга, о светских сборищах у леди Памелы Бэрри, жены редактора «Дейли телеграф», о литературных чтениях у леди Антонии Фрейзер, жены заместителя военного министра, – слюнки текли от зависти, но как попасть в этот рай? Впрочем, иногда удавалось, но чаще почти как у Оскара Уайльда: «Сэра старлея приглашают во все лучшие дома Лондона – один раз!»

Удалось, правда, закрепиться в апартаментах двух студентов-музыковедов (sic!), которые каждую первую среду месяца устраивали у себя открытый вечер, cheese and wine party – захватывай бутылку, бери знакомых, милости просим! Хозяева обеспечивали гостей сыром (тут остановилось сердце и хочется пропеть оду сырам: о сыры! нежные мои сыры! мягкий, тянущийся бри, в голубую крапинку датский, благородный стилтон, твердоватый пармезан!) – и все радостно гуляли, знакомились, общались и были счастливы этому обстоятельству.

Прибыв в Москву, мы с женой пробовали скопировать такой журфикс с заходами на огонек элегантных и остроумных соплеменников – увы, но у нас в России, видимо, любой здравой идее суждено вылиться в безобразие: в первый же вечер нашу маленькую квартиру заполнила толпа знакомых и незнакомых субъектов, всё затоптали, закурили, заблевали и изгадили, кто-то напился, кому-то набили морду, кто-то заснул на кухне, – битая посуда, расколотые пластинки, бесконечные стуки по батарее возмущенных соседей.

Так заколотили в гроб Мечту.

Но все-таки удалось мне попасть в настоящий салон, где бывали политики. Как ни странно (а может быть, совсем не странно), его хозяйкой была эстрадная певица (sic!), броская блондинка, жившая в модном районе Найтсбридж и разъезжавшая в «ягуаре» цвета ее собственных волос, дивным казался салон, просто как у Анны Шерер в «Войне и мире»: и члены парламента, и даже личный секретарь Черчилля, служивший в Форин Оффисе. Салон процветал, пока однажды хоромы чуть не сгорели из-за неосторожного обращения хозяйки с электрическим одеялом, вершиной НТР с вмонтированными электроспиральями, – клянусь, что к поджогу я не имел отношения, а за английскую контрразведку не ручаюсь.

И снова внутренний фронт искусств – посольская самодеятельность. Катя, гордо подняв голову, читала со сцены любимого Блока и какой-то революционный стих Игоря Волгина, я же, еще не остыв от студенческих экзерсисов, включился однажды в новогодний капустник. Сварганили мы его в духе уже остывающей «оттепели»: перешерстили и дипломатов, и техработников, и бухгалтерию, и даже (очень легко!) посла, – зал лежал от хохота, посол с женою смеялись и били в ладоши, словно приветствовали на съезде генсека, резидент аплодировал сдержанно, как подобало КГБ, никогда не выносившему вердикт сразу, а склонному к глубокому анализу и всестороннему изучению.

Полный триумф, радость победителей, водопады коньяка «Двин», продававшегося в посольском магазине по пять шиллингов за бутылку, почти бесплатно, что объяснялось фиаско нашей внешней торговли, вывезшей волшебный напиток на экспорт с этикеткой «коньяк» – грубое нарушение французской монополии.

«Двин» пришлось сплавить по дешевке в магазин посольства (силами совколлектива партию распотрошили за один месяц, слабосильным англичанам на это потребовались бы годы), но проблема внезапно приобрела политическую окраску: на собрании секретарь партбюро пожаловался, что натыкался на пустые бутылки из-под «Двина» даже в кустах пригородного Буши-парка, пейте, товарищи, умолял он, но только, прошу вас, не оставляйте бутылки на месте пикников, не позорьте родину!

Мы пили и пили «Двин» за наш триумф, и, когда утром меня вызвал к себе резидент, я приготовился к поздравлениям.

Резидент слыл человеком серьезным, с большим опытом работы во внутренних органах (кстати, он тоже имел отношение к искусству, ибо однажды организовал на периферии подслушивание и просматривание гастролировавшего Вертинского – местное управление со сладострастием бдительных кастратов фиксировало личную жизнь знаменитого артиста).

– Зачем вы сюда приехали? – строго спросил он.

– Работать, – ответил я с простотою Жанны д'Арк, идущей на костер.

– Работать? – удивился он. – А как понять ваше участие... в этом самом... – Он брезгливо шевелил пальцами, будто в них застряла мокрица.

– В капустнике? – помог я ему.

– В капустнике, – сморщился он безрадостно, слова этого в высоких чекистских кругах либо не знали, либо связывали со свободомыслием.

– Но ведь всем понравилось, – возразил я робко. – Посол смеялся, да и вы...

– Вы так думаете? А знаете, что посол после этого пригласил меня к себе и имел серьезную беседу?! Разве вы не понимаете, что это подрыв авторитета руководства? Так вот: или работа, или... эти самые... капустники!

Finita la comedia, кончилась жизнь на сцене, не мечтать отныне старлею о взрывах аплодисментов, и даже в качестве остроумца-конферансье не выступить (когда-то в институте я объявлял с самарской непосредственностью: «Партию на фортепиано исполняет...») – словно у Бендера: «городская фисгармония»), все кончено, неужели финал жизни в искусстве? Держись, товарищ, жизнь продолжается, только не в этом маленьком зале, а на подмостках всего Соединенного Королевства, держи ушки на макушке, разве ты не слышал, что скоро Эдинбургский фестиваль? Фестиваль? Ну и что? А то, дурачок, что на него прибывает внушительный букет: Д. Шостакович с сыном Максимом и М. Ростропович с Галиной Вишневецкой. Ну и что? А то, умник, что фестивалем заведует лорд Харвуд, человек светский и влиятельный, – вот уж в чьих кругах вертятся меломаны – составители секретных документов, твердокаменные тори, млеющие и теряющие бдительность от фуг Баха и симфоний Бенджамена Бриттена...

Правда, к тому времени я уже достаточно наспотыкался на ниве искусств, чтобы строить воздушные замки: деятели культуры страдали непредсказуемостью и слабо понимали, что от них требовалось честному чекисту.

Совсем недавно в Лондоне с триумфом гастролировал МХАТ, Катя когда-то училась у режиссера Раевского, мы встретились с ним, она жадно выпрашивала, что творится на сцене, очень скучала Катя по театру, заграничная жизнь и нравилась, и угнетала, близких подруг не было, и все чаще вспоминался аргентинский фильм с Лолитой Торрес о трагической любви дипломата и актрисы, которым оказалось не по пути.

Ну разве мог я, друг культуры, не использовать театр для заведения знакомств среди англичан?

Выбрав свободный день МХАТа, я рванул в гостиницу на Рассел-сквер, твердо решив взять за жабры Раевского. Однако оказалось, что труппа отбыла на ужин к командору Кортни, члену парламента от консервативной партии, которого у нас не переваривали из-за острых антисоветских выступлений и впоследствии, когда он посетил Москву, подбросили «ласточку», сфотографировали в постели и попытались на этом деле завербовать. Шантаж, однако, не прошел, и тогда пикантные фотографии живо зацеликулировались по Англии, вызвав скандал в прессе, в избирательном округе консерватора и даже его развод с женой.

Уже возвращаясь к машине, я вдруг наткнулся на Бориса Ливанова, мрачно бродившего вокруг гостиницы в компании добродушно-улыбчивой Зуевой.

– Сволочи! – пророкотал Ливанов своим великолепным басом. – Уехали на гулянку к Кортни, а меня с Настей не взяли...

– Может, показать вам достопримечательности? – предложил я, преисполненный вечной любовью к артистам.

Ливанов и Зуева уселись в машину – Пэлл-Мэлл, колонна Нельсона, Букингемский дворец с цветными гвардейцами в меховых муфтоподобных шапках, Вестминстерское аббатство, – путешествие продолжалось минут пятнадцать, Борис Николаевич даже по сторонам не глядел, все ворчал, что его предали.

– Послушайте, Миша, – спросил он вдруг просто, – а у вас дома водка есть?

– Конечно! – Я даже возмущился. – Не только водка, но и джин, и виски!

– Поехали! – скомандовал Ливанов, правда, Зуева как-то странно на меня взглянула.

– А стоит ли, Боря? Может, дождемся своих? – спросила она осторожно, но он только зарычал в ответ.

Катя в тот вечер тренировала посольские таланты перед очередным торжественным вечером, поручив коляску с сыном соседке, я залез в холодильник и, к ужасу своему, увидел там только бутылки и яйца (и выдающимся разведчикам сжимают горло когти нищеты).

Я поставил на стол непочатую (как ни странно) бутылку джина и стаканы, а сам отправился на кухню, дабы зажарить лучшую в мире яичницу.

Когда я внес сковородку в гостиную, бутылка джина уменьшилась ровно наполовину, Борис Николаевич был приятно возбужден и словоохотлив.

– Какие негодяи! – гремел он, сотрясая коттедж басом. – Особенно эта Алка! (Тарасова, тогда директор театра.) Подумать только: уехать, а меня не взять! И вот сейчас сидит великий артист в этой халупе и с дипломатом Мишкой яичницу жрет! (Фразу эту я проглотил вместе с яичницей, хотя ранило, конечно, такое пренебрежение к коттеджу и неповторимой личности хозяина.)

Зуева утешала и успокаивала, джин быстро растаял, в ход пошла вторая бутылка, загремели живописные воспоминания о жизни МХАТа, гул нарастал, стены дрожали, пока не вернулись от Кортни актеры и не забрали моих знаменитых гостей.

Утром на следующий день меня вызвали на ковер.

– Вы совсем потеряли голову, – начал резидент жестко. – Вы же разрушили всю комбинацию! Вы же срываете гастроли театра! (Дальше что-то об ущербе престижу Державы.)

Влип я страшно: лидеры МХАТа порешили «сохранить» Бориса Николаевича для спектакля и отсечь его от искушений зеленым змием у Кортни. Посему разработали хитроумный план с участием Зуевой, провели целую акцию дезинформации и тайно от него (так им казалось) уехали в логово командора. Операция координировалась с КГБ через сотрудника, включенного в администрацию МХАТа. А я... каков я? Сорвал...

Сильно меня отхлестал резидент за потерю чекистского нюха и бдительности, правда, спектакль Ливанов провел с блеском.

Но прошлые фиаско легко забывались, тем более когда хотелось походить по земле Бернса и посмотреть своими глазами, как бьют из-под земли родниковые ключи шотландского виски, – и я предложил резиденту послать меня в Эдинбург вместе с делегацией, тем паче что близ залива Холи-Лох в Шотландии ощерилась ракетами американская база подводных лодок¹³.

– Не уверен, что англичане подпустят вас к базе, – сказал шеф.

– Если нет, то я покручусь в обществе лорда Харвуда!

Вскоре прибыли и великие соотечественники в сопровождении переводчицы минкультуры и молчаливого, но величественного полковника КГБ, удобно осевшего в этом светлом учреждении и не упускавшего шанс лишний раз вдохнуть и выдохнуть угарные дымы капитализма.

Ростропович оказался демократичным и непосредственным человеком, тут же попросил называть его не иначе как Славой, легко пил водку, шутил и рассказывал разные байки, в том числе и о своем виолончельном выступлении на подшефном заводе, где после концерта какой-то честный пролетарий проникся к нему, похлопал по плечу и сказал: «Хороший ты парень, Слава, бросай свою гитару и валяй к нам на производство!»

Галина Павловна была сдержанна и величественна, как царица, и до бесед с молодым дипломатом не снисходила, видимо, не без оснований полагая, что в посольстве служат одни стукачи.

Максим Шостакович бродил по городу, а Дмитрий Дмитриевич, наоборот, никуда не выходил и сидел у себя в номере.

Однажды утром, когда, погруженный в себя, он вышел к завтраку, гостиничные оркестранты решили его осчастливить и грянули что-то на скрипках, потрясшее даже меня, путавшего сюиту с маршем.

Лицо Шостаковича исказилось мукой, вилка выпала из рук, он нервно вскочил и удалился в номер. Максим сказал, что большего ужаса он не слышал, и ушел к отцу, оркестранты

¹³ Недалеко в озере жило и небезызвестное чудище Нэсси, его очень хотелось потрогать за хвост.

расстроились, но доиграли до конца, полкаш сидел угрюмо, смотрел на меня, как на чужеродное тело, заброшенное в его черноземы, и строго перехватывал стыдливые взоры, которые я бросал на хорошенькую переводчицу.

Но Вишневецкая в «Мессе» Бетховена в эдинбургском соборе проняла даже старлея, в тот же вечер он записал в блокнот: «Подожди. Это «Месса» Бетховена. Мы летим на лодочке по волнам, купола зеленые заливают солнце, а под нами мечется ураган. Запевает¹⁴ женщина, оставляя все хоры органные за собой, – так шальная лодочка выплывает прямо из прибой на прибой. А на улице торгуют сэндвичами, а на улице – восемь по Гринвичу, а на улице в старом отеле очищают лакеи форелей, стрелки в тартанах бьют в тимпаны, стальная гвардия в прожекторном блеске вяло вздрагивает на белом вереске».

Большевистской революционности явно не хватало, и я поддал жару: «Сыплется вереск на белые головы. Где же вы, кромвели? где же вы, моры? Чтоб острый кинжал решал право на трон и споры!» Но душа, отравленная «оттепелью» и мятущаяся в потемках, не давала перерезать всех жителей Шотландии, и я закончил в духе идеологов будущей перестройки: «А может быть, обойтись без кинжала? Неужели не хватает музыки и солнца?»

Эдинбург был прекрасен, чист и благополучен, в витринах висели пледы и юбки в клетку, замок, отделенный рвом, дышал шекспировскими страстями, застывшими в прошлом.

Но лорда Харвуда я так и не оседлал, не повезли меня к лорду домой на кебе, даже полкаша оставили за бортом – артисты хитры, как черти, вечно вырываются они из-под бдящего Ока, вечно у них свои дурацкие делишки, воспаленные разговоры об искусстве, разных там бемолях и диезах, чуть не передерутся из-за какой-то ерунды, вроде даты написания симфонии. Какая разница? Так они и становятся легкой добычей вражеских спецслужб, изменниками Родины и врагами самой передовой в мире Системы. Ужасно, просто невозможно жить в искусстве!

И доказал это опять Ростропович, но уже в конце семидесятых, когда я предводительствовал в датской резидентуре. Гастролировал тогда в Копенгагене Сергей Образцов, давал концерты в это время и Мстислав Леопольдович с репутацией тогда еще не заядло антисоветской, еще не успели его с женой отлучить от гражданства, но изрядно ворчали, что «делают, черт возьми, все, что захотят!», вплоть до выезда из родной страны – приюта муз.

После концерта Образцова на сцену, как положено, взошел наш посол в Дании Николай Егорычев, поприветствовал первого в мире кукольника и они нежно, по-русски расцеловались. В этот sentimentalный момент на сцену из зала вышел Ростропович и тоже расцеловал Образцова, а заодно и посла, которого неплохо знал по Москве, – вот ужас!

На концерте я не был, но уже через пятнадцать минут мне донесли об этом иудином поцелуе, сделанном – подумать только! – публично и нарочито, на глазах у многочисленных совграждан, заполнивших зал. Гонец, со скоростью света принесший эту трагическую весть, подавал ее не иначе как демарш Егорычева, сознательно не уклонившегося от поцелуя, даже подставившего щеку и таким образом связавшего себя навеки с диссидентом-виолончелистом.

С Николаем Григорьевичем отношения у меня сложились теплые, я уважал его и как жертву придворных интриг, и как солдата, прошедшего войну. Совершенно откровенно я изложил ему эту страшную историю и заверил, что ее через мою голову непременно донесут до всемогущей Москвы. Мы решили нейтрализовать удар, и посол направил реляцию о визите Ростроповича прямо на имя Андропова: нельзя, мол, его с женой отталкивать во вражий стан, надо тонко с ними работать, перетягивать обратно, и все во имя святых интересов партии – навинтили в шифровку столько туфты, что не подкопался бы ни один самый-самый стукач.

Так я и не испил до конца из чаши искусства, но пытался, честно пытался до самого окончания службы.

Последний раз я сделал рывок снова в Копенгагене, куда нагрянул Никита Михалков, которого я затащил к себе домой с мыслью устроить в его честь через пару дней приемчик, пригласить нужных датчан...

Но виски почему-то оказалось настолько вкусным и так вдохновенно заструилась беседа,

¹⁴ Сказывалось обучение в разведшколе, где взвод маршировал под команду «Запевай!».

что вскоре унесло нас ветром в злачный «Зеленый попугай», изумруд распутной Скандинавии, туда я водил иногда лишь высоких партийцев и своих командированных начальников – роскошный бар, где юные и ненавязчивые, белые и черные, красные и синие, где туалеты от Диора и самые истонченные духи, где можно даже бесплатно станцевать (один раз!), а можно просто посматривать краем глаза, как торгуются на пальцах ящериобразный японец и недавняя школьница.

Никита Сергеевич улыбался в усы, выпитывая пленэр для своих будущих киношедевров, мы тихо блаженствовали, пока не покинули этот Олимп красоты, правда, по странной причине я забыл, куда поставил свой «мерседес» – бывало и такое, прости меня, любимая служба! – и мы мучительно искали его полночи, потерялись, потом искали друг друга, но не нашли, потом нашел я машину где-то в тупике у вокзала, но уже не было сил искать Михалкова.

Так, словно Атлант, нес я на спине своей небо культуры, подгибались ноги, шатало меня и кривило, так она и катилась, моя жизнь в искусстве, мой цирк, моя любовь, так и бултыхалась на ухабах моя колымага под музыку Вивальди, под скрипок переливы до самой отставки.

Загадочный мир искусств в КГБ, там интеллеktуал и душитель живой мысли Андропов, писавший на досуге лирические стишки, там его правая рука Семен Цвигун, сценарист и писатель, пустивший себе пулю в лоб, там левая рука – Георгий Цинев, певший арии Брежневу (неплохой, говорили, голос) и доросший до консультанта фильмов, там трудолюбивый Крючков, друг театра, заботливо копивший программки попутно с компроматами на «так называемых», да и я сам, уже растворенный в прошлом, одной рукой строчивший поэмки «в стол», другой – шифровки в Центр, всю жизнь лишь промечтавший выйти на Сенатскую площадь, тоже вариант борца за правду – «так кто же однажды посмеет прорвать заколдованный круг и, пальцы распялив на стенах, чертог почерневший качнуть?».

Главный противник – США, ныне партнер, музы, грезы, перспективные планы, слезы, всесоюзные совещания, розы, явки, конспиративные квартиры, операции, стукачи и агентессы, таланты и поклонники.

Жизнью ли было все это или странным сном?

Но и этот ушедший нелепый мир вызывает во мне сейчас только жалость, кто знает, может, после очередного переворота исчезнет и она.

Лондон, 1961 – 1965

Ой ты, участь корабля, скажешь «пли!» – ответят «бля».

И. Бродский

Эти годы воистину выглядели горящими, ибо никогда так всепоглощающе, так по-сумасшедшему не бушевало в Англии пламя провалов агентуры, и не только само по себе все это было ужасно, но еще и потому, что все это отравляло дух, ожесточало суровых бриттов, испепеляло в них остатки симпатий к России.

На профессиональном сленге это называлось ухудшением агентурно-оперативной обстановки и подразумевало шпиономанию, нежелание даже доброжелательных англичан идти на контакт, нервозность агентов, активность контрразведки. Повинны в этом были, естественно, как писала прозорливая «Правда», обитатели острова Джона Булля, крайне подозрительные, нетерпимые к иностранцам, не раскрывавшие, как мы, русские, грудь нараспашку (вот уж миф! да разве могли мы тогда вымолвить лишнее слово в присутствии иностранца?), шпиономания иногда доходила до гротеска: мальчишки, завидев на окраинах столицы дипломатический автомобиль, спешили сообщить об этом в полицию, еще лет пятьдесят активности КГБ – и в Англии появились бы свои Павлики Морозовы.

Страшно вспомнить о бурях начала шестидесятых, они обрушивались на наши рядовые головы внезапно, ибо только резидент и узкий круг знали о ценных агентах. Аресты нелегала Лонсдейла (он же Конон Молодой), его радистов Крогеров, Хаутона и Джи, работавших на секретнейшей военно-морской базе в Портленде, арест Джорджа Блейка, видного функционера английской разведки, газеты на все лады перемывали наши косточки, а тут еще дело клерка

адмиралтейства Джона Вассала, завербованного в свое время в Москве с помощью гомосексуалистов, и, наконец, скандал вокруг военного министра Профьюмо, связанного с проституткой Килер, якобы действовавшей по наущению своего пылкого любовника, помощника военно-морского атташе нашего посольства Евгения Иванова, – эту кость находчивые англичане грызли с восторгом многие годы, создавая образ русского шпиона, завсегдатая загородных имений аристократов, первого парня при дворе у королевы, автогонщика, на ходу стрелявшего из пистолета по пролетающим вальдшнепам.

С завистью взирал старлей на калибр горевшей агентуры, о которой можно было лишь мечтать, – что говорить! поколение его командиров было народом избалованным еще с тридцатых годов и не испытывало необходимости шнырять по Лондону в поисках связей, имея под рукой такие богатства. С тех пор времена кардинально изменились: коммунизм уже не будоражил английские сердца, все тусклее выглядели свершения советского социализма и зловеще смотрелся гигант с неразличимым лицом, вооруженный до зубов оккупант, придавивший своим сапогом чужие народы.

Разведчики моего поколения, отвыкшие от крупной агентуры и секретных документов, научились составлять шифровки из разрозненных бесед на ленчах, из шепотов в парламенте и пересудов прессы – раньше все это считалось пошлой официальнойщиной, недостойной чекистов, а иногда даже злонамеренным обманом, за который при Иосифе Виссарионовиче сажали на кол.

Активные мероприятия, с целью «оказать влияние» на политику, пуритане старшего поколения проводили крайне редко, но зато мощно и, как правило, на основе фальсифицированных документов, в 60-е годы мы робко и честно начали разворачивать эту деятельность в Англии: дружили с главными редакторами и ведущими корреспондентами газет, доводили до них разработанные в Москве довольно банальные идеи-тезисы, однако эта работа считалась дипломатической и второстепенной, она превратилась в «конька» разведки лишь в 70-е годы.

Мой дебют в резидентуре пал на смутное время слабых и временных царствований, наступивших после генерала Родина – Ивана Грозного, наводившего в резидентуре порядок железной метлой. Я прибыл уже после его отъезда в Москву, но тень генерала, словно призрак, бродила по коридорам, ветераны со вздохами и гордостью вспоминали, как их в обмороке выносили из кабинета хозяина после очередного разноса, резидент-владыко не гнушался черновой работы и держал на личной связи ценных агентов.

Но что резидент? – он далек от народа, как декабристы, разбудившие тоже далекого Герцена, что резидент? если подстегивает Центр и требует результатов, а вокруг – чистое поле, одуванчики, имбирное пиво и безжалостный спрут, именуемый консервативной партией, чудовище, которым нужно овладеть!

Я вцепился мертвой хваткой в молодых консерваторов, у которых часто бывал в ассоциациях, где толкал спичи в пользу социализма, знался со мною даже их лидер, потом министр Николас Скотт, с ним мы встречались не раз, в том числе и на консервативных конференциях, где за мною зорко присматривал шеф безопасности в партии Тони Гарнер.

Однажды в Брайтоне член кабинета Ян Маклеод безжалостно отхлестал меня в присутствии Скотта и группы молодых тори: «Стоит вам только коснуться свободы, и весь ваш режим рассыплется в прах!» (тогда я еще не знал, как он прав)¹⁵, вообще для молодых тори я был нечто вроде нового блюда вместо опостылевшего йоркширского пудинга, о коммунистических исчадиях ада они узнавали лишь из прессы, а посему приглашали меня широко, частенько после лекций мы продолжали дискуссии в пабе.

Но общность с консерваторами получалась трудно¹⁶, и ручеек невольно устремлялся

¹⁵ – Ах, если б знать! – заплакал Морж. – Проблема так сложна.

Льюис Кэрролл.

¹⁶ Ничего не помогало, несмотря на завет из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Для таких бесед должен быть человек всесторонне развитый, который умело бы вел разговор. Можно даже прикидываться перед контрреволюционерами консерватором, указывать, что свободу еще население не совсем правильно

туда, где легче.

Кружась среди прессы, много набрал я контактов в «Дейли экспресс», «Санди тайме», «Гардиан», «Экономист», «Трибюн», информация от журналистов, даже скудная, всегда была полезной, ибо, как правило, содержала изюминки и сенсации, которые всегда котировались в разведке.

Из журналистов впечатляли такие акулы пера, как Пол Джонсон и Тони Ховард, тогда связанные с «Нью стейтсмен», родственник министра Чарльз Дуглас-Хьюм из «Таймс», Ян Эйткен и Артур Батлер из «Экспресс» и, конечно же, редактор «Санди телеграф» Перегрин Уорстхорн, фигура влиятельная, хотя и антисоветская, поражавшая светским лоском и истинным англицизмом (о британский дух в клубе «Будлс», на Сент-Джеймс!). Уорстхорн открыл мне коктейль «драй мартини», покоровший своей легкостью, однако после седьмой порции я вдруг почувствовал колебания пола и завихрения мысли, когда думаешь, куда девается человек, венец творения, после смерти.

Несомненно, это были происки английской контрразведки, вскоре я очутился с какой-то банкетной дамой в своей машине, мы бешено целовались, и она звала меня в Париж, где все цветет, а я ее – в Москву, где социальная справедливость и березки¹⁷.

Если Уорстхорн лепил из меня английского агента с помощью «драй мартини» (джин, вермут, лимон, лед), то Питер Уокер, тогда еще не министр, а лишь миллионер и перспективный член парламента от консерваторов, развращал меня в «Монсеньор» близ Пиккадилли-серкус омаровым супом со светло-коричневой лужицей коньяка посредине, которую с шиком зажигал официант.

Лейбористы тоже не отставали, бросив на мое перевоспитание самого министра обороны «теневого кабинета», энергичного и мудрого Денниса Хили, посвятившего меня в отеле «Бакли» в рыцари даров моря, запеченных в ракушке а-ля святой Жак.

Но, если серьезно, беседы с англичанами медленно размывали мои окопы и незримо сдвигали с коммунистических рубежей. Я начинал мыслить, как Декарт, и сомневаться, как несомневающийся Маркс, что, говорят, бесполезно даже в клинических случаях со старлеями.

Пожалуй, больше всего повлиял на меня Дик Кроссман, член парламента от лейбористов, друг лидера партии Вильсона, специалист по Платону, шеф антигерманской пропагандистской службы во время второй мировой, будущий министр и блестящий интеллектуал. В тридцатые годы Кроссман сочувствовал, как многие, коммунистам, после войны вместе с Кестлером, Расселом и другими видными либералами выпустил памфлет «Бог, который рухнул», громивший коммунизм.

Человек, вкусивший от того же древа, уверовавший, а потом резко все отвергший, всегда убедительнее, чем консерваторы – с младых ногтей ярые сторонники капитализма и враги рабочего класса, не читавшие ни Маркса, ни даже Ленина.

Кроссман относился ко мне добродушно и терпимо, он снисходительно улыбался, когда я защищал свою партию, иногда приглашал меня на ленчи в парламента и в клуб «Атенеум», однажды мы даже легко закусывали у него дома в библиотеке – можно представить себе, как притягателен был такой демократизм для юноши со взором горящим, уже понюхавшего советского равенства в образе валенкоподобного секретаря ЦК КПСС, гулявшего по барвихинскому санаторию под эскортом надутой охраны.

Однажды великолепный Кроссман пригласил меня в свой загородный дом в деревушке, расположенной за 25-мильной зоной (это требовало уведомления властей), пригласил на ужин часам к пяти в субботу, по простоте душевной мне и в голову не пришло, что приезд в уик-энд подразумевал и ночевку, впрочем, неудивительно, ибо в нашей гостеприимной стране, вечно страдающей от жилищного кризиса, это вообще почти невероятно, я по крайней мере за всю

понимает, но все-таки и т. п.».

¹⁷ И это при том, что старлей был закален, как сталь, и выпить мог ведро, особенно под голову кабана, опаленную на огне, с выдернутой шейной костью и вырванным языком. Поцелуи были настолько жаркими, что через тридцать лет попали в мемуары Уорстхорна, о чем ниже.

жизнь ночевал на высокопоставленных дачах лишь два раза: однажды на Новый год (звезды на серебряной елке и в небе, нежный пар изо рта, нелепая снежная баба во дворе, сказочный сон на кровати то ли Маленкова, то ли Булганина, репродукции из «Огонька» на стенах) и на утиной охоте в Завидове (полдня на островке в бочке, пропитанной ароматами начальственной мочи, редкие выстрелы и сквозная охотничья пьянка).

Кроссман встретил меня радушно прямо на платформе в Банберри, повез в свой коттедж, где все мы, включая его жену и детей, сели ужинать на кухне, а потом коллективно мыли посуду, что создавало некую солидарность, напоминавшую все прелести будущего социалистического общества.

Затем перешли пить порт¹⁸ в гостиную, я больше слушал – Кроссман был прекрасным рассказчиком, – последний поезд отправлялся около одиннадцати вечера, я краем глаза (с чеховским тактом) взглянул на часы и заметил, что мне пора. Брови у Кроссмана полезли вверх от удивления: «Я же пригласил вас на уик-энд! Куда вы? – Он уже разрывался от хохота. – Это называется уик-энд по-русски: несколько часов! Мы для вас отвели прекрасную комнату...».

Смущаясь, я промямлил, что должен ехать, ибо в уведомлении моя ночевка не предусмотрена.

Вытирая слезы от смеха, Кроссман снял телефонную трубку: «Форин Оффис? Дежурный клерк? Говорит Дик Кроссман, член парламента. Тут вышла забавная история...» – далее он талантливо живописал весь инцидент и попросил пролонгировать мое пребывание – на том конце провода тоже ржали: ох уж эти крестьяне-русские!

Придя в спальню, я залег под пуховое одеяло, смутно ожидая провокаций в стиле КГБ (подруга хозяйки, горничная, трубочист, случайно оказавшийся в соседней комнате), но никакие ЧП не обрушились, и я мирно заснул, прикидывая, как объяснить ночевку резиденту, не обладавшему чувством юмора, как в Форин Оффисе.

Следующий день мы посвятили осмотру фермы, которой хозяин очень гордился, попутно Кроссман рассказывал веселые истории, например, об одной «левой» даме, убеждавшей его в 1937 году порвать с капитализмом и уехать в Москву: «Чуть не убедила, а сама, представьте себе, все же уехала, и ее расстреляли!»

Отбыл я к вечеру, на перроне провожала меня вся семья, на прощание Кроссман подарил мне для сына четыре томика знаменитой детской писательницы Беатрисы Поттер.

В посольстве я числился сотрудником пресс-отдела, хотя по линии «крыши» почти не работал (в Англии это было не принято) и целиком отдавался любимому делу. Правда, однажды посол попросил меня выполнить функции толмача у Терешковой, прибывшей в Лондон с первым визитом, пресса старательно освещала визит, я любовался своим изображением во всех газетах рядом с Чайкой, однако Центр, как мне донесли, прореагировал следующим образом: «Ну вот, показал свою рожу всей Англии!

Как он теперь будет работать с агентами? Его легко узнает каждая собака».

Еще больше паблисити получил я в таинственной Ирландии, куда был приглашен на дискуссию с экзотическим названием «Куда идет человечество?» (неизбежный путь я хорошо знал).

Дублин поразил меня обилием не боевиков, готовых сотрудничать, а пьяных забулдыг, небрежно, как в родных палестинах, пересекавших улицы, низкой стоимостью виски и дешевыми зажигалками, я обнаружил даже некую схожесть ирландцев с русскими, правда, исследовать эту проблему не успел, ибо мой лондонский резидент испортил мне всю обедню, приказав подобрать парочку тайников для нелегалов (с Ирландией тогда дипотношений не было), что я и сделал, побродив вволю по будоражащим душу кладбищам.

В то время я мечтал найти вербовщика, беззаветно преданного идеям борьбы с империализмом, – такого фанатика можно было бы нацелить и на Форин Оффис, и на любое английское учреждение, и на преисподнюю. Естественно, такие людоеды водились среди

¹⁸ Слово «портвейн» уже давно неблагозвучно в интеллектуальной России, сразу ассоциируется с «солнцедаром», циррозом, вытрезвителем, кородрягой, алкоголизмом и прочими ужасами – посему рука не поднимается назвать великолепный португальский «порт» – портвейном.

боевиков Ирландской республиканской армии, однако на мои дерзкие идеи осторожный Центр вылил ушат ледяной воды, обвинив в недальновидности, неоправданном риске и легкомыслии – ведь любой провал мог бросить тень на безукоризненную советскую внешнюю политику!

Человек привыкает ко всему: и к хорошему, и к плохому, и к опасности, и к тюрьме, и к беде, и к войне, и даже к неизбежности смерти (так и видно согбенную спину, морщинистый рот и нечто зеленое в ноздре).



Рисунок Кати Любимовой

Вначале разведка закручивает, как карусель, ошеломляет и удивляет, но проходят годы, и уже не бьется сердце, когда видны в зеркальце маскирующиеся за вереницей машин наружники, только улыбаешься и не гонишь, и боишься оставить их перед светофором, дабы не вызвать справедливый гнев, и в нору-тайник суешь равнодушно длань, не допуская мысли, что из-за кустов выскочат люди с пистолетами и сфотографируют с чучелом крота в руке, и на вербовочной беседе не заплетается язык.

Разведчик в резидентуре привыкает к монотонной рутине: утренний обмен гранд-идеями с начальством, подготовка к операции, сама операция, обработка результатов, то бишь неизбежные отчеты и информация, официальные банкеты, просмотры, симпозиумы, пресс-конференции – жизнь тянется, как тесто.

Абстрактно все мы понимали, что шла холодная война и мир мог полететь в тартарары, но каждодневно никто этого не ощущал: так думают о смерти, но она всегда неожиданна, потому и существует радость жизни (тут высморкался и почесал нос).

Совсем недавно я правил рукопись на застекленной террасе, сидел, развалившись на диване напротив раскрытой двери, за которой возвышался зеленый куст жасмина, осыпанный, словно хлопьями снега, белыми цветами.

Дачная идиллия, блаженные мысли о предстоящем путешествии к Средиземному морю, сытая удовлетворенность написанным, приятное тепло в животе после чашки куриного бульона.

Вдруг что-то стремительно, как снаряд, влетело в дверь, просвистело мимо уха и шумно врзало в окно у самой головы.

На подоконнике бился перепуганный юный дятел с оранжевым пятном на лобике, я ухватил его за лапки, еще не успев перепугаться, он заорал, как оглашенный, как будто замыкал, широко раскрывая клюв, я вынес его на крыльцо, разжал ладонь – и он почти винтом взмыл вверх...

Однако. Умилительный острый клювик с ниточками гениального мозга героя.
Пуркуа па?

Смешно, и все смеялись.

Нам не дано предугадать.

Смерть от клюва дятла в момент, когда поставлена точка в конце мемуар-романа. В виде хвоста.

Самое время выпить кородряги.

Точно так удивились и мы в Лондоне, когда грянул кубинский кризис.

Москва повелела «молнией»: собирать лю-бу-ю информацию! – и мы разбежались по Лондону, как муравьи, хватая на ходу любые былинки, любые крошки, любые отрывки...

Настроены все были патриотично: влепим американцам! хотя страшновато стало, когда наши и вражеские корабли начали медленно, как два дуэлянта, сходиться. Нападут ли они на нас, или это блеф? – таков был центральный вопрос, который мы пытались раскрутить у контактов, причем у любых, времени было в обрез.

Днем мне удалось вытянуть на дринк двух американских дипломатов Рузвельта и Вуда (судя по легкости, с которой они шли на контакт, – црувцев), они, в свою очередь, интересовались, всерьез ли наши корабли двинутся к Кубе. Указанием свыше предписывалось проявлять твердость и не отступать от официальной линии, видимо, американцы имели такое же предписание, и мы расстались, мысленно покрутив кулаком перед соответствующим носом.

Из дома – к телефонным будкам (из посольства, естественно, старались не звонить). Поиск знакомых, приглашение на дринк, на ленч, на ужин, на встречу в ночном баре, что делать, если мир катился в пропасть? К вечеру я попал на домашний прием в Найтбридж, гости запаздывали, и мы грустно проговорили с полчаса с известным ирландским писателем Донливи – что мы могли сказать друг другу, кроме того, что мир безумен и все мы безумцы? Закрутилось все. Водородный зной. Век. Другой. Осел танцует чарльстон с луной.

Как несчастно, как бессильно выглядела разведка в те фатальные минуты, сколько отсебятины мы тогда накатали, стараясь писать округло, дабы не сесть в лужу, если события развернутся иначе. Тогда я впервые подумал, что разведке в такие моменты нельзя верить. Утешало, правда, что там, на высочайшем вершине, аккумулируются золотые песчинки, – увы, много лет спустя я убедился, что эти песчинки тонут в хаосе и конъюнктуре.

Удивительно, почему разведка бессильна именно в те роковые моменты истории, когда необходим ее вклад? Ведь ЦРУ тоже не смогло спрогнозировать ни Вьетнам, ни революцию в Иране, не говоря уже о перестройке в СССР (этого сами отцы перестройки не могли предсказать, видимо, предвидение – это удел лишь гениев и безумцев).

Как назло, меня пригласили в Кембридж с лекцией перед студенческим либеральным клубом, масса вопросов о Кубе, брызги летели изо рта, когда доказывал, что на Кубе нет ракет дальнего действия. Какой-то залетный янки с возмущением заорал: «Выходит, что Кеннеди врун?» С нежностью думая о том, что по кембриджским полям в свое время прохаживались Филби и вся великолепная пятерка, я обошел вопрос и повторил свое экспозе, добавив, что смешно представить маленькую Кубу, развязавшую войну против Соединенных Штатов.

Студенты трепали меня лихо не только по Кубе, но и по всем параметрам, особенно по перебежчикам из Восточного в Западный Берлин. Золотые слова лились из моих уст: «Многие выступают против Германской Демократической Республики потому, что они или их родственники имеют собственность. Полиция стреляет потому, что существуют законы и границы, а их нельзя игнорировать. Если вы не останавливаетесь по приказу, в вас стреляют». Железная логика, и все верно, в конце концов, даже Грэм Грин в то время писал, что в бегстве на Запад нет ничего высокоморального: люди лишь хотели больше денег, чтобы хорошо жить. Подумаешь, хорошо жить захотели, филистеры и обыватели, а кто будет строить лучший безденежный мир, где из золота делают уборные?

После моего спича благодарные кембриджцы показали окрестности и устроили небольшой банкет, к вечеру, впрочем, стало известно, что Хрущев признал официально присутствие ракет на Кубе, пассаж, конечно, но тактичные англичане надо мною не измывались, как когда-то сказал сэр Генри Уоттон, все дипломаты – это честные люди, которые лгут ради своей родины.

Около полуночи, когда я выехал из Кембриджа, вдруг хлынул беспросветный ливень, дорога была узкой и не освещалась, а тут еще сломались «дворники», приходилось постоянно

останавливаться, выходить из машины и тряпкой протирать лобовое стекло – видимо, это была легкая месть Судьбы, впрочем, это не отучило от вранья старлея, верившего в торжество коммунизма.

Боже, что творилось у меня в голове! Ведь не полным идиотом же я родился? И ведь не только Ленина я читал, но целый сонм критиков Великого Учения.

Неужели дурак?

Но крепко был камень, медленно точила его вода, и не сдвинули его с места ни британская пресса, безжалостно шерстившая коммунистов, ни Бертран Рассел, ни Маггеридж и Фишер, ни Артур Кестлер со «Слепящей мглой», поразившей прямо в верноподданническое сердце, ни Джордж Оруэлл и Евгений Замятин, ни Солженицын – камень покачивался, но снова прочно залезал в мох, боялся оторваться от благополучной земли и тут же придумывал аргументы, трусливо, но искренне оправдывавшие и Теорию, и Политику как историческую необходимость. Прав Питт-младший: «Необходимость – это отговорка тиранов и религия рабов».

Вот зараза-то, вот болезнь! И прицепилась ко мне так серьезно, пала на молодость, на лучшую часть жизни!

А может... Неужели... Пуркуа па?

Но работе все это только помогало, укрепляя уверенность в превосходстве Системы, и я мечтал о славе Лоуренса из Аравии, естественно, в варианте Михаила из Московии, хотя очень хотелось добавить к этим триумфам лавры лорда Байрона.

Иногда я представлял, как, издав под псевдонимом (очень нравилось Безлюбов) книжечку блестящих стихов, я врываюсь в Центральной Дом литераторов, средоточие изысканной кухни и ослепительных талантов, – что стоит лишь одна надпись, сделанная забежавшим гением на стене: «Запомни истину одну: коль в клуб идешь – бери жену. Не подражай буржую: свою, а не чужую!»

К тому времени я уже молодой генерал, а не полковник, как Лоуренс, на шитый золотом мундир, увешанный орденами за подвиги в битвах с английскими консерваторами, наброшено кожаное пальто (кажется, так любил ходить Кальтенбруннер из гестапо), вид мой суров, но приятен.

Друзья-литераторы, знавшие меня как задрипанного дипломата, протиравшего кресла в посольствах, бросаются навстречу, помогают снять пальто... О Боже! Сверкнули эполеты, кто-то разглядел лампасы, загремели ордена, все поражены, объятия, поцелуи («Миша, это ты?!»), все сияют и торжественно ведут меня в зал, там в шоке уже официантки, особенно одна, как-то упорно не принимавшая у меня заказ на раков...

Но работа шла туго, поиск консерваторов напоминал ловлю бабочек неводом, коварные тори по странной причине не желали идти на контакт и тем более служить КГБ, видимо, они не представляли, какие горы фунтов стерлингов свалились бы на них, пожелай они войти в тайный комплот со мною¹⁹.

Я пытался глубже проникнуть в тайны английского характера, но все больше запутывался. Стереотипы разрушались на глазах: рантье, банкиры и трутни оказывались добрыми и симпатичными людьми, а выходцы из трудовых масс, профсоюзники и шахтеры, слишком часто были выжигами и амбициозными дураками, а совсем не прогрессивным человечеством.

Я подружился с лордом, который совсем не походил на колониального людоеда в пробковом шлеме, избивавшего стеклом несчастных китайских кули или индийских сипаев, и носил он не смокинг, а пуловер с продранными, но аккуратно зашитыми локтями, жил, подобно мне, в полуподвале (это успокаивало), интересовался книгами и театром, любую политику

¹⁹ Если бы я знал, как иронична история: в октябре 1992 года в ресторане «Каретный ряд», бывшей столовой Свердловского райкома, выйдя в тесный ватерклозет (так и вспоминается дореволюционный анекдот об армянине в гостинице, не спавшем ночь из-за шума за стеной. Утром он прочитал на табличке «Water Closet» и воскликнул: «Я так и знал, что это – иностранец!»), я разговорился в унылой очереди с иностранцем, оказавшимся членом парламента от консервативной партии, он тоже слегка поддал и лишь поднял бровь, узнав, что говорит с бывшим экспертом КГБ по Англии, – достойный конец спектакля – кукольного поединка между Панчем и Джуди, поставленного в духе Беккета под названием «холодная война».

считал подлой и лживой, а ядерное состязание приравнивал к самоубийству. Дико все это было слышать от представителя правящего класса, сначала я даже подозревал, что им манипулирует английская контрразведка, дабы взять меня на крючок...

Привыкнув к бесцеремонности московской милиции, я замирал перед «бобби», когда случалось нарушать правила левостороннего движения (по правой стороне я, правда, ездил лишь по праздникам), и первое время заискивающе заглядывал им в глаза, даже не врезавшись в столб газового фонаря и не сбив маму с коляской. До сих пор в глазах стоит до безумия вежливый полисмен, остановивший меня ночью и молвивший: «Извините, сэра, но как бы вы отнеслись к идее включить фары?»

Еще труднее воспринималась знаменитая английская недоговоренность или преуменьшение (*understatement*); однажды Перри Уорстхорн заметил, что недавно видел нашего посла и очень интересно с ним поговорил, очень интересно, добавил он, и при этом как-то слишком тонко улыбнулся. Конечно же, я не преминул сообщить послу о столь лестном отзыве, на что его превосходительство молвил: «Интересно? Я просто сказал, что его газета – говно!»

Вот она, тонкая улыбка и дрожащие искорки в глазах...

Трудно нам, русским, с этими недоговоренностями и подтекстами, все мы рвемся к «да» или «нет», «любишь – не любишь», «патриот» – «демократ», принимаем блеф за чистую монету, рубим правду-матку там, где стоило бы поиграть бровями или поскрипеть костяшками пальцев.

Один мой коллега обрабатывал англичанина, и тот все кивал головой и вежливо улыбался, а вдохновленный коллега решил, что его собеседник уже готов, как Гай Фокс, поджечь парламент во имя мира во всем мире, и начал его вербовать. В результате разразился скандал – так что, если англичанин качает головой, как Будда, это отнюдь не значит, что он жаждет влиться в когорты тайных агентов.

Меня учили, что неприступные политические клубы от простого «Реформ» до элитарного «Бифстейк» суть святая святых истеблишмента и великолепное пастбище для разведки. Там, и только там расслаблялись члены правительства и шефы спецслужб, выпускавшие изо рта секреты вместе с сигарным дымом, там за стаканчиком скотча решались судьбы страны и мира.

Иногда меня приглашали туда, и я жадно оглядывал столы, за которыми уплетали протертые супы мрачноватые типы, напоминавшие отставников в кагэбэвском клубе на Лубянке – как подойти к ним? как заговорить? – и я пил грустно порт²⁰ в отделанной деревом библиотеке клуба, я с тоской смотрел на министра торговли сэра Реджинальда Модлинга и думал, что делать. Не мог же я подбежать к сэру Реджинальду, вырвать омара изо рта и молвить жалобно: «Господин министр, я очень хочу с вами познакомиться... вы мне так нужны!» Как бы он реагировал?²¹

Клубы оказались крепостями, в отличие от домов англичан, которые, как известно, являлись символами крепости и надежности. Даже на родине не бегал я так часто по гостям, как в Англии: и на тихие семейные ужины, и на домашние коктейли, где все весело верещали и легко общались друг с другом, и на незатейливые вечера, когда каждый гость притаскивал что мог.

Пожалуй, чопорность и снобизм, по Гейне, черты «вероломных и коварных карфагенян Северного моря», гораздо явственнее просматривались в нашем посольстве. Одевались все наши дипломаты и недипломаты словно на аудиенцию у королевы: всегда темные костюмы, белые рубашки и мрачные галстуки, не дай Бог явиться даже на полуофициальный прием без галстука – обеспечены выговоры начальства, лавры разгильдяя и даже диссидента.

По особо торжественным случаям на приемы в наше посольство приглашали толстого дворецкого (из числа тех, кто охранял врата на «улицу миллионеров» и заодно помогал службе

²⁰ Естественно, мечтая об отечественной кородряге.

²¹ – Закуси язык, мать, – огрызнулась юная Рачиха. – С тобой и устрица из себя выйдет.
Льюис Кэрролл .

слежки), который занимал место у входа и зычным голосом объявлял о прибытии знатных гостей, – посмотрели бы на все это матросы Железняков и Маркин!

До приезда в Альбион много, конечно, наслышался я об английских политических нравах – вершине надувательства буржуазией народных масс, но, попав в парламент («собрание старых баб» – отец Карл), сразу был покорен свободой дискуссий, остротой критики, искрами остроумия и тем, что после сессии яростные противники мирно пили пиво в парламентском пабе, а не продолжали лупцевать друг другу морды.

Правда, ослепление мое вскоре увяло, в конце концов, политика грязна в любой стране, пресса любит все раздувать, вот и превратили в нелепый скандал дело военного министра Джона Профьюмо – какой абсурд, что Иванов мог использовать проститутку Кристин Килер в целях шпионажа! Мыто хорошо знали нравы в нашей и военной разведках, нам и на милую проституткам подходить запрещалось (наверняка сам Иванов считал, что перед ним честная модельерша), не то что ставить перед ними задания о выведывании секретов, веселая фантазия: очаровательная Кристин, опершись нежным локотком на подушку, спрашивает у голого Профьюмо: «Джон, а какого вида ракеты завезли в Англию из ФРГ?»

Сначала весьма раздражала меня английская «нелюбовь к теории» (Ильич регулярно поддавал им за это), к тому же я никак не мог понять, почему так уверенно звучат марксистские аргументы на родине и так беспомощно в Англии.

Однажды на коктейле я пытался посадить в лужу одного философа-идеалиста мировой величины, профессора Айера (как легко было биться с идеалистами дома, оглушив, словно дубинкой, «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно» – и точка), и проблеял шибко ленинское по поводу солипсизма и поповского идеализма, к счастью, философ оказался человеком деликатным и перевел разговор на преимущества виски перед джином. Тогда я расценил его тактичность как теоретическую несостоятельность и явное проявление «нелюбви к теории» (плоды любви в нашей стране мы ощущаем и по сей день) и посетовал на рациональность и прагматизм англичан, неспособных понять диалектические обобщения, даже твердолобые тори не имели ни законченной теории, ни путеводной звезды, ни пленительного рисунка светлого будущего, даже лейбористы выбросили из своей программы Маркса и «пункт 4» (о национализации) и свели все к налоговой системе, благосостоянию и социальной защите.

Удивительно, каким я был дураком! И, как и все мы, жил себе преспокойно на марксистской диете, лишь только слышав о существовании врагов народа Розанова, Ильина, отца Булгакова и Бердяева.

Даже упоминание о частной собственности вызывало только усмешку – разве можно было этот анахронизм принимать всерьез? что есть собственность в сравнении с выходом из мира грязного чистогана в царство свободы, где все мы будем лишь совершенствовать души и извилины, отрешившись от бранных материальных забот?

Интеллектуальные бродяги, безумные поэты и философы, отдававшие последние гроши ближним, пламенные революционеры, отрекшиеся от дворянства и состояния, прочно заняли в моей душе места героев.

И все же мой революционный романтизм хирел, и как-то незаметно я начал подражать буржуа: купил модный костюм за двадцать фунтов (приличная сумма по тем временам) в самом фешенебельном магазине, начал баловаться сигарами и трубкой, обзавелся зонтом с бамбуковой ручкой, которым стучал по асфальту, как тростью, во время динамичных променадов по Пиккадилли, и, если бы не риск разборки на партийном собрании, приобрел бы, наверное, и котелок. По уик-эндам, подражая англичанам, я натягивал на себя старый свитер и потертые фланелевые брюки, не брился и, прогуливаясь по Гайд-парку, чувствовал себя чистопородным лордом.

Мой Альбион! Несется кеб прошлого по булыжникам, скрипят колеса, газетчики заглядывают в окошко и кричат на корявом кокни: «Анк ю, саа», что означает «Спасибо, сэр», вот Стратфорд-на-Эйвоне, я внимательно рассматриваю скульптуру Гамлета (и нахожу поразительное сходство со старлеем), вот озеро Серпантин в Гайд-парке, где утонула жена Шелли («Чья жена? – спросил меня коллега. – Не того кривоногого мужика, который вчера на банкете один сожрал целую банку икры?»), я пробегаю рано утром по парку в трусах, – физкультуривет! – толкаю вместе с Катей коляску с сыном, вот он неуверенно ступает по траве,

с удивлением осматриваясь вокруг.

Вот ресторан «Этуаль» в Сохо, я и американский профессор истории (он закладывал в верхний карман пиджака пышный цветной платок, торчавший небрежно и изящно, я, видимо, с таким вожделением глядел на этот букет, что однажды он вынул его из кармана и подарил мне: бери, Майк, на здоровье! – ношу по праздникам до сих пор) выковыриваем из раковин улиток (он говорил всегда «извините», когда в дверях я пропускал его вперед), вбегает человек, кричит на весь зал: «Убит президент Кеннеди!» Все замирают, перестают пить и жевать, немая сцена.

Вот мы обедаем с Диком Кроссманом в кафе «У Исаака», и вдруг официант приносит записку: «Ваш столик подслушивается!» Мой визави невозмутимо читает ее, подняв брови, передает мне, я содрогаюсь от неясных предчувствий, мы быстро сворачиваем трапезу, хотя ничего преступного не совершали, мы идем к выходу, кто-то хлопает меня по спине и гогочет: ба! да это старый хохмач, давний приятель кинорежиссер Джек Левейн, это он решил разыграть, спасибо, дорогой, за черный юмор, посмотри, как побледили мы оба...

Катя рисует меня цветными мелками – то у Биг Бена, то на Трафальгарской, голуби садятся ей на плечи и на голову, она хохочет, отряхивается, словно от брызг, Катя рисует карикатуры, где я то зарылся в газеты, то в костюме Адама брожу по комнате, то в клетчатом твиде спешу на работу, не успев надеть ботинки, то замер в машине у «зебры» и вожделенно таращусь на мисс с оттопыренным задком. Катя рисует себя то уродиной в конусоподобном «беременном» платье перед родами, то долгоносой птицей с унылой коляской, из которой торчит дитя, то сногшибательной красавицей на семинаре жен дипсостава, Катя рисует нашу жизнь, Катя – это Лондон, который уже не принадлежит мне. Катя рисует, чертила томно и ленно, губу оттопырив вниз, левой рукой – поэму, правой рукой – эскиз.

Катя рисует.

Летит мой кеб.

Занятие шпионством необыкновенно расширяет знание человеческой души, но губит нас, превращая в циников. Разве порядочный человек станет заглядывать в замочную скважину и собирать по зернышку информацию, о которой сосед предпочитает умалчивать? Профессиональный шпионаж губит личность, и самое ужасное, что человек, созданный Богом, прекрасный и ничтожный человек, со своими радостями и горестями, в глазах разведчика предстает как «фигурант дела агентурной разработки» – так торжественно именуются досье, куда толстой иглой и суровой ниткой важный от сознания собственного достоинства опер подшивает бумаги со времен царя Гороха, homo sapiens и царь природы превращается в объект, который необходимо рассматривать со всех сторон, обнюхивать, облизывать, опутывать, охмурять, соблазнять, вербовать.

И все же... И все же они всегда со мной, мои агенты, состоявшиеся и несостоявшиеся, преданные и отвернувшиеся, они идут вереницей, взявшись за руки, по кромке горизонта – это моя жизнь, я в ней и над нею, любопытный зритель, давно знающий, чем закончился спектакль, но вновь и вновь проигрывающий и переигрывающий все ходы. Они ковыляют, подпрыгивают, хохочут, хмурятся, грозят мне кулаками, тянут приветственно руки, отворачивают лицо, плачут, вон среди них очень гибкий дипломат, обещавший золотые горы и душивший голову, а вон опытный волк, которому палец в рот не клади, он научил меня жизни побольше, чем все университеты, а потом слинял неизвестно почему. Вон он машет моему сумасшедшему кебу, растопырив пальцы, делает мне «нос» и кричит: «Что, старина, обдурил я тебя? Правда, ловко?»

Вот и худенькая леди, долго решавшая, передать ли секретные документы или жить бедно, но счастливо, очень она боялась встреч со мной, зато потом раскрыла свои объятия одному западному корреспонденту – нашему агенту, и уж его совершенно не боялась и снабжала ценной информацией.

Она смотрит на меня с горькой усмешкой: «Как живешь, победитель? Как тебе удалось подставить мне этого прощельгу? А знаешь, если бы у тебя хватило выдержки, я в конце концов передала бы и тебе эти проклятые документы!»

Если бы знать, милая леди, если бы знать! Если бы всё мы могли просчитать заранее...

Вот интеллеktуал и мастер пера, гордость нации, милейший и скромный человек, он отворачивает от меня лицо и ворчит: «Какой я, к черту, агент? Что вы меня зачислили в гнусную компанию?! Я и денег у вас не брал!»

Конечно, не брали, сэр, вы, как большинство англичан, неподкупны, вы не брали, а я не осмеливался давать, я просто опускал конверт в карман вашего пиджака, когда мы выходили в туалет, конечно, вы не шпион, сэр, вы и не могли видеть этот конверт... вы даже не благодарили...

В окошко кеба на манер «Рот фронт» влезает кулак, это сильный мужик, он работал как вол, никогда ни в чем не сомневался и всегда шел до конца. Рукопожатие его твердо, на губах смешок: «Майк, к чертовой матери эту мерзкую работу, давай сядем и напьемся, давай поговорим по душам, мне не с кем говорить в этой фарисейской стране! Как мне противно, что я не родился русским!»

Они бредут вереницей и исчезают за горизонтом, я постепенно забываю их лица, но тогда вспоминаю места наших встреч: лондонские парки, улочки с газовыми фонарями, лавками и кинотеатрами, пабы и кафе, и вдруг берег Женевского озера – почему его нет? не арестовали ли? – и черную шляпу «борсалино» – опознавательный признак на всякий случай, если не я, а другой выйдет на место встречи у собора святого Стефана в Вене, и вдруг рыбный базар в Остенде, где на берегу торгуют селедкой, которую, слегка посолив, можно тут же отправить в рот, и вдруг пригород Брюсселя и ресторанчик у ветряной мельницы, вокруг которой я кружил, как князь из «Русалки», ожидая, что вот-вот мелькнет вдаль котелок, прикрывающий облезлый череп, и симпатичный мужчина со вставной челюстью явится пред светлы очи мои, откроет портфель из крокодиловой кожи, в котором...

Но в чем я ошибся жестоко, так это в знаменитых спецслужбах, чье изощренное коварство, как учили меня, великолепно сочеталось с благопристойным фасадом джентльменства. Целая галерея рафинированных английских шпионов жила в моей памяти, начиная от основателя секретной службы сэра Фрэнсиса Уолсингема, раскрывшего серию заговоров против королевы Елизаветы и заранее узнавшего о приближении испанской Армады.

Там были и гении литературы Марлоу и Дефо (говорят, и Шекспир), там блистал мастер политической интриги сэр Роберт Локкарт²², непрерывно менявший свои псевдонимы, паспорта, явки, консквартиры и любовниц, и полковник Лоуренс в арабском одеянии, пивший из пиалы чай со своим агентом и другом шейхом Фейсалом, и всех их воспел Киплинг в «Марше шпионов»: «Смерть – наш Генерал, наш гордый флаг вознесен, каждый на пост свой встал, и на месте своем шпион!»

Я рассматривал портреты шпионов-джентльменов с безупречными манерами, я восторгался их чеканными профилями, ухоженными усами, неправдоподобной смелостью. Ну а об интеллекте британских спецслужб я судил по таким глыбам, как Сомерсет Моэм, – не кадровой разведчик, но талантливый агент, совершивший даже поездку в Россию, дабы «предотвратить большевистскую революцию», по такому сатирику, как военно-морской разведчик Комптон Маккензи, – я хохотал до колик, читая его «Вода в мозгу», в которой он больно отшлепал спецслужбы... И конечно же, Грэм Грин с «Нашим человеком в Гаване»²³.

Блестящие перья двадцатого века, какие донесения они писали, как зачитывались ими министры и премьер-министры! Тут было чему поучиться Михаилу из Московии, мечтавшему о славе лорда Байрона в Доме литераторов на Герцена.

Живых агентов английской разведки в то время я еще не встречал, хотя подозревал многих, особенно тех, кто был по-военному строен и импозантен, кончал частную школу и Оксфордский университет, одевался неярко, но со вкусом и небрежно сорил суховатыми

²² Локкарт просто сразил меня: «Книги, прочитанные мною за три недели в кремлевской тюрьме: Фукидид, «Воспоминания о детстве и юности» Ренана, «История папства» Ранке, «Валленштейн» Шиллера, «История Семилетней войны» Арченгальца, «История войны в России 1812 г.» Белицке, Маколей, «Путешествие с ослом» Стивенсона, «Жизнь Наполеона» Розе, Уэллс, «Против течения» Ленина и Зиновьева. В те годы я был серьезным молодым человеком».

²³ С Грэмом Грином в начале 60-х я встречался в Лондоне, уже в 80-е, когда он переехал в Ниццу, я попросил своего друга получить у него автограф на книге «Почетный консул». «Помню, помню я этого Майкла! – пробормотал Грин, надписывая книгу. – Он едва не прищемил мне нос дверцей машины, когда я чуть нагнулся, чтобы помахать ему на прощанье рукой!»

остротами.

Во время поездок по стране сталкивался я иногда с сыщиками, которые обычно шли в хвосте, – это были милые люди, часто выручавшие во время блужданий по незнакомым дорогам, они не особенно скрывали свою миссию, останавливались обычно в одной гостинице со мною, приветливо здоровались, иногда принимали угощения и заверения в том, что ночью я не ускользну на явку с агентом на ближайшее сельское кладбище.

Иногда я фантазировал (это было сладко), как когда-нибудь над тайником мне неожиданно закрутят руки, и щелкнут наручники, и бросят в машину, и повезут в кабинет, где умнейший полковник в штатском (именно полковник, не меньше) заведет вербовочную беседу – уж я держался бы твердо, как подобает взятому в плен солдату, уж я ни в чем бы не признался и с дерзкой усмешкой на губах отмел бы все домогательства и наверняка, если бы он дотронулся до меня, плюнул бы ему в гнусную харю, как мне плевали, когда играл в самодеятельности фашистов и американских полковников.

Впрочем, почему один полковник, а не три-четыре опытейших профессионала в костюмах мышиного цвета (возможно, кто-то и с моноклем), чисто выбритых, пахнувших горьковатым, истинно мужским лосьоном и трубочным табаком «Клан»? И, конечно, не начинают грубо и плоско: «Будете работать на нас или нет?» – а ведут все издалека, возможно, от времен Ивана Грозного, развивавшего торговлю с английскими купцами, затем пару слов о благотворном влиянии Шекспира на Пушкина и Евтушенко и уж только после этого прямо к вербовочной сути, приправленной соусом англо-советской дружбы. В глазах стояла советская картина «Допрос коммуниста», где гордо держался на ногах окровавленный герой, держался под гогот холеных полупьяных врагов в золотых погонах.

Однако капризная фортуна уготовила мне совсем другой сценарий.

Осенний сыроватый вечер, скромное чаепитие в доме Уильяма Пенна на Балком-стрит, где общество квакеров проводило лекцию (кажется, профессор Макс Белофф), все передвигались и общались, я переходил от одного гостя к другому с чашкой чая в руке (хочется дописать: и с красной гвоздикой в петлице), пока не оказался близ своего давнего знакомого мистера Икс, человека весьма скромного и несколько рассеянного, похожего на замученного библиотекаря и потому симпатичного библиофилу из Московии.

Мистер Икс являлся одним из шефов отдела Форин Оффиса и был связан с шифровальной службой в Челтенхеме, – вожделенный кусок для разведки, – человеком он был благопристойным и семейным, довольно часто мы с Катей встречали его с выводком детей во время прогулок по Гайд-парку.

Ни у резидента, ни у меня не было никаких сомнений, что мистер Икс если не в кадрах контрразведки МИ-5, то тесно связан с этой бдящей организацией, однако он пошел на контакт, даже приглашал домой, даже подарил монографию философа Уайтхеда (это было особенно лестно – не кулинарную же книгу!).

Чем черт не шутит? – вдруг поселилась в нем идея фикс продать нам шифровальную службу Англии со всеми потрохами за несколько миллионов фунтов стерлингов?

Так мы иногда и общались: он наслаждался беседой со мною, я же тешил себя сумасшедшими фантазиями.

Резидентура после всех разгромов и провалов сидела на мели, в таких печальных случаях полезно демонстрировать хотя бы рвение: мы бодро доложили о мистере Икс, нарисовали голубое небо и горевшую звезду, и с тех пор вся информация о мистере Икс шла на самый верх КГБ, дело гремело, как танец с саблями, – в центре старлей с кинжалом в потрясных зубах, – блефовали и резидентура, и Москва, спускавшая сверху ценные указания буквально по каждому шагу, – еще бы! если бы мы его завербовали, можно было бы просто закрыть всю резидентуру и распустить всех агентов, оставив одного Икс.

Дело развивалось сравнительно спокойно, я неторопливо изучал мистера Икс (а он – меня), мирно беседовал с ним о высоких материях, ожидая, что он вдруг подмигнет и жарко прошепчет: «Завтра жду вас в музее мадам Тюссо, около восковой фигуры Хрущева, это очень важно!»

И вдруг, словно обухом по голове: Центр решил проявить здоровую инициативу, придать делу, как модно было говорить, наступательный характер, подчеркнув этим, естественно,

инертность резидентуры, забитой недотепами, и предложил мне пригласить мистера Икс на уик-энд в курортный Гастингс (о выезде туда уведомлений в Форин Оффис не требовалось, ибо рядом располагалась посольская дача – небольшой замок, подаренный Советам каким-то спятившим от благотворительности богачом-коммунистом), захватив с собою присланные из Москвы бутылку водки и пилюли, остановиться с ним в отеле и раздавить совместно бутылку, предварительно проглотив спасительное лекарство, далее, по мысли организаторов, из уст Икс под действием психотропной водки полились бы все секреты кабинета министров...

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Даже шевалье д'Эон де Бомон, переодетый в девушку и посланный французским королем в русский императорский двор, и то чувствовал себя, наверное, безопаснее, хотя в подошвах его ботинок и в корсете хранились секретные письма и шифры.

Где гарантии, что, попивая водочку и думая о ней, мы не будем под контролем британской контрразведки?

Интересно, с какой стати приглашать Икс в Гастингс? Согласится ли он? Как это будет выглядеть? Два дружка, два мужика мчатся в Гастингс... Ха-ха, может быть, еще и остановиться в одном номере? Очень актуально, особенно после громкого провала клерка адмиралтейства, гомосексуалиста Джона Вассала. Бред сивой кобылы.

Но ладно, допустим, из диких симпатий ко мне и общей любви к философу Уайтхеду (кстати, я и страницы его не понял), мистер Икс бросил бы на уик-энд любящую жену и плачущих детей и полетел бы за мной – дальше тоже сплошной темный лес, использование водки и отечественных пилюль по странным законам социализма часто оборачивалось противоположными результатами: те, кого водка вроде бы расслабляла, вдруг преобразались в Илью Муромца, а проглотившие защитные пилюли болтали черт знает что и бились головой о паркет.

И я представил храброго старлея, еле стоявшего на ногах, но упрямо тянувшего трезвого мистера Икс из отеля на поле брани близ Гастингса, где 14 октября 1066 года норманны Вильгельма Завоевателя разбили наголову саксов и заложили основы славной Великобритании...

Резидент, вкусив от этой грандиозной идеи, был зол и мрачен, он метким глазом различил гадючную интригу, вынуждавшую его становиться на канат, однако отреагировали мы мягко, стараясь не обозлить Центр: отметили все трудности организации дружеской вечеринки в Гастингсе, обязались принимать меры, искать возможности и трудиться над мистером Икс по способностям.

Вскоре начались парламентские выборы, резидентура крутилась, «приводя к власти» лейбористов, которые тогда считались потенциально слабым звеном в НАТО, я не особенно высывался с мистером Икс, хотя и поддерживал с ним контакт, о Гастингсе речь не заводил – короче, мы начали медленно спускать все это дело на тормозах...

Итак, после раута на Балком-стрит мы с мистером Икс преспокойно проследовали в уютный паб, заказали по скотчу и начали обмен мыслей и чувств. Мы уже окунулись в этот парадиз и выпили по два скотча, когда мой приятель извинился, встал и, деликатно промолвив, что намерен вымыть руки, удалился в боковую дверь, что меня несколько не удивило.

Настроен я был вальяжно, в голове неторопливо струились некие патриархальные мысли, связанные с недавним возвращением семьи из Москвы, в зубах дымилась сигарилла (Кастро и Че Гевара давно убедили меня, что любовь к сигарам не равносильна предательскому переходу в буржуазный стан), из-за стойки приветливо улыбался дородный хозяин, вокруг неторопливо гудели стайки посетителей.

– Ваша карьера закончилась, сэр... – услышал я и только тогда скорее почувствовал, чем увидел, что по бокам у меня сидели два джентльмена, о нет, не джентльмены, нет! – У вас нет альтернативы, сэр... Вы провалились... Мы знаем ваши тайные контакты... у нас есть снимки... у вас нет выхода, сэр, кроме...²⁴

²⁴ Оглянувшись в последний раз, Алиса увидела, что они засовывали его в чайник.

Я не слушал, настолько был потрясен их непрезентабельным видом: рядом сидели не Сомерсет Моэм и Грэм Грин, а какие-то странные хари из Гоголя, один был небрит и походил на бродягу, постоянно вещавшего с самодельной трибуны в Гайд-парке, другой лоснился румяными ланитами (не путать с персями), но сидел мешком, и пахло от него жареной картошкой, больше я ничего не смог узреть, ибо в тот момент был явно не расположен к литературным зарисовкам.

Меня вербовали! – я понял это не сразу, а когда осознал, то не заиграл в груди «Интернационал» и не прозвучала язвительная цистеронова отповедь, а я лишь, как полагалось по инструкции, вскричал (если честно, пискнул): «Это провокация!» – и, отодвинув стол, бросился к выходу.

– Куда вы, сэр? – послышалось вослед, но я даже не обернулся (потом очень жалел, ведь это был последний шанс сразить врагов наповал гордым видом и сжигавшей, как огнем, остротой, а еще лучше – бросить в лицо лайковую перчатку).

Я мчался в шоке к машине, но почему-то никто не гнался за мною, звеня наручниками и размахивая «смит-и-вессоном», около машины засады тоже не оказалось, бомбу в салон не заложили, и я полетел доложить о ЧП в резидентуру, переживая, что ко мне подкатились не как к асу разведки, а как к мелкому воришке.

В те великолепные времена Система еще не растеряла зубы, и, хотя криминальная деятельность старлея не вызывала сомнений, КГБ решил не давать спуску «этим англичашкам» (иначе они совсем распояшутся!), надавил на МИД, и вскоре наш посол торжественно пересек кабинет министра иностранных дел Патрика Гордон-Уокера с намерением зачитать меморандум о варварской провокации против ни в чем не повинного советского дипломата.

– Одну секундочку, сэр, – перебил его министр и быстренько извлек из папки свой меморандум. Он гласил, что главный герой вел деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и должен покинуть гостеприимный Альбион.

Деликатные англичане не указывали сроки и обещали не предавать мое дело огласке, однако английскую мягкость восприняли в Москве по-боевому: нечего им, гадам, уступать, пусть уезжает через полгода!

Работу я свернул довольно быстро и бездельничал, наслаждаясь прогулками по улочкам Пимлико и Челси и созерцаниями картин в галереях, – со стороны можно было подумать, что КГБ командировал меня в Лондон для изучения живописи.

Однако уже через пару недель на приеме в посольстве шеф русского департамента Смит подошел к послу Солдатову и деликатно поинтересовался, не изменяет ли ему зрение и не похож ли тот симпатичный молодой человек, вон тот, уминающий индейку, на того самого... который... о котором в меморандуме? разве он не уехал?

Намек был понят, пенни упало, завертелось по-советски быстрое в таких случаях колесо, и мы мигом снялись с якоря, еле успев упаковать вещи.

Ла-Манш явно злобствовал, корабль качало, я придерживал на вожжах строптивного сына, рвущегося к борту. Катя, гордо подняв голову, молча прощалась с коварным островом, радуясь, что лондонское затворничество завершилось и впереди огни рампы.

Персона же нон грата страдала не от морской болезни, а от полной неясности в будущем. Но дух был тверд: пейте «гиннес», господа, а мы – на Жигули!

Так я стал персоной нон грата. Англия умерла для меня, но не умерла во мне, наоборот, с годами она становилась все ярче и притягательнее, она выплывала в новых деталях и приобретала новые краски. Я все больше любил ее и люблю сейчас как память о молодых годах, прекрасных иллюзиях и серьезных прозрениях. Мой Альбион всегда со мной, я населил его своими английскими друзьями, заполнил его любимыми парками, коттеджами, скульптурами, это Альбион, который нельзя у меня отнять.

Сейчас мне кажется неприличным, что я занимался в этой прекрасной стране шпионажем, и иногда, словно в дурном сне, выскакивают из прошлого двое – Небритый и Мешок, – они грозят мне кулаками и орут: «Ату его, ату!»

В 1965 году Англию постигли две катастрофы: умер сэр Уинстон Черчилль и выслали старлея.

И шелестит в руках газета «Гардиан», и хочется взять зонтик продырявленный и в клуб

брести, как прогоревший лорд.

Командировка в суровое подполье, возникшее в памяти у отставника, сидящего в кальянах у раскрытого окна – со двора веет чем-то очень человеческим, мужик в тапочках запускает турманов, на них, высунув языки, смотрят собаки, грустно и сладко на душе, и хочется поговорить не о сургучных печатях, королях и капусте, а о верных тайных агентах, которых, возможно, и не было

Глостер. Дай руку поцелую я тебе.
Лир. Вытру сначала. У нее трупный запах.
У. Шекспир

Мерлин Монро

Ровно в шесть тридцать вечера товарищ Майкл любящими руками молодого отца вынул из кровати сына, хорошо завернул дитя в одеяло, снес в коляску, стоявшую внутри подъезда, и выкатил ее на ярко освещенную Кенсингтон-Хай-стрит.

Гордо выпятив грудь, словно беременная дама, презревшая все вокруг, Майкл покатил коляску по «зебре», не достаивая взглядом застывшие машины (мелькнула мысль, что на родине уже десять раз сбили бы), въехал в Холланд-парк и начал кружить по нему вместе с безучастным сыном, еще не обретшим боевой дух после сна.

Около Холланд-Хауса, особняка в тюдоровом стиле, – граф Холланд сочувствовал Наполеону и даже построил казармы для французских солдат на случай захвата Лондона – тут ныне жили советские дипломаты, – старлей присел на скамью, умиленно посмотрел на сына и поправил одеяльце, тайком взглянув на часы.

Минута в минуту из-за старых лип вынырнула жена разведчика, верный друг и помощник, и твердой походкой богини направилась к мужу по усеянной листьями аллее.

Службы слежки не хватало не только на жен, но и на самих разведчиков, и потому жен частенько использовали для прикрытия операций.

Движение с коляской несуетливо и создано для разведки: можно поставить или снять сигнал, начертанный мелом на завезенном из Азии кипарисе, или поднять контейнер – смятую пачку «Ротмэна», пролетевшую мимо урны, очень даже удобно с коляской и даже с целым выводком соседских детей.

Но на этот раз феномен коляски призван был убаюкать наружку, Майкл поцеловал жену («Буду поздно, ложись спать», – сказано было тем самым голосом, который заставляет женщину трепетать и представлять мужа, ползущего к доту с гранатой в руке), вышел через парк к метро, проехал до Оксфорд-Серкус, сделал пересадку и вскоре очутился недалеко от Кариендарс-парка, где в машине его ожидал другой ас – товарищ Павел.

Далее начались кульбиты, сальто-мортале и прочие колбасы, дабы выявить вездесущий и столь часто невидимый «хвост», затем оставили машину на тихой стоянке около уже опустевшего супермаркета, погрузились в автобус, поменяли его на другой, уже не двухэтажный, а «зеленой линии», и вскоре, счастливые, вышли в Богом забытом районе, куда даже гангстеры не залетали – одни психи и шпионы.

– Тебе крупно повезло, – говорил возвращавшийся вскоре на родину Павел. – Взять на связь Мэрилин Монро – это великая честь. Ты знаешь, что во время войны, когда ее муж работал в госдепе, Сталин не начинал рабочего дня без ее донесений? (Цыган кобылу хвалит.)

– Это было так давно, старик...

– Чудак, они оба получили по ордену Ленина, с нею работали только резиденты! (Значит, буду на особом контроле, каррамба!)

– Что-то ты ничего не получил. (Павла передернуло.)

– Если бы муж был жив... если бы она была помоложе. (И ты был поживее.)

– Тогда наверняка ее взял бы у тебя на связь сам резидент, у него, кажется, нет ордена Ленина. (Прислали субчика со стороны, он только глазами хлопал и что-то кудахтал, орден, правда, получил, не Ленина, а помельче, на юбилеи начальству автоматически выделяли.)

Жидко светили газовые фонари, наводя жуть, вокруг было пустынно и безмолвно, только звуки шагов, только невзрачные дома с задернутыми шторами, – не хватало собаки Баскервилей и профессора Мориарти.



Советская дипломатия – это мир во всем мире. 21 августа 1968 года, Дания

Из-за угла выползла тощая фигура, закутанная в плащ, она подходила все ближе и ближе.

– Познакомьтесь, это Майкл, – церемонно представил Павел.

Из-за очков глянули чуть навывкате глаза, шевельнулась улыбка, под плащом зябко дрогнули угловатые плечи.

Вдруг взревел мотор, на улицу вылетела полицейская машина, двое, чуть притормозив, повернули головы, однако не сочли странную тройку преступниками, видимо, приняли за местных пьянчуг, кочевавших из паба в паб.

– Может, выпьем по джинну с тоником? – предложила Мэрилин.

– Не надо толкаться среди англичан и привлекать внимание, я вас хотел только познакомиться, – сказал Павел. – Прощайте, Мэрилин, я отбываю. Майкл – надежный друг, надеюсь, вы поладите.

Все это называлось передачей агента на связь и имело целью избежать явки с опознавательными знаками в виде зонтика с бамбуковой ручкой или фикуса в петлице.

С минуту еще пошептались и разбежались в стороны, как мыши.

Домой добирались долго и снова проверялись: вдруг Мэрилин притащила за собой «хвост», который радостно вцепился в нас? А полиция? И именно в момент контакта!

«Ты не смотри на то, что она на вид хрупкая и в очках, – разъяснял товарищ Павел, – воля у нее потрясающая, не удивительно, что она взяла за рога своего мужа и живо завербовала!» – «Он был коммунистом?» – «Что ты! Настоящий госдеповец, но антифашист! Шуточка ли – завербовать мужа на иностранную разведку... Так что ты взял на связь очень ценного агента...» – «Ты словно рекламный делец...» – «Пойми, старик, что надежному человеку в разведке всегда можно найти применение, все зависит от тебя». – «Что-то ты ее использовал все по мелочи: конспиративный адрес, установка личности...» – «Это тоже дело...» – «Но отнюдь не высший пилотаж, мне же и шеф, и ты преподносите эту даму как дорогой подарок!»

Но дело было сделано, и Мэрилин вскоре явилась в польский ресторан «У Любы», где кормили борщом а-ля граф Юсупов и мясом а-ля граф Строганов, – аристократы, наверное, трясли кулаками из могил, ибо даже гитарист с набриолиненным чубом, наявивавший «Очи черные», не мог скрасить всего убожества кухни.

Первая агентурная встреча требует нежности, как первое свидание, только полные идиоты с ходу обсуждают дела, первая встреча – это дружелюбная атмосфера, это – наведение мостов, это – ключ к будущему, что весьма непросто, если невозможно разжевать бефстроганов и кусок подошвы попал к тому же в большой зуб, сейчас бы зубочистку, но эти шляхтичи – хамье и выжиги, зубочистки на стол не ставят и наверняка нагреют при расчете.

Боже, как болит зуб, а вдруг он еще и попахивает (что скажет дама? хорошо, что предусмотрительный Майкл облился одеколоном «Олд спайс», хотя сказано слишком сильно; не облился, а слегка смочил физиономию и волосы за ушами, ибо одеколон стоил бешеных

денег, а семья копила на западногерманский магнитофон).

Мерилин налегла на зеленые бобы и салат, а товарищ Майкл глядел на героиню, уже переступившую пенсионный возраст, и думал, что с ней делать: ведь не пристроить в таком возрасте на вожделенное местечко в Форин Оффис или в Министерство обороны, где предпочитали молодых и хорошеньких, может, использовать орденоску для слежки за подозрительными субъектами, но ведь обидится, еще депешу с жалобой передаст в Москву! А может, не суетиться и просто использовать ее адрес для получения секретных писем, написанных лимонным соком, с проявлением при помощи горячего утюга²⁵.

Да, жить одной трудно, много внимания требует сын, кончавший школу, молодежь сейчас пошла другая, о будущем не думает, то ли дело наше поколение, уже в юности вошедшее в классовую борьбу.

Паршивец-официант все крутился рядом, вообще лучше не ходить в эмигрантские рестораны, тут каждый второй – агент контрразведки, что делать с этой орденоской? Предложить Центру списать ее в архив. Ха-ха. Высекут и добавят, что лишь ценный агент попал из рук умного товарища Павла в руки глупого товарища Майкла, как все дело пошло насмарку, и забудут, что Павел несколько лет лишь толкал воду в ступе.

Хватит думать об этой Мерилин (это уже на пути домой), проклятый зуб (тут уже можно было вдоволь поковырять спичкой), все обойдется, все это чепуха, шлифуй свой стих, старлей, когда-нибудь опубликуешь, что-то Центр задерживает «капитана», вот гады, парк, вычерченный четко, как чертеж, чернел, укрывшись под чадрую ливня, и лилии вытягивались в линии, и в листьях перекатывалась дрожь, как грустно мне под фонарями газовыми всю эту сырь своим теплом²⁶ забрасывать и наблюдать с усталою гримасою, как догорает третий час камин, не пахнут для меня цветы газонные, не привлекают леди невесомые, и джентльмены, мудрые и сонные, меня вогнали в англо-русский сплин, и я уже фунты тайком считаю, лью сливки в чай и биржу изучаю, и я уже по-английски скучаю, уныло добавляю в виски лед, черт побери, нужна хорошая концовка, не хуже начала (чаруют сплошные «ч», как стрекот стрекоз), что же делать с этой Мерилин, куда ее пристроить и что она за человек?

Родной полуподвал на Эрлс-Террас, Пенелопа не спала и штопала носок, стакан цинандали, присланного из Москвы, временами кричало дитя, опять бессонница, Гомер, тугие паруса, жена быстро заснула, намаялась с дитятей, у этой старушенции Мерилин голубые глаза, в молодости, наверное, была красавицей...

Но бесперспективна.

Думай, думай, нет таких крепостей, которыми не могли бы овладеть большевики.

И Майкл не спал и думал, он представлял, как Мерилин вербовала своего супруга-штатника, как горели голубым пламенем ее глаза. «В результате Мейер согласился помогать силам, выступающим за мир и против фашизма» (это из справки Центра). Как происходила вербовка? За чтением газет в кресле у камина. Ночью в постели, когда уже потушен свет. Или после ужина (филе камбалы с брюссельской капустой)²⁷ под звон льда в стакане, холодившем и без того холодные руки. «Питер, у меня серьезный разговор». – «Слушаю, милая!» – «Мне для статьи нужна информация о конфликте в американской администрации». – «Попробуй собери!» (Хмык.) – «Я хочу, чтобы ты мне помог, ты же кое-что

²⁵ Мне больше нравилась переписка с помощью крутых яиц, когда смесью квасцов с уксусом пишешь инструкции прямо на скорлупе – сверху ничего не видно, зато через пару часов, если разбить яйцо, текст проступает на белке. Между прочим, несколько крутых яиц не помешают во время беготни по городу: утомленным шпионам всегда хочется пожрать.

²⁶ Товарищ Майкл, как Феликс Эдмундович, не щадил своего горячего сердца.

²⁷ Презрев отечественную камбалу из-за тогдашней унижительной стоимости в 64 копейки за кило, Майкл с удивлением узнал, что за кордоном камбала считалась рыбой аристократической и весьма дорогой, так что если бы уровень счастья можно было пересчитать в ценах на камбалу, то простой советский человек давно бы перебрал Запад.

получаешь...» (Глоток джина.) – «Но ты ведь знаешь, что это секретно, об этом нельзя писать...» – «Я не буду писать об этом, но использую для своей статьи, никто и не догадается...»

Глухое молчание. Или смешок. Или крик: да ты спятила! Я что? шпион? Закон жизни, политики и разведки: с течением времени человек привыкает ко всему, и, конечно же, к шпионству, человек привыкает ко всему, время бежало, и вскоре он уже консультировал ее, и считал это в порядке вещей. «Что тебе терять время на консультации? Принеси документы, я прочитаю и сделаю выписки... утром унесешь!» – «Но их могут хватиться!» – «Хорошо, давай сделаем это в обед...».

Сигарета за сигаретой, вой машин, бой часов, лай собаки, стук лифта, грохот двери. «Принес?» – «Да, да, я пообедаю сам, а ты читай!»

Громыханье тарелок. Скрип табуретки.

Мерилин фотографировала «миноксом», положив документы на сиденье стула, она держала камеру на спинке, лицо горело от вдохновения.

Резолюция: «В целях более надежного обеспечения безопасности следует перевербовать мужа непосредственно на нашу службу» – работать напрямую надежнее, жены бывают капризны и вздорны, даже если они борются за великое дело коммунизма.

Перевербовали. Интересно, как это выглядело?

«Милый, у меня есть товарищ, который очень хочет с тобой познакомиться!» – «Это еще кто?» – «Не ревнуй, это идейный друг...» – «Друг? Откуда?» – «Один советский журналист... симпатяга» – и закончена песня. Или попроще: хорошо выпили, предались любви. «Послушай, есть шанс сделать хороший бизнес, если я познакомлю тебя с моим русским другом. (Давным-давно рассказала о связи с нами в нарушение всех догм конспирации.) Обещают полторы тысячи в месяц...» – «Идет!»

Майкл заскрипел на кровати, жена тяжело вздохнула, проснулась и с ненавистью прошипела, что она и так целыми днями с ребенком и почти не спит, и если товарищ Майкл не перестанет скрипеть, то она плюнет на Лондон, на весь этот мерзостный КГБ (одни рожи чего стоят!) и уедет с сыном к маме на Тракайские озера под Вильнюс.

Напуганный Майкл осторожно выполз из постели, набросил шерстяной клетчатый халат (точно такой носил гомосексуальный владелец замка в фильме Висконти) и поплелся на кухню.

С этой парой работали серьезные ребята, иных уж нет, а те далече, иных выгнали, иные спились, в справке о Мерилин, которую он читал в пленке через специальный аппарат, мелькали клички, военные и послевоенные Томы, Грегори, Энтони постепенно уступали место солидным Томовым, Григорьевым, Антоновым, оно было спокойнее, не дай Бог обвинят в космополитизме, выпить, что ли? ни в коем случае, надо следить за здоровьем.

Выпил валерьянки, вполз обратно в постель («Развел вонь!» – проворчала жена и тут же заснула), и, уже засыпая, уже проваливаясь, уже когда окутывало тепло: а почему бы не использовать сына Мерилин? Гениально. Конгениально!

И заскрипел, как слон в клетке (когда клетка мала).

– Вот что, милый, – проснулась жена. – Хватит! Самолет в Москву улетает через два дня. Ты думаешь только о себе, ты эгоист, и на нас тебе глубоко наплевать!

И заснула. Спи, милая, ты не знаешь, как я счастлив!

Совершенно голый, как будто и не сотрудник мощной организации и не выдающийся старлей, на цыпочках вышел он в кухню, достав из ванной полотенце, дабы прикрыть срам, если вдруг из комнаты напротив выйдет в туалет соседка.

Спасибо, мысль, что ты иногда есть, вот и сейчас все началось с французского генерала Лиотэ, который объяснял садовнику, что мощные дубы появлялись не с неба, их нужно было сажать заранее, лет за сто, а потом лелеять и холить, пока они не превратились в украшение и гордость парка и всей нации.

Вот оно, то самое ленинское звено, за которое можно вытянуть всю цепь, и виделась мама Рамона Меркадера, надежная агентесса ОГПУ-НКВД, уговорившая своего сына прикончить Льва Троцкого, она совала ему в руки ледоруб, целовала на прощание и желала удачи.

Несомненно, что Мерилин Монро из такого же материала, как и те, кто в Париже за ноги утягивал в машину оглушенного генерала Кутепова или пускал газ в морду Степану Бандере в

ФРГ, прекрасная порода фанатиков и великих мучеников, легко всходящих на эшафот и бросавших перчатку пошлomu мещанству, – «о, почему так лживо, вяло ты лижешь этот белый лист? Перо, будь скрипкой, будь кинжалом, о хлябь ночную расшибись! И тех прославь, кто мыслил строго и жил по правилам своим, бросал семью, и дом, и Бога, был щедр и не бывал любим...» (Это старлей, а не Блок.)

Итак, дело Ипполита (имя сына), будущее: президент, в худшем случае государственный секретарь, хотя нет, он же наполовину англичанин, главное – не спешить, суперконспирация, редкие встречи, определить мальчика в Оксфордский университет, желательно в гуманитарный колледж (придется раскошелиться), поручить внедриться в американский клуб, посетить библиотеку при американском посольстве.

Пожалуй, стоит выпить виски. Хорошенько разбавить. Это дело не хуже «пятерки», их же тоже вербовали в университете. Ким Филби, Гай Берджесс и Ко. «Капитана» задерживают, мерзавцы, и так всегда, себе небось никогда не задерживают. Красивая вербовка, но пока он выбьется в президенты или в госсекретари... (Еще виски.) Вот так завербуешь, получишь жалкого «капитана», которого и так бы дали, и уедешь, передав на связь. А потом, когда Ипполит станет большой шишкой, какой-то сукин сын снимет пенку, а Майкл, вылепивший из него агента, получит фигу (очень хотелось бюст Героя СССР прямо на улице Карла Маркса в Днепропетровске).

Утром Майкл выложил гранд-идею резиденту, получил «добро» (слово это любили в КГБ, оно ассоциировалось с неким умным усатым дядей вроде полководца времен гражданской войны Пархоменко) и начал готовиться к очередной встрече с Мерилин.

Шептались нежно.

– Покойный муж не понял бы вашего подавления революции в Венгрии. (Господи, уж эти либералы!)

– Не революции, а контрреволюции... Они же вешали коммунистов на фонарях. (Представил себя, мотавшегося как мочалка.)

– Муж считал главным свободу и демократию народу. (М-да.)

– Народ, увы, не всегда знает, что ему нужно. Западная печать все сваливает на СССР. (Стало немного тошно.) Знаете, Мерилин, а почему бы вам не пригласить меня в гости?

– Я приглашала и Павла, и других товарищей, но они всегда говорили, что это влечет за собой риск: вдруг кто-то случайно увидит или заскочат соседи... (Совершенно верно.)

– Сейчас обстановка изменилась в лучшую сторону. (То-то газеты каждый месяц сообщают об арестованных агентах!)

– Милости прошу, я буду очень рада. Я неуютно чувствую себя в ресторанах...

– А сын будет дома? (Нейтрально-козья морда.)

– Ему следует уйти? (Не поняла.)

– Что вы! Наоборот, я рад буду с ним познакомиться. (Ласковый оскал.)

Ночь, когда серы все кошки и шпионы, мощнейшая проверка, появление без всяких приключений в доме у Мерилин. Представлен как журналист и друг семьи, знавший покойного отца Ипполита.

Квартира, утонувшая в пуфиках, ковриках, цветах и безделушках (больше купеческая, нежели интеллигентская), гравюра с видом Кремля в гостиной (к счастью, ни Ленин, ни Сталин не бродили по Красной площади), непростительно для агента калибра Мерилин, все равно что разгуливать по Лондону при советских орденах.

Товарищ Майкл забавлял семью анекдотами (целился, естественно, в Ипполита), мальчик совсем растаял под искрами интеллекта, что-то в нем было от «сердитых молодых людей», брюзжавших по поводу сытой, но духовно пустой действительности, – к тридцати из таких вырастали жирные пингвины, – коммунистов он не жаловал, что вполне вписывалось в запланированный имидж.

Мерилин подала куропаток с брусничным соусом, это не замедлило сказаться на состоянии желудка гостя, и он был проведен в уединенное место. Пути разведки неисповедимы и неожиданны, судьбе угодно было отключить в тот вечер воду и поставить аса перед проблемами техническими. Бился он над ними долго и бесплодно, заставил Мерилин выйти в коридор и нервно вскричать: «Все в порядке, Майкл? Ничего не случилось?»

Он стыдливо попросил какую-нибудь посудину с водой и вскоре вышел в гостиную розовой и деловой, словно после получения нагоняя лично от председателя КГБ.

«Куда вы собираетесь после школы, Ипполит?» – «Очевидно, в технический колледж, хочу быть инженером», – в восторг это не приводило, работать, работать и работать, ваять, как Пигмалион Галатею.

Вскоре Ипполит удалился к себе в комнату, сославшись на занятия («Плейбой», исчезнувший с дивана, указывал на их род).

«Прекрасный у вас сын, Мерилин, чудесный парень! Как бы мне хотелось еще с ним увидеться, пообщаться, поговорить! Конечно, конспиративно, я понимаю, что, если наш контакт станет вдруг известен, это может отразиться на его будущем...» (Первый пробный шар.) – «Я рада, что он вам понравился, но он еще совсем маленький, вам с ним будет неинтересно...» (Вот штука!) – «Мы очень плохо знаем положение в молодежной среде, Ипполит мог бы мне в этом помочь».

Так Майкл и ушел ни с чем, посоветовав на всякий случай перевесить Кремль в спальню, чтобы не будоражить воображение случайных посетителей.

Через две недели в пабе, увешанном часами.

– Мерилин, Центр требует информации о молодежном движении. Мало времени? все отнимает учеба? войдите в наше положение, Мерилин.

Через две недели в буфете кораблика, плившего по Темзе: «Возможно, Мерилин, вы сами нацелите сына на работу среди юнцов, у вас же есть опыт».

(Черт побери, если завербовала мужа, то почему же не завербовать и сына?)

Еще через месяц в столовке Уайтчейпла: «Прошу вас, Мерилин, я буду встречаться с ним редко, никакого риска нет (Боже, как морозны ее голубые глаза, как сжаты губы!), мы будем помогать ему стать на ноги. Он заболел? как жалко!»

Еще через месяц в парке у Гринвичской обсерватории (после астрономических изысканий): «Извините, что я настойчив, Мерилин, но я, как и вы, солдат (забыл добавить: революции) и подчиняюсь воле Центра. Товарищи нами недовольны (глаза превратились в голубые льдинки), они не понимают вашей позиции».

Неухоженный район Патни, булыжники, которых касались и ядовитый Искандер, и несчастный Огарев, и взбалмошный Бакунин, и даже – чуть-чуть, очень легко! – зовущий к топору Чернышевский, два брата, Майкл – старший, мудрый пастырь, Ипполит – младший, скромный ученик, внимающий золотым словам.

Дальше как в страшном сне: Ипполит из трех встреч пропускал две, извинялся, снова пропадал, и снова приходилось просить Мерилин, и парень приходил, и соглашался подумать об Оксфорде, и снова исчезал.

Майкл жаловался Мерилин, она удивлялась: «Я вас познакомила, работайте сами, он уже взрослый, чтобы мне его контролировать».

Прошло полгода. Майкл не выносил на дух проклятого парня, который мотал его, как хотел, все обещал и ничего не делал.

И тут старлей не выдержал: «Мерилин, можно, я буду откровенен? Мне кажется, вы не хотите, чтобы ваш сын нам помогал?» – «Почему вы так решили?» – «По-моему, это совершенно ясно. Но знайте, Мерилин, Москва нам этого не простит. Москва не поймет. Вы смогли привлечь на нашу сторону своего мужа, почему же сейчас...» – «Думаете, я об этом не жалею?» – и словно задохнулась. – «Неужели жалеете?» – «Я этого не говорила. Интересно, Майкл, а вы могли бы завербовать своего сына или подарить его какой-нибудь иностранной державе?» – «Конечно, смог бы, если бы это были товарищи по оружию, как мы с вами!» – соврал он.

Они уже ненавидели друг друга, как лютые враги.

Однажды, гуляя с коляской по Холланд-парку, вычерченному четко, как чертеж, Майкл увидел меловую черточку на кипарисе – сигнал вызова от Мерилин к тайнику «Гегель» (не зря ведь в разведшколе философию учили не по Гегелю).

Что стряслось? Может быть, что-то с Ипполитом? Угроза ареста? Выплыли старые дела? Боже, как ужасна, как непредсказуема разведка! А срочные вызовы – самое страшное, они разбивают все планы, все иллюзии, от них бессонница и неврастения. А может, ты потому и

пришел в разведку, что она так не похожа на плавную жизнь, где будильник, тягучая работа, унылый приход домой сразу после шести? Может, за это ты и любишь свою разведку, товарищ Майкл?

Тайник находился между Виндзорским замком и частной школой в Итоне, где на теннисных кортах выигрывают Ватерлоо, он медленно шел по парку, все ближе и ближе к развесистой иве, корни которой, оголившись, образовали прекрасные глубокие дыры.

Светило солнышко, ветер покачивал верхушки деревьев, он оглянулся вокруг: ни души, тишь и благодать, и хотелось жить и работать, работать и жить...

Майкл нагнулся, рука напряглась и скользнула под могучий корень (был случай – наткнулся на больного зайца, чуть в штаны не наложил).

Вот и контейнер – и тут удар по шее, очевидно, ребром ладони, сознание выключилось, он повалился на траву, успев подумать: кто это? контрразведка? Ипполит? подручные Мерилин? Провокация? Месть?

Когда он очнулся, вокруг никого не было – только шелестели дубовые листья.

Парк, вычерченный четко, как чертеж.

Вальтер фон дер Фогельвейде

Отель «Националь» пригож в любые времена, а в шестидесятые считался самым модным и комфортабельным – именно там и остановился английский журналист Вальтер фон дер Фогельвейде на пути из Лимы в Лондон, юркий, любезный, с милой родинкой на щеке, любимец и гордость резидентуры в Лиме, где он нес золотые яйца.

Всему приходит конец, и редакция газеты отозвала Вальтера на родину, он и сам уже начинал скучать по Англии, которую, как писал англофоб Гейне, давно поглотил бы океан, если бы не боялся расстройства желудка.

Вальтер был не только политической Кассандрой, но и заядлым садоводом, жил он в двухэтажном коттедже в Рединге, где в прославленной тюрьме воспел свои и чужие пороки Оскар Уайльд, он не просто любил свой сад до самозабвения, он обожал его как собственное дитя, он скучал по нему и на встречах с суровыми разведчиками в Лиме вновь и вновь перечислял и подробно описывал каждый кустик, каждое дерево, каждый цветок. Даже советский резидент в Лиме заразился его страстью к садоводству – о, ритуал подстригания вечнозеленой травы, когда жужжит машина и стоит наготове лейка, а в дрожании приседающего солнца обостряются краски, превращая в сказочную картину все вокруг! о жизнь, прекрасная жизнь! и как приятно махнуть рукой через улочку соседу в подтяжках и клогах, который тоже топает по зеленому бархату, и бросить умиротворенный взгляд на вытянутый колпак истинно англиканской церквушки! Догорел день, сад наполнился новыми, вечерними запахами, и самое время, натянув габардиновые брюки и ярко-клетчатый пиджак, неторопливо пройти по истертым веками булыжникам в скромный паб «Голова сарацина», приют окрестных жителей, где хозяин, с улыбкой и не задавая вопросов, сразу наливает клиенту именно тот самый, самый-самый, всегда желанный сорт виски...

Вальтер фон дер Фогельвейде свалился на товарища Майкла как снег на голову: юный Майкл и не мечтал о таком крупнокалиберном агенте и очень удивился, когда шеф вызвал его в кабинет, передал досье и объявил, что сама судьба привела Вальтера в Москву и Майклу предстоит и поработать здесь, и договориться о связи в Лондоне.

Англия занимала все мысли разведчика, он прилежно осваивал суровый Альбион по газетам и книгам, он даже знал, что в Эшборне раз в год весь город играет в футбол прямо на улицах (уже потом, в Англии, он сажал в калошу всех англичан, никто не знал об Эшборне), а сноб – это человек, который посылает свою собаку в Альбион, чтобы она научилась правильно лаять, он выписывал английские пословицы и поговорки (чего стоило: «Может ли леопард сменить свою шкуру?», означавшее: «Горбатого могила исправит»), дабы ослеплять ими носителей котелков и орденов Подвязки, Майкл работал над собой как вол, Майкл бился над картой Лондона, нет, не над замком Тауэр или симфоническим залом Альберт-холл, а над дальними районами типа Аксбриджа или Кройдона, где предстояли тайные встречи, он с лупой в руке прослеживал маршруты метро и автобусов, которые следовало беспрестанно менять,

особенно ужасными казались автобусы загородной «зеленой линии», на них по ошибке можно было умчаться вообще из Англии на Сен-Жермен-де-Пре и загулять с богемой на Монпарнасе, в то время как издерганный и измученный агент мокнул бы под дождем у памятника жизнелюбу Фальстафу, что в Стратфорде-на-Эйвоне.

Майкл осваивал и западные привычки: учился снимать шляпу в лифте, если туда впархивали дамы (это американское пижонство он подметил еще в юности в веселом фильме «Джордж из Динки-джаза»), пытался вкрапывать тонкий юмор в тосты – с этим было сложнее, но хотелось иметь успех, а он вычитал, что человек, имеющий успех на лондонском банкете, способен управлять всем миром.

В те времена в КГБ работали основательно, и уж если агент попадал вдруг на территорию любимого им государства, то использовали его на всю катушку – и по местным иностранцам (заодно и проверяли, на что он пригоден), и тренировали его на случай мировой войны, всеобщего землетрясения и апокалипсиса, когда разведке, как предполагалось, пришлось бы работать в особых условиях.

Товарищ Майкл уверенно прошел в «Националь», в ответ на церберовский оклик швейцара «Вы к кому, гражданин?» бросил несколько английских фраз, вполне в пандан с заграничным костюмом, заменившим пару лет назад Майкловы брюки «клевш» и мешок-пиджак с кривыми надставными плечами, поднялся на этаж, где жил Вальтер, убедился, что в коридоре безлюдно, и постучал в дверь.

Устроился Вальтер в шикарном «люксе» (на всякий случай КГБ поставил номер на слуховой контроль), мыслил он в Москве пошляться по музеям и соборам, поесть икры, поволочиться за девушками – в общем, отдохнуть после тяжелых трудов в Лиме.

Но не тут-то было! Майкл в твердых тонах изложил ему свою программу: каждый день с 10 до 12 уроки тайнописи и элементарного шифровального дела, вечером работа с секретаршей французского посольства, которую Вальтер знал по Англии (она, по данным нашей контрразведки, до того страдала от одиночества, что интересовалась русскими мужчинами, хотя офицер безопасности не раз предостерегал ее и не советовал ходить даже в рассадник разврата – английский клуб, куда, несмотря на закрытость, все равно проникали агенты КГБ).

– Когда вы договоритесь с нею о встрече, не забудьте купить букет цветов, – учил умный Майкл. – Женщины, знаете ли, любят цветы, и это поднимет ваши шансы...

– Неужели вы думаете, что я такой идиот, что потащу через весь город букет, словно веник? – возмутился Вальтер и показал, как нелепо торчит букет, если его прижимать к животу.

– А как же еще? – растерялся юный Песталоцци.

– Молодой человек, букеты приносят дамам посыльные при цветочных магазинах, а джентльмену остается только вложить визитную карточку.

– Ну уж эти капиталистические замашки...

– Зато удобно! – обрезал Вальтер.

Впрочем, тайнопись и шифрдело он изучал с удовольствием, задавал много вопросов, не без юмора принял из рук Майкла «Книгу снобов» Теккеря и выбрал пассаж, который лег в основу шифрования.

Дело с секретаршей, однако, двигалось туго, она бурно отдалась Вальтеру без всяких цветов, но тянуть из нее секреты он счел преждевременным («Давайте я приглашу ее в Лондон, повожу по ресторанам, сделаю хорошие подарки, естественно, для этого потребуется кругленькая сумма»). Майкл чуть было не возмутился, но шеф охладил его пыл: «Этот Вальтер совершенно прав. Не надо спешить!»

И Вальтер уехал в Лондон, вскоре за ним последовал и Майкл.

В Лондоне встречи Майкла и Вальтера проходили в глухой конспирации, даже не в пригородах Лондона, а в пределах 25-мильной зоны, разрешенной для свободного передвижения дипломатов, подтачивавших остров фарисеев, в микрогородках, у магазинов, где без подозрений можно было топтаться, рассматривая в витринах шляпы или чулки, затем переходили в паб, забирались в угол и там неторопливо обсуждали шпионские дела.

Правда, роли в Лондоне поменялись: теперь уже Вальтер учил Майкла – правильному произношению английских улиц (читаются совсем не так, как пишутся, сам черт ногу сломит!), особенно недоволен он был покроем Майклова плаща, который выдавал «человека с

континента» (плащ был шведский, хотя куплен в Лондоне), любой полицейский глаз, как страдал Вальтер, сразу фиксировал плащ и вполне мог вычислить Майкла среди миллионов сновавших по улицам джентльменов, – а от Майкла цепочка потянется к Вальтеру.

Однажды, когда Майкл оставил в пабе на столике выкуренную пачку из-под «Мальборо», Вальтер устроил жуткую сцену: ведь на пачке отсутствовала налоговая наклейка и хозяин паба мог догадаться, что в его заведении упивался пивом либо контрабандист, либо дипломат, освобожденный по общим правилам от налогов. «Вы загубите не только себя, но и меня!» – шипел он.

Вдруг Вальтер исчез, товарищ Майкл одиннадцать раз (!!) выходил на запасные и экстренные встречи, на ежемесячные явки – система связи была разработана на все случаи жизни и смерти и, конечно, исключала телефонные звонки – мрачно бродил в туманах и под ливнями, ожидал под козырьками у кинотеатров и на скамье под вязами, раздраженно рассматривал витрины, и уже казалось, что весь район давным-давно обложен бандами английской контрразведки...

Что такое ожидание, знают лишь влюбленные и шпионы – только одни могут ждать до бесконечности, мечтательно глядя в небо, и даже писать стансы на манжетах, усевшись на ступеньки под башенными часами, а другим запрещено ожидать больше 15–20 минут, дабы не примелькаться лавочникам, продавцам газет, агентам полиции и просто любопытствующим бездельникам.

Но какая тоска на исходе пятнадцатой минуты, какая печаль, такая печаль и не снилась больному Прусту в его «Погоне за утраченным временем»! сколько потрачено часов на проверку по маршруту и на подготовку к встрече, сколько сил души ухлопано на этого гада с мерзкой фамилией фон дер Фогельвейде и с длиннющим хитрым носом – и снова топать через неделю по запасным условиям!

Полгода жил товарищ Майкл в кошмаре, словно бродил по катакомбам, наконец на очередной встрече длинный нос все-таки вынырнул из-за угла, – Майкл чуть не покрыл его румяные щеки поцелуями, он же объяснил, что попал в больницу, хотя с такой загоревшей физиономией не болеют, а греют кости на Канарских островах.

Ясно, что он крутил, но почему?

Посоветовавшись с Центром, Майкл решил, что Вальтер таким образом намекал на желательность добавочных золотых дукатов за взрывоопасность своей работы в Лондоне, где шпионам жилось не так привольно, как в Лиме.

Пришлось отвалить Вальтеру чуть больше положенного, потребовав взамен грызть крепости с секретами, об этих штурмах разговоры шли непрестанно, а потом Вальтер снова стал пропускать встречи, и снова товарищ Майкл кусал свои неаристократические ногти (папа слесарь и чекист), мучился на пустынных площадях и ждал, ждал, ждал, а взбешенный Центр с завидным постоянством молотил Майкла цепом, обвиняя в неумении организовать работу с ценным агентом, лупил так, что пух и перья летели...

Но судьба сменила гнев на милость, Вальтера редакция направила в Джакарту, а через год в Москву возвратился Майкл!

К тому времени он уже англизировался (не последнюю роль сыграли уроки Вальтера), с иронией относился к европейскому стилю одежды (только серые, только приглушенные тона, как у нас в Англии!), поправлял новичков, говоривших «букинхэм» вместо «бакинэм», причесывал волосы щеточкой из модного магазина «Дерри энд Томс», иногда надевал шейный платок (интеллектуал из Блумсбери), тормозил на «зебрах» и из-за этого чуть не попал в катастрофу, виски разбавлял водой только из-под крана, подшучивая над янки, хлебавшими его с содовой, и утверждал, что ботинки английской фирмы «Черчиз» – лучшие в мире.

О своем первом учителе Вальтере Майкл вспоминал редко и очень удивился, когда его вызвал шеф и предложил срочно выехать в Восточный Берлин на встречу с Вальтером, летевающим в отпуск из Джакарты в Лондон.

Резидентура в Джакарте сетовала, что Вальтер потерял свои бойцовые качества, обленился и даже тяготился (I) и все мечтал о возвращении в редингский садик с розовыми кустами.

И тут на пути в отпуск Вальтер попросил встречи со своими товарищами по борьбе с

коварным Альбионом, и не с кем-нибудь, а с самим Майклом, которого глубоко уважал по прошлым подвигам.

Шеф передал Майклу шифровку – сердце взволнованно билось! Как приятно сознавать себя и самым умным, и самым всезнающим, и вообще – великим разведчиком!

Поезд Москва – Берлин, путешествие по социализму, который все улучшался от полного запустения в родной стране, через более сносную, но достаточно грязную Польшу в нечто жирное и благоустроенное на восточнонемецкий лад, бездушное и от этого еще более паскудное.

Романтичный Майкл, подняв воротник английского плаща (шведский подарил папе-пенсионеру), расхаживал у кинотеатра совсем недалеко от «пункта Чарли», разделявшего две мировые общественные системы, хмурил лоб, курил мягкую голландскую сигару, всматривался в силуэты вдаль и, казалось, играл в каком-то затасканном фильме, где герой тоже ожидал агента у «пункта Чарли» и опасался, что его арестовали. Майкл нервничал не на шутку, но – звон победы раздавался! – вынырнул из-за угла знакомый нос, сверкнула родинка, они прижались друг к другу разгоряченными щеками, стремительно прошли пару миль и быстро опустили в гаштете.

– Черт побери! – сказал Вальтер, – глупо приехать в Берлин и не съесть хорошего айсбайна. Это кусище свинины, – пояснил он Майклу с обычным видом учителя, – конечно, нужно худеть, но что может быть прекраснее айсбайна с пивом? Как мне хочется, Майкл, чтобы вы увидели мой сад в Рединге. Как мне надоела конспирация! Так хочется пригласить вас, старого друга, сесть в саду на солнышке за пинтой пива и поговорить по душам!

Впрочем, дела оперативные, которых накопилось невпроворот, не давали прочувствовать чудеса айсбайна, Майкл включил портативный магнитофон, дабы потом не утратить ни единого слова, выпорхнувшего изо рта Вальтера фон дер Фогельвейде.

Обсудили и планы создания вербовочной группы в Джакарте и потом в Лондоне, и даже будущий переход Вальтера из газеты в Форин Оффис, где у него имелись солидные связи, – Вальтер только и рвался в бой.

– Передайте привет всем товарищам в Москве, – сказал он на прощание. – Я мечтаю снова туда приехать, и уж тогда мы поработаем над кем-нибудь посерьезнее, чем секретарша, которой вы советовали дарить цветы (не забыл, гад, помнил о венике). Москва – это моя любовь, а наше общее дело – смысл всей моей жизни. До свиданья, Майкл, советую вам разводить в своем саду рододендроны, они красивы и неприхотливы (Майкл пропустил это мимо ушей, ибо дачи тогда презирал как частную собственность – пережиток капитализма).

Друзья по-русски расцеловались, и Майкл подумал, какие прекрасные люди живут на земле и как они помогают его стране, побольше бы таких агентов, как Вальтер фон дер Фогельвейде!

К шефу он вошел с чувством солдата, исполнившего свой долг, вручил в подарок кружку с симпатичным берлинским медведем и замер у начальственного стола. Обычно кисловатое лицо шефа на этот раз было окрашено в хмуро-уксусные тона.

– Ну, как там дела в Берлине? – начал он издали.

– Все в порядке, – ответил Майкл. – Агент прибыл на встречу вовремя, беседовали мы часа три, все обсудили, я записал на пленку... Впервые в жизни я попробовал айсбайн. – Последняя улыбочивая фраза была рассчитана на воодушевление шефа: он любил поесть, всегда выспрашивал детали меню на докладах о встречах с агентами, сомневался в правильности выбора и его сочетании со следующим блюдом, вносил поправки и добавления и, конечно же, вспоминал, что он ел в подобных обстоятельствах и какой маркой вина запивал.

Однако шеф пожевал губами и хмыкнул носом.

– Вы ему верите? – спросил он внезапно.

– Конечно, – ответил Майкл. – У нас нет оснований ему не верить.

– Мы его проверяли?

– Конечно. В деле есть отметки. Я и сам помню все эти операции в Лондоне...

И Майкл поведал начальнику, как Вальтера раз мять проверяли на тайниках: он вынимал и передавал нам контейнеры, и каждый раз наши технари внимательно изучали, не вскрывались ли они английской или иною контрразведкой, – к счастью, все проходило гладко, и никто не

сомневался в честности Вальтера. Да и в беседах Майкл не раз возвращался то к связям Вальтера в прошлом, то к другим мелким деталям, зафиксированным в деле, – чтобы врать, как известно, нужно иметь хорошую память, – ни одной осечки, ни одного противоречия, все без сучка, без задоринки.

Шеф слушал товарища Майкла спокойно и без всякого интереса.

– В Джакарте его тоже проверяли, и тоже все гладко, – прервал он его. – Ваш Вальтер с самого начала работал на англичан, это их опытный агент, тонкая подстава, а мы – круглые идиоты! – Шеф резанул рукой прокуренный воздух.

– Не может быть! – удивился Майкл. – Он так к нам хорошо относился. (Первый учитель, – мелькнуло в голове.)

– Точная информация от немецких друзей. Какой я идиот! Что я клюнул на предложение совсем из другого региона! – убивался шеф. – Кому нужна была поездка в Берлин? Работал бы он себе в Джакарте... и черт с ним! – в конце концов, это другой отдел... а тут конец года, и думаете, меня погладят по головке за английскую подставу?! Вечно беда с этими энтузиастами-фрицами, вдруг проявили инициативу, мудаки, стали его проверять и докопались! А вы тут со своим айсбайном... Что мне теперь с вами делать, куда направлять на работу? Вы же расшлепаны, причем давно!

Товарищ Майкл вышел из кабинета словно оплеванный. До сих пор он никогда не испытывал горечи предательства, он чуть не плакал и злился, что его провели за нос, он ненавидел предателя и готов был убить его и не знал, что впоследствии его не раз предадут и чужие и свои и все это опротивеет, и станет привычным, и не будет вызывать совершенно никаких эмоций.

Генерал Джон

– Эх, Майкл, это совершенно дивная история! В Арденнах немцы перекрыли подвоз продовольствия и мы оказались на голодном пайке: овсянка, сыр, не было даже тушенки. И тогда повар пригласил меня на кухню: «Как вам это нравится, капитан Джон?» – «Где вы достали такое чудесное мясо?» – «Знаете, что это такое, капитан Джон? Это кошка! Я сварил кошку!»

Генерал частенько рассказывал эту историю, особенно после двух-трех бокалов, пил он в меру (если считать мерой полбутылки виски на рыло), тогда лицо его багровело и сигарета надолго оседала в краешке рта.

Ценный агент генерал Джон с тридцатых возненавидел фашизм и уверовал в Сталина, потом разочаровался во время московских процессов (тогда НКВД быстро зачислил его в троцкисты и чуть не укокошил), но началась война – и Джон снова решил взять сторону Сталина во имя победы над фашизмом, но после оккупации Восточной Европы снова невзлюбил его, в знак протеста порвал с нашей разведкой и вновь появился уже после смерти Вождя народов, со святой верой, что святое знамя не виновато, если к нему прикасались грязные руки.

Генерал работал на полную катушку, деньги считал презренным металлом и брал их только на конкретные дела, не связанные с его личным благополучием, в коммунизм он верил безоговорочно и даже пугал этим товарища Майкла, которого уже начинала подтачивать сытая английская действительность.

– Не судите по магазинам! – говорил генерал. – Посмотрите, как живет рабочий класс! Что-то я не видел рабочих в районах Мейфер и Челси! Общество расколото, и царят законы джунглей, тут нельзя расслабляться ни на миг, надо работать и работать! Вы не представляете, Майкл, как ужасно жить в Англии!

И когда Майкл деликатно замечал, что и Страна Советов тоже испытывает порою трудности, генерал махал рукой и смеялся: «Конечно, у вас есть проблемы! Но они временные. Не забывайте, какой разрыв всегда был между Россией и Англией! Вы же покрыли его в кратчайший срок, сам Черчилль писал, что Россия прошла путь от сохи до полета в космос в мгновение ока».

К мнению Черчилля товарищ Майкл прислушивался с почтением, особенно после

прочтения баек о том, что бывший лидер тори и дня не обходился без армянского коньяка, к которому приучил его хитрый дядя Джо, и без огромной сигары.

Однажды Майклу, жившему недалеко от Гайд-парка, удалось увидеть самого сэра Уинстона: тот стоял в окне своего дома, зажав в зубах пресловутую сигару, внизу щелкали фотографии и жидко аплодировала небольшая толпа (уже потом знакомец Майкла, личный секретарь Черчилля, заметил, что патрон давно уже не пил и не курил, а сигару ему приходилось вставлять в рот для сохранения имиджа, ибо британцы консервативны и любое изменение привычек вождей больно ранит их чувства).

– Англия заснула! – жаловался генерал. – Весь мир идет к социализму, а она дремлет в своем прошлом. На миг она проснулась во время войны... ах, Майкл, вы не представляете, как я хохотал в Арденнах, отведав кусок мяса. «Знаете, что это такое, капитан Джон? – спросил кок. – Это кошка! Я сварил кошку!»

Особенно ненавидел генерал интеллектуалов Оксфорда и Кембриджа, а британскую прессу просто не выносил на дух, считая насквозь лживой и продажной, – полная противоположность товарищу Майклу, очарованному профессурой в вельветовых пиджаках и по долгу службы штудировавшему все английские газеты, что затягивало, как наркотик.

Разделы о продаже особняков и замков Майкл, живший в Москве в небольшой квартирке близ Сокола, читал с особым наслаждением, чувствуя себя честным бедняком, непричастным к классу крупных собственников, которые, как известно, с раннего утра до поздней ночи нещадно эксплуатировали умных и талантливых людей вроде Майкла.

Генерал Джон обожал конспирацию, никогда не пропускал встречи, исправно проходил через все точки маршрута, задуманного для выявления слежки, и выполнял безукоризненно все, что ему предписывалось.

Однажды за пятнадцать минут до randevу товарищ Майкл столкнулся с ним на безлюдных лугах Ричмонда, но Джон прошел мимо невозмутимо, как китайский божок, и даже глаза не скосил, словно и не знаком был с Майклом несколько лет.

Когда через несколько минут, уже на точке, Майкл использовал пароль, спросив, как пройти к таверне «Утюг», генерал ощупал его холодным взглядом, пока не разглядел опознавательный признак – газету, торчавшую из кармана (это была «Таймс», единственная газета, которую читал Джеймс Бонд), и только тогда ответил, что таверна находится у кинотеатра «Огненная земля».

Шпионские игры со временем раздражают, и Майкл однажды очень деликатно отметил суперконспиративность генерала, но получил в нос: «А что, если вражеская служба выпустила на встречу вашего двойника, сделав ему пластическую операцию? Как же без пароля и опознавательных признаков?» – впрочем, шутки шутками, но в свое время ФБР подставило подобного двойника доверчивым немцам.

Когда генерал Джон выпивал, на него наваливалась сентиментальность.

– Майкл, я с ужасом думаю, что вы уедете! Наши встречи – кислород для меня! Я люблю Россию! Боже, вы не представляете себе, как трудно здесь дышать! Эти вонючие интеллигенты, вонючие политики, вруны и ничтожества!

– Может быть, вам поехать отдохнуть, например, в Италию?

– Ненавижу туризм! К тому же макаронники такая же дрянь, как и поганые британцы... Самое ужасное, Майкл, что в Англии не может быть неожиданностей, жизнь тут запрограммирована на века! Вы знаете, как тоскливо ощущать, что завтра ровно в восемь утра к дому подвезут молоко и поставят у подъезда, и этого не изменят никакие революции! Нет, я должен увидеть башни Кремля, постоять у Мавзолея!

– Лучше поезжайте по Европе. Вспомните Байрона или Шелли. Как любили они места вокруг Женевского озера, итальянские городки, сохранившие дух Возрождения...

Но генерал и слышать не хотел о поездках по мещанской Европе, душа его рвалась в Советский Союз, что совсем не воодушевляло: спецслужбы ставили на учет всех визитеров в Страну Советов, особенно такого ранга, как генерал.

– Что за ерунда! Мне ничего не страшно. Боже, неужели я так и умру, не увидев России?

Этот мотив настойчиво тянулся из года в год и досаждал и Майклу, и Центру, как старая заноза. Наконец скала дрогнула и чья-то решительная рука повелела привезти генерала по

поддельным документам, сменив истинные на курортах Кипра, где стада туристов, солнце и полная неразбериха.

К этому времени товарищ Майкл обосновался в Москве, часто вздыхал по Англии, надломившей его чекистскую душу, и с удовольствием принял приказ об организации работы с генералом в Союзе.

Визит проходил не без полемики: некоторые осторожные головы выступали против соприкосновений верующих в Идею агентов с реальностями социализма, отмечая, что из-за каких-то странностей судьбы (текущие краны, испорченный лифт – не больше) многие переходили на критические позиции.

В доказательство приводили гордость английской драматургии Джона Осборна, который, вырвавшись на волю в СССР, настолько возмущился гостиничным сервисом, сломанным унитазом, покорябанным потолком и холодной батареей, что мгновенно потерял веру в социализм и, как жалкий мещанин, начал оплевывать в своих статьях Страну Советов – и все по мелочи! ведь и окна ему не решетили пулеметом, и даже в КГБ не таскали!

Однако лагерь оптимистов, веривших, что умный человек всегда различит все достоинства Системы, был достаточно силен, более того, считалось, что походы в Музей Революции и, уж конечно, несколько секунд у тела Вождя в Мавзолее играют чуть ли не решающую роль в воспитании агента – слово «воспитание» всегда высоко котировалось в КГБ еще с тех времен, когда Феликс Эдмундович ведал беспризорниками.

Вскоре Майкл ожидал генерала в черной «Волге» прямо у трапа самолета, туда его быстро провели, мотор взревел, и друзья помчались из Шереметьева по дышавшей бодростью столице. Программу генералу составили по высшему разряду: сначала тщательный медосмотр в элитной поликлинике (он поразился обилию самой современной техники, которую посчитал советской), специальная гостиница, где все не по Джону Осборну, и даже повар самолично являлся клиенту и интересовался, не переложил ли он в плов крабов. Черный «ЗИЛ», Большой театр и прочие жемчужины столицы, южные дворцы-санатории, величественно застывшие над морем в своей красе, счастливые трудящиеся, живущие за счет профсоюзов – школы коммунизма, гостеприимный Кавказ.

– Никогда не видел такой красоты! – говорил генерал. – А посмотрите на москвичей: сколько энергии, сколько уверенности у них в глазах, разве можно сравнить с англичанами? Да и одеты все лучше, чем в Лондоне. Подумать только: ведь совсем недавно они ходили в лаптях!

С генералом встречались и бонзы КГБ, и бонзы ЦК, разговоры касались мировых проблем: разоружение, спасение от голода Африки, ограничение власти американских монополий на Ближнем Востоке...

– Ваших людей отличает широта ума! – радовался генерал. – В Англии лица такого ранга не поднялись бы выше дискуссии о местном налогообложении или ценах.

Генерал никогда в жизни не лечился в поликлиниках, и заботы врачей его умиляли – ведь на любом заводе пеклись о здоровье людей, не то что в Англии, где вообще не существовало санаториев и организованного отдыха.



Прототип, Карл и Крис

Однажды он пожелал увидеть коллегу товарища Майкла, ветерана 30-х годов, с которым он работал в Лондоне. Просьба вызвала легкий шок, ибо ветеран лет пятнадцать отсидел в сталинских лагерях и перебивался в коммуналке в районе Шмидтовского проезда.

Однако просьбу уважили, в комнатухе, уставленной книгами, выпили три бутылки водки и обсудили все проблемы текущего момента.

– Давненько я не имел такой потрясающей беседы! – восхищался потом генерал Джон. – И самое поразительное – это скромность моего друга, он остался таким с тридцатых годов, он не выберется из своей комнатухи, пока в СССР не останется ни одной коммунальной квартиры!

Естественно, что важным аккордом было посещение Грузии, где обычно иностранные визитеры под воздействием вина, песен и горного воздуха быстро теряли остатки критичности и целиком попадали во власть положительных эмоций.

Теплый вечер на берегах кипящей речки, покрасневшие секретарь обкома, товарищ Майкл и генерал Джон, певшие «Интернационал», пели от души, взявшись за руки, англичанин, русский и грузин, и этот момент человеческого единения был искренен и трогателен, как мечта о братстве людском.

Потрясенный Майкл, наблюдая за генералом, думал: неужели он принимает все на веру? неужели он не видит, что ему втирают очки? или просто это человек, который видит то, что он хочет видеть?

Генерал остался в восхищении от своей поездки.

– Я и раньше не сомневался в правильности вашей политики, но теперь, увидев и страну, и людей, я понял, что служу правому делу. Единственное, что меня несколько резануло: напрасно каждое утро мне подавали на завтрак вазочку с зернистой икрой. Я понимаю, что был дорогим гостем, но в Англии мы, социалисты, к этому не привыкли...

Прошло время, Майкл ушел в отставку, в мир ворвалась перестройка, оплот коммунизма рухнул, генерал Джон совсем отошел от тайных дел из-за солидного возраста, иногда печатал статьи в газетах и даже издал книгу воспоминаний.

Однажды Майкл встретил бывшего коллегу, недавно прибывшего из Англии.

– Как там генерал Джон? Наверное, страдает из-за того, что рухнула Система?

Коллега хитро сощурил глаза.

– Недавно я встретил его на приеме в посольстве. Очень бодр и очень рад успехам демократии в России. Уверен, что рынок укрепит благосостояние страны и победят идеи, которым он служил. Жаловался на сон Англии и завидовал нам – ведь у нас никогда не скучно. Да, еще рассказал историю... что-то о войне...

– Как варили кошку под Арденнами?

– Совершенно верно. «Знаете, что это такое, капитан Джон? Настоящая кошка! Я сварил вам кошку!»

Генерал Джон был настоящим человеком.

Батилл

Отпуск товарищ Майкл обычно проводил вне ведомственных санаториев, куда съезжались кагэбэшники со всего Союза: они с завистью поглядывали на заграничные шмотки, говорили о своей работе с какой-то скрытой обидой (мол, вам легко там, на Западе, а мы вкальваем), тяжело и занудно пили водку, и уборщицы, подсчитывая бутылки, стучали директору, а тот – в Москву.

По тропинкам меж пальм бродили озабоченные секретарши, буравя глазами встречных мужчин, и жены с жирными спинами и задами-подушками. Все это навевало депрессию. Лишь однажды Майклу повезло: его соседом по комнате оказался сотрудник «пятерки» – гроза диссидентов, разработчик Сахарова («Ах, Андрей Дмитриевич, душа человек, у меня с ним дивные отношения. Я уж ему говорю: «Андрей Дмитриевич, дорогой, вы – наш научный гений, зачем вы против выступаете?» Да разве это он? Это все Боннэр! Впрочем, все это неинтересно,

послушайте лучше о моем романе с одной дрессировщицей...»).

Вот и все радости, но как отдыхать еще в стране санаториев? как использовать бесплатный проезд, дарованный на отпуск? – опытные товарищи надумали Майкла отдыхать в дальних концах страны, в этом случае к отпуску приплюсовывали дни железнодорожной поездки, даже если отпускник вылетал в точку самолетом, гуляй, чекист, на славу Родине!

И вырвался Майкл вместе с коллегой на голубой Иссык-Куль, отдаленно похожий на Черное море: отелишко у озера, пустота на магазинных полках, киргизы на ослах, суетливые овцы, ветер и горные вершины.

Туда, к юртам, и направились, захватив по котомке с водкой.

Проводник, презиравший москвичей за их легкую жизнь с газом, колбасой и электричеством, вел самым трудным путем, иногда, как бы между прочим, замечая, что вокруг залегли в камнях ядовитые змеи, путники настолько ослабели, что скатывались со склонов на собственных задах²⁸; наконец появились искомые юрты, пульс бился в сумасшедшей агонии, и не лез в горло традиционный барашек, полученный в обмен на водку, и не грел чресла симпатичный осел, предоставленный для катания, неясно было, кто есть кто.

Еще судорожно пульсируя, Майкл раскрыл купленную утром местную газету и вдруг увидел броский репортаж о визите во Фрунзе делегации во главе с Батиллом, фигурой известнейшей, ультралевой, занимавшей массу должностей и в парламенте, и в партии, и в профсоюзах, участником всех прогрессивных форумов, борцом за мир, любимцем всех советских общественных организаций, непрерывно приглашавших его в страну.

Товарищ Майкл тогда ведал суровым Альбионом, где разведку изрядно потрепали – работа шла туго, вербовочные показатели отсутствовали, производство стояло, и это было ужасно.

«А почему бы не завербовать этого Батилла? – мелькнула крамольная мысль у Майкла. – Пристроить его по линии активных мероприятий, впрочем, он и без подсказки КГБ только и славит политику Брежнева. Если мы пристроимся к нему, то это будет нечто вроде очковтирательства!» – «Ну и что? – вякнула какая-то сволочь внутри. – Кому от этого вред? Отдел снимет пенку, Майкла погладят по головке, да и начальству приятно...».

И ас помчался в киргизский КГБ, связался по ВЧ с Москвой, получил санкцию на встречу, на следующий день без труда проник на прием в честь делегации и был представлен Батиллу как ответственный сотрудник АПН, случайно оказавшийся во Фрунзе.

С Батиллом говорить было легко, как на парт-учебе: нейтронные бомбы, крылатые ракеты, самолеты «Ф-16» (все это, разумеется, Запад), поставившие мир на грань катастрофы, миролюбивая политика СССР и борьба прогрессивных сил.

Убеждать Батилла было не в чем, он и так во все верил и все разделял, даже неудобно, что все легко, как нож по маслу.

– Знаете, мы в АПН все чаще практикуем выступления наших комментаторов на страницах буржуазной печати. А что, если и вы будете нашим внештатным корреспондентом? Особых трудов это не потребует: мы будем передавать вам тезисы для статей и выступлений, а вы уж решайте сами, что использовать...

– Боже мой, так вы ведь из КГБ! – воскликнул Батилл радостно и выпил от счастья.

– Вечно вам, иностранцам, мерещится КГБ! – возмутился Майкл.

Но Батилл уже обнял его.

– Дорогой мой, мне все равно, из КГБ вы или нет, но это то, что мне надо! Наконец я встречаю делового человека! Я тысячу раз просил об этом своих русских друзей и в профсоюзах, и Комитете мира, но то ли они не понимают, то ли много пьют, то ли слишком любят переговоры и обтекаемые коммюнике... Я хочу настоящего сотрудничества, а для них политическое сотрудничество – это поездки за границу на конференции и форумы и подарки. Наконец-то! Давайте живо мне ваши тезисы, они мне очень пригодятся!

Ошеломленный молниеносным развитием событий, Майкл чокнулся с Батиллом и

²⁸ Зады бились о холмы и камни, производя страшный шум, как сказал бы Кэрролл, можно было подумать, что дюжину каминных щипцов швыряют о каминную решетку.

договорился о встрече в Москве перед отъездом Батилла в Лондон.

Тезисы испекли достаточно быстро, благо что кулинары давно набили на них руку и просто перепевали перлы правдистской пропаганды, коряво переталдычив ее на западный манер, – самым нравилось, а это главное.

Однако только в бурные двадцатые годы органы вербовали, не особо заботясь о бумагах, в новые времена важно было не только дело, но и умение оформить его на красивом оперативном языке, разукрасить и подать наверх.

Начали, как повелось, с рапорта о работе Майкла с Батиллом и о том, что в этом трудном процессе выявились прогрессивные взгляды Батилла (они выявились лет тридцать назад), его стремление помогать делу мира и т. д., закончили рапорт просьбой дать санкцию на вербовку, подписали у шефа, отнесшего бумагу на подпись своему шефу, который оценил, похвалил и поставил сверху «согласен».

Собственно, главное было сделано, оставалось лишь поговорить с Батиллом, и вскоре Майкл ужинал с ним в обставленном техникой кабинете ресторана – ведь запись беседы планировалось положить перед начальством как живую иллюстрацию к рапорту о проведенной вербовке.

«Вы могли бы делиться с нами политической информацией?» – «Ради Бога! Я готов, я согласен помогать вам!» – «Но и мы будем снабжать вас информацией, это будет взаимно. А у вас, Батилл, есть связи в высших эшелонах власти?» – «Еще бы! Даже сам премьер-министр! Послушайте, ставлю на кон тысячу долларов, что вы из КГБ!» – «Да бросьте! Итак, мы договариваемся о политическом сотрудничестве!» Слово это было произнесено особенно четко, дабы оно твердо осело в стенограмме беседы и, главное, в мозгах начальства. «Конечно! Именно о политическом сотрудничестве! Впрочем, я уже много лет этим занимаюсь!» (Последнее покорило, ибо не хотелось выглядеть поваром, который жарит бифштекс по второму разу.) «С этого момента мы начнем сотрудничать на новой основе, Батилл... Вы часто бываете в СССР, а на родине, естественно, хватает реакционеров, которые жаждут вас скомпрометировать...» – «О да!» Он гордился этим. «Поэтому никаких звонков в наше посольство и вообще держитесь от него подальше... мало ли что? вдруг за вами следят?» – «Ну и пусть следят, идиоты, я им покажу!» – «Тем не менее в наших общих интересах не афишировать контакт, о каждой встрече будем договариваться заранее, а если вы не сможете прийти, пожалуйста, не звоните и не пишите, а приходите ровно через неделю, в то же время и на то же место!» – «Превосходно! Это очень удобно для меня!» (Ну просто создан быть агентом.) «Еще один момент: в мире сейчас неспокойно, возможны кризисы, когда встречаться с вами, Батилл, будет опасно...».

Батилл выпучил глаза: «Что вы имеете в виду?!» – «Нечто вроде карибского кризиса... или разрыва дипломатических отношений... или даже войны...» Стены и сам Майкл похолодели от ужаса.

«И что мы тогда будем делать?» – напрягся Батилл, такое ему в голову не приходило. «Вы не волнуйтесь... но на всякий случай мы должны иметь какое-то удобное место... где-нибудь в дупле (о, Дубровский и Маша!) или рядом со скамейкой. Туда мы могли бы положить тезисы без общения с вами...» – «Так это тайник!» – «Откуда вы знаете это слово?» – «Вы думаете, что я не смотрю шпионские фильмы? Так где это дупло?» – «Важно ваше принципиальное согласие, дупло мы подберем, вам о нем расскажут на родине!» – «Согласен. Это очень удобно! А могу я вместо себя направить туда жену?» – «Нет, нет! Жене, пожалуйста, пока ничего не говорите. Женщины порою слабы на язык...» – «Вы не знаете моей жены!» – «Итак, мы договариваемся о политическом сотрудничестве и конспиративной связи». (Подведение итогов.) – «Совершенно верно». – «А вот вам скромный (в КГБ все и вся скромные) сувенир от нас: часы». – «Спасибо, хотя такие мне уже подарили в Комитете ветеранов войны».

Операция прошла блестяще, через неделю, обработав все материалы подслушивания, товарищ Майкл составил победную репликацию наверх, получил все визы и торжественно внес Батилла в агентурную сеть – триумф!

Однако шеф был сух, будто и не произошло сдвига на английском направлении, будто не заслужил Майкл по меньшей мере благодарность в личное дело.

Прошло несколько месяцев, Батилл работал, как вол, по тезисам и без, резидентура

освещала его деятельность, писала о нем отчеты, которые вешали на уши во все инстанции.

Однажды на проводах за кордон очередного бойца невидимого фронта Майкл позволил себе позондировать шефа.

– Видите, как хорошо пошли дела с Батиллом... неплохая отдача, правда?

Шеф хмуро опрокинул стопарь.

– Я уж не стал тебя расстраивать, но твой Батилл числится и за венграми, и за поляками, и за чехами, даже на болгарских друзей ухитряется работать. На весь соцлагерь! На все разведки!

Лицо Майкла вытянулось, и в горле застрял кусочек холодца.

– Что же теперь делать? Списать его в архив?

– Зачем? – Шеф вяло отправил в рот кусок краковской колбасы, прожевал и вытер салфеткой рот. – Зачем в архив? Пусть работает. – Он зевнул и опрокинул еще стопарь. – Дерьмо все эти агенты влияния, в наше время таких трепачей вообще агентами не считали...

Спокойной ночи, господа, гасите свечи.

Ашик-Кериб

Конечно, Майкл догадывался, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток, но никогда не предполагал, что до такой степени – пижон, каких свет не видел (каждый день менял костюмы и несколько раз в день рубашки и жилеты), нахал потрясающий, богач, купец и любимец дипкорпуса Ашик-Кериб.

Агента завербовали в Москве «на основе симпатий к Советскому Союзу, усиленных личными отношениями», он брал деньги, доставал документы и даже подкупил одну важную персону. Деталей вербовки Центр не раскрывал, да и интересуется это лишь чрезмерно любопытных, важно, что завербовали и успешно работали.

На первую встречу Ашик-Кериб прибыл на белом «мерседесе» (ну и агент! еще бы на вертолете приземлился!)²⁹, в блестящем, как змеиная кожа, костюме, бежевых перчатках и лайковых, на высоком каблуке туфлях. Ростом маловат, чертами лица мелковат, к тому же зад свисал чуть не до пяток.

Бойтесь низкорослых: они амбициозны и властолюбивы, изранены комплексами неполноценности и потому ненавидят всеми фибрами души высоких, длинноногих, со скульптурным торсом, таких, как достопочтенный товарищ Майкл, впрочем, Ашик-Кериб никак не проявил своей злобности, наоборот, лучился в улыбках и со всем соглашался.

Первая беседа прошла в дискуссиях о Бисмарке, насморке и пряниках, Москва всплывала тут и там во вздохах и ахах: как славно было среди театральной богемы! Как прекрасны были заслуженная актриса Х. и народный артист Н.! Какая публика собиралась в консерватории! А приемы во французском посольстве?

Майкл внимательно слушал и мотал на ус.

«На чем же его взяли? как завербовали» – ведь и не пахло любовью к пролетариату, да и богат, сволочь, знал толк в антиквариате и драгоценных камнях (всегда в бомонде и хай лайфе, среди режиссеров и художников, в охотничьих заповедниках, где сильные мира сего на пышных дачах, четверть часа рассказывал, как жарил шашлык из печени, баранины, помидоров и лука, жарил прямо на решетке камина, скотина), Майклу такая долче вита в Москве и не снилась, кагэбэшников в свет не приглашали, да и боязно было: попадешь в разработку своих же коллег, потом отдувайся.

Однажды Майкл случайно подсел в такси к каким-то черным, а они въехали во двор сомалийского посольства, милиционер – харя – попросил было документы, еле-еле унес ноги – доказывай потом, что не прибыл сюда на явку как ценный агент Сомали.

Вскоре от хрусталя и подмосковных дач перешли к прозе оперативной жизни – тут Ашик-Кериб забуксовал, разжечь его было нелегко, он со всем соглашался и уходил в кусты,

²⁹ Только лопухи приезжают на место тайной встречи на автомобиле, это настолько не лезет ни в какие ворота, что обойдено презрительным молчанием в энциклопедическом «Руководстве для агентов Чрезвычайных Комиссий».

стоило лишь комиссару Майклу затронуть боевые дела, как он начинал скрипеть стулом, крутить головой, рассматривая посетителей, ерзать и нервничать, пугая и Майкла, и больше всего самого себя.

Так и болтались в киселе – шаг вперед, два шага назад, и снова о жизни в городе, о камерных оркестрах и театральных новациях, которые были Майклу до фени, и, конечно же, о рынках, базарах, комиссионных, универмагах и универсамах.

Ужасная встреча, никаких надежд, никаких перспектив, скользкий угорь, к тому же не пьет, мерзавец, прикрывается исламом, а одному хлебать виски и тошно, и некрасиво.

На следующей встрече («мерседес» по совету Майкла был оставлен в миле от ресторана) снова кисель и снова бомонд («Терпеть не могу Дома литераторов – там вечно подсаживались к столику пьянчуги-писатели, а я ведь не пью... Иногда из Дома моделей забегал в ЦДРИ, мои девочки... я знал их всех... бывал на всех демонстрациях, я восхищался и Миленой Романовской, и Региной Збарской, но больше всех мне нравилась Вера... Вера!»).

Вера? (О, ты прошла тогда, как ток, как будто камертон затинькал...)

Воспоминание отдалось в животе, занятом перевариванием улиток, но Майкл сохранил неподвижность щек и ясность мысли.

Черная, как южная ночь, – татарская кровь, диковатый взгляд, острый, словно хлеставший, не оторваться, умереть.

Домой вернулся, насквозь израненный воспоминаниями, Копенгаген томил, сердце рвалось в Москву, пусть несуразную, пусть с полупустыми витринами и без уютных кро, но... там друзья и подруги, там прошла жизнь, там надежды, а что здесь?

В воскресенье Майкл погрузил сына и жену в машину и, так и не выбравшись из транса, помчался на север.

Море кокетливо подрагивало в штале, пенилось и вяло било о камни, одинокие рыбаки, затерянные между глыб, замерли на берегу, слева расстилались уютные виллы, но жить в них Майклу совсем не хотелось, ибо думал он о преходящности бытия, образ Веры все разгорался и разгорался.

Он остановился у пустынного берега с обломками скал, выгрузил жену и сына, про себя отметив со сдержанной любовью, что семейная жизнь ему порядком надоела, и двинулся вдоль берега, одинокий, гордый, в роскошных вельветовых штанах цвета еще не созревшего апельсина, шел по камушкам, иногда ударяя по приглянувшемуся носком замшевого ботинка (именно с замшей смотрелся вельвет!), и наконец сел на камень и так и застыл вроде бы навечно.

Белый снег и синее море, белое море и синий снег, белый берег и синие чайки, белые блики на синем песке, белые дюны и синее солнце, ослепительно синие сосны, и, конечно, когда надо смешать все краски снова и затушевать места пустые, и заштриховать синее белым, а белое – синим, то не дозовешься ни зюйд-веста, ни просто норда, обыкновенный ветер отказывается работать, так и стоишь у окна между белым и синим, синим и белым, только ответь, почему же, зачем же смотришь ты в это окно запотевшее? словно судьбы ожидаешь решения, словно настала пора разрешения всех твоих умных и глупых вопросов, словно задумал внести оживление в нагромождение снежных заносов, словно рассвет ожидаешь в смешении, в новом свечении красок знакомых, в новом смятенье спасение словно! синее-белое, снова и снова смотришь, от синего цвета слабея, не шелохнутся, не вздрогнут деревья, можно, конечно, пустить белку по белому снегу, посадить женщину на камень, которого нету, посадить женщину, которой нету, на переломанную ветку кедра, чтобы сидела так в дюнах у моря, ожидая ветра из-за синего Эрезунда, чтобы было видно за горизонтом зарывающееся в волны белое судно, можно, конечно, оживить картину и на скамейку возле отеля, по другую сторону дюны синей посадить мужчину в свитере под Хемингуэя, рассматривающего кусок апельсиновой корки, но и это было, все было, синее-белое, синевато-блеклое, белизна сиреневая, синева серебряная, нет ни бега времени, нет никакого движения, нет ни Бога, ни дьявола, однообразно волнение моря и неподвижность картины, остается невысказанное, поспешное слово, потешное и безнадежное путешествие по белой пустыне, где синее – белое, белое – синее – снежное...

На следующей встрече Ашик-Кериб неожиданно взял полубутылку благородного шабли,

которое цедил Майкл, и немного плеснул себе в бокал.

– Давайте выпьем за здоровье Веры!

Товарищ Майкл немного удивился:

– А что? Вы были с ней хорошо знакомы?

Ашик-Кериб загадочно улыбнулся, закатил глаза, расцвел и стал взахлеб рассказывать о красоте Веры и поездках с нею по значным местам, по мастерским и театрам... это было ужасно, и Майкл даже отставил бокал с шабли, что бывало только при форс-мажорных обстоятельствах.

– Позвольте, Ашик-Кериб, а в какие годы вы с ней встречались?

– Шестьдесят пятый и шестьдесят шестой, – быстро, не напрягаясь ответил агент.

Майкл осторожно, чтобы не сломать скулы, сжал челюсти и припал к бокалу: именно в то время он ходил с Верой на лыжах, и они промерзли и потом на даче топили печурку и пили глинтвейн, и было так жарко, что пришлось сбросить почти все, и пламя играло на стенах, и громко взрывались сырые поленья, выбрасывая на пол искры и золу... о, ты прошла тогда, как ток!

Майкл вспомнил, как он мучился, прогуливаясь с Верой от Кузнецкого до Горького: в норковом манто и красных сапожках она походила на фею, спустившуюся в серую, плохо одетую толпу прямо из заграничного журнала, на нее глазели, выпучив глаза и не веря диву, – а конспиратор Майкл стеснялся, ибо в те годы одет был коряво, как все простые советские люди, к тому же он недавно поступил в КГБ, где учили не попадать в фокус внимания, а Вера жаждала продемонстрировать свою красоту и рвалась в рестораны, где, к ужасу товарища Майкла, ее узнавали, приглашали на танцы, присылали шампанское и цветы...

– Что-то вы сегодня мрачны... – заметил Ашик-Кериб. – Что-нибудь случилось?

– Нет, нет! Просто много дел. Вам опять не удалось встретиться с американским послом? (Сейчас скажет, что нет.)

– Мы договорились, но в день ленча позвонил его секретарь, извинился и сказал, что посла срочно вызвали к премьер-министру. (Так я и знал.)

– Уже не первый раз. (Сукин сын!)

– Я стараюсь, Майкл. Я не виноват, что в Дании мало политических событий. Только вчера я беседовал с итальянским пресс-атташе. Ничего интересного. Вы хотите информации, а тут просто ничего не происходит. (Заливай, заливай.)

Машина плавно, боясь растрясти чувства Майкла, мчалась с севера на юг, мимо озера Багсверд, мимо особняков Люнгбю и парка Клампенборг, с севера на юг – именно с севера на юг и летел тогда Майкл: Вера отдыхала в Коктебеле, а он вышел в пятницу вечером с грозной Лубянки и тут же, захватив лишь портфель с плавками и полотенцем, вылетел в Симферополь.

Душная, пахучая крымская ночь, дремуче-черная дорога на Коктебель, преодоленная за дикие деньги на такси, темный заснувший дом отдыха.

Вера жила с подругой на первом этаже, но на призывные стуки страстного Майкла никто не отозвался – не желает открывать? ушла куда-нибудь прогуляться? (конечно, с подругой), а вдруг в комнате... (Он выпустил когти и напряг хвост.)

Ревнивый Майкл поплелся к морю, любуясь ослепительными звездами, разделся донага и блаженно нырнул, стараясь проплыть под водой как можно дольше, он раскрыл глаза, но вокруг была лишь мертвящая мгла, и Майкл вдруг испугался, что утонет и не увидит Веру, судорожно выбрался наверх и побежал к дому.

Вера уже была дома, подруга где-то задержалась, и Вера была нежна, как крымская ночь, и всю субботу и часть воскресенья они провели вместе, а к вечеру Майкл улетел в свои лубянские подвалы.

Машина застонала от воспоминаний Майкла: неужели Вера в то время встречалась с этим восточным богатеем? Исключено! Как она вообще могла общаться с этим толстозадим карликом?!

И вдруг нещадно осенило: Боже, так его, наверное, взяли с ее помощью, Вера затянула его, Вера заставила работать его, Вера закрутила ему голову, значит, Вера... Неужели агентесса КГБ? Ласточка?

...как будто камертон протинькал...

Интересно, как же его брали, этого мерзкого азиата? На фотографиях и грубом шантаже? Или появлялся брат (отец, друг, муж – ненужное зачеркнуть), жаждавший отомстить за честь соблазненной, а потом на помощь приходил командор в ботфортах и погонах, грозил судом или обсуждал будущее грядущего ребенка – в этих делах ребяташки из контрразведки были доками, умели запутать и оглушить, Вера могла разрыдаться и попросить Ашик-Кериба избавить их обоих от угроз. Но как? Как успокоить отца, брата и друга? Очень простенько и со вкусом: у товарищей есть знакомый, которому очень надо уехать за границу, а у Ашик-Кериба есть друг в одном консульстве, почему бы не попросить у него чистый бланк паспорта? Коготок завяз, всей птичке пропасть...

Вот они, черные, татарские лживые глаза с дичинкой, лживые глаза, и смех... нет, она не умела смеяться, она лишь загадочно улыбалась.

Следующую встречу Майкл решительно начал с оперативных проблем, но уже через полчаса говорил о Вере, оказалось, что она давным-давно вышла замуж за крупного чиновника, часто выступавшего по телевидению, имела двоих детей, вхожа в круги кремлевских жен и даже слыла моралисткой среди молодого неопытного поколения. (Ашик-Кериб словно досье на нее вел!)

Так они вспоминали и вспоминали, забыв о долге и работе, забыв о КГБ и о мире во всем мире: помните, как запустили в космос Гагарина? Как все плакали на улицах и восторженно кричали «ура!»? Вы еще не были знакомы? Помните, каким вкусным мороженым торговали в ЦУМе? Это же рядом с Кузнецким. А соленая соломка с пивом в баре на Пушкинской рядом с аптекой, жаль, что все снесли! Я с ней любил «Метрополь». А в какой моде были «Дни Турбиных» в театре им. Станиславского! Вы летали с Верой на Байкал? В каком месяце?

Куда вы поехали после Байкала, Ашик? Плыли с Верой по Енисею?

Майкл помнил ту золотую осень, Вера приехала загоревшая и сообщила, что гостила у больной мамы в деревне, а потом улетела на выставку мод в Ленинград.

Как ты водила за нос Майкла, коварная шлюха!

Встречи с Ашик-Керибом уже совсем потеряли смысл, Майкл давал себе слово не говорить о Вере, но каждый раз нарушал его, словно сладко было от соли, разъедающей раны.

Но всему приходит конец, Майклу повелели вернуться на родину, прощались с Ашик-Керибом в ресторане с казино, где никто не играл. Крупье зевал и тяжело ходил вокруг зеленого стола.

– Если увидите Веру, передайте ей привет, – попросил Ашик-Кериб.

– Конечно, дорогой мой.

И они расцеловались, как братья и товарищи по оружию.

В Москве Майкл завертелся в делах и новых заботах, а через год случайно узнал, что Ашик-Кериб вернулся на родину и вскоре был повешен за шпионаж.

Смутная жалость пробежала по сердцу Майкла, пробежала – и исчезла.

Москва – Дания, 1965 – 1969

О, женщина порочная!
О, изверг, улыбающийся изверг,
Проклятый изверг! Книжка где?
Заметить надо,
Что можно улыбаться
И все ж быть извергом.
Уж в Дании наверно
Оно возможно.

У. Шекспир

В Москве меня не встретили с распростертыми объятиями, но и не предали анафеме, а посадили на английское направление.

Высылки, провалы и прочие перипетии шпионской судьбы отзывались в сердцах руководства по-разному: например, с когортой, высланной из Лондона в 1971 году после предательства кагэбиста Лялина, расправились, мягко говоря, бесчеловечно: резидента с позором уволили, заместителей тоже затолкали на задворки, впрочем, уже позже, при Андропове, впали в иную крайность, когда все зависело от личных привязанностей, одних наказывали, других миловали, третьих даже повышали.

К осени меня сбагрили на УСО – одногодичные курсы усовершенствования – учиться толочь воду в ступе.

Учеба на УСО в качестве уже руководящего кадра умасливала и грела, каждый чувствовал себя пупом земли, жили, как в лесном доме отдыха, привольно и беззаботно, когда желали – уезжали домой или еще куда (порой раздавались тревожные телефонные звонки взволнованных жен, разыскивавших исчезнувших драгоценных мужей), скука стояла дичайшая, на освоение новых языков не тянуло, но продолжил французский и сдал кандидатские экзамены.

Снова – в который раз! – навалили марксизм-ленинизм, но уже под соусом освоения современной буржуазной философии, которую никто из преподавателей и не нюхал, – с прагматизмом, экзистенциализмом, неотомизмом и прочей гадостью расправлялись небрежными щелчками, как с клопами, вновь и вновь черпали мудрость из неисчерпаемого «Материализма и эмпириокритицизма», смешивая с грязью путаников Маха, Авенариуса и примкнувшего к ним Дицгена, снова с тошнотой в горле пережевывали партийные документы, а в основном болтали о жизни, о доблестях, о подвигах, о славе и к завершению учебы написали по реферату, щедро поделившись опытом работы.

В 1965 году учебные структуры еще не превратились в обросшую жиром машину с продленными сроками обучения, с растущим числом предметов и преподавателей (в этот «отстойник» часто сплавляли неудачников, жертв аморалок, бывших фаворитов, да и просто малоспособные кадры), тогда еще только зарождались споры о том, что есть разведка: искусство ли это, как писал враг номер один Аллен Даллес, или же наука? Звенели шпаги, и будущие профессора кислых щей аргументированно вещали: конечно же, наука! Чем она отличается от философии или физики? Впереди маячили докторские звания, солидные кафедры и, конечно же, Академия Разведывательных Наук, которая, возможно, вобрала бы в себя все другие академии страны.

Курсы навещали крупные шишки из разных подразделений КГБ с лекциями, в которых тривиальщина выдавалась за откровения, тем не менее порою бывало интересно послушать, что глаголило начальство из других подразделений, сравнить, примерить, оценить.

Иногда я заезжал на работу в скромный дом номер два, что на Дзержинского, в кабинет с незабываемым видом на гастроном, забегал к начальнику отдела и смотрел на него собачьими глазами, дабы меня не открепили от англо-скандинавской линии и не бросили бы в когти Африки и Азии, где лихорадка, бацилла и черные кобры.

Но фортуна держала меня на плаву: однажды я встретил в коридоре власти резидента в Дании Леонида Зайцева, моего оперативного крестного в Лондоне: он впервые вывел меня в знаменитый «Симпсонс» на встречу с англичанином и показал, как вести себя в ресторане (брать счет, не заказывать, как в России, закуску и суп, а что-то одно, и, уж конечно, не брать на двоих бутылку водки или виски), много нюансов существует в любом деле, даже в открывании бутылки или двери, потом все кажется мелочью, а для новичка – это барьер.

«Симпсонс» славился лучшими в мире ростбифами с кровью, небывалым образом поджаренное мясо подвозили на тележке, и служитель отрезал кусок огромным ножом, за что по традиции со времен Елизаветы ему полагалось дать два шиллинга.

Я внимательно слушал беседу с англичанином, она показалась мне общей, пресной и совершенно лишенной секретности – все было известно из газет, и я был просто поражен, когда в резидентуре Зайцев накатал после нашей беседы две информационные телеграммы – с тех пор я понял, что информация не течет сама по себе прямо в рот, как дико секретное «Завтра Англия нападет на СССР!», к беседам надо готовиться, заранее представлять предмет обсуждения, даже иметь уже скелет сообщения, которое с помощью вопросов требуется обрасстить мясом.

Зайцев поинтересовался моими учебными делами и вдруг предложил должность своего заместителя – я чуть не выпорхнул в окно от счастья. Дадут ли визу датчане? Особых сомнений

не было: в те сладкие времена визовая политика Запада еще не ужесточилась, дипломатам, особенно высокого ранга, в визах обычно не отказывали, хотя и прекрасно знали, что имеют дело с махровыми разведчиками (лучше знать, чем тратить время на узнавание), к массовым высылкам, ставшим чумой разведки с семидесятых, еще не прибегали.

Зайцев попутно заметил, что в Дании ему уже надоело, и если дела пойдут нормально, то вполне вероятно мое восхождение на трон резидента – и коридор, и Зайцев пошли кругами: в тридцать два стать резидентом! таких прыгунов в высоту среди коллег было немного...

Счастье свершилось, вскоре началось оформление, меня сводили к шефу разведки Александру Сахаровскому, которого все боялись как огня. Сахаровский был высок, крут и умел защитить разведку, помнится, на совещании Андропов разнес его за то, что ему заранее не сообщили о визите Чаушеску в Вашингтон, однако генерал не утерся, как многие, а, признав вину, отметил, что решение было принято за день до визита и так быстро добыть информацию разведке попросту невозможно.

Сахаровский дочитал бумаги, принесенные начальником отдела кадров, и поднял глаза (сесть он мне не предлагал и вообще головы не поднял, когда я вошел, – все это было в порядке вещей: вежливость в те годы была редкостью, и только единственный большой начальник, замнач разведки Иван Иванович Агаянц, всегда выходил из-за стола, пожимая руку, и, окончательно умиляя, просил присесть).

– За что вас выслали?

Я быстро объяснил, добавив, что мистер Икс недавно, как сообщила «Таймс», получил орден.

Сахаровский как-то странно улыбнулся (улыбки на его лице я никогда не видел) и подписал документ, видимо, решил, что мистер Икс получил орден за высылку меня из Лондона.

Катя восприняла командировку драматически, снова предстоял разрыв с театром, где только все наладилось, к тому же после Лондона Копенгаген выглядел глухой деревней: однажды мы несколько часов бродили по нему на пути из Лондона в Ленинград, царственной поступью сошли с корабля на Лангелиние, размеренно, погрузив сына в коляску, начали осмотр достопримечательностей по карте, которую я тут же развернул, как верный ученик Ливингстона и капитана Кука.

Мы обзрели королевский дворец с гвардейцами, постоянно вспоминая о Букингемском дворце, будто каждый день гоняли там чай с королевой, пробежались по Глиптотеке, вздыхая по Тейт и Национальной галерее, мельком взглянули на гнездо разврата Нью-Хавн, который и в подметки не годился истинно развратному лондонскому Сохо, утыканному ресторанами, унизанному как бриллиантами сногшибательными шлюхами, не зазывавшими грубо, как в Нью-Хавне, а деликатно позванивавшими ключами у подъездов, прошли спокойно мимо здания оперы (оказывается, у этих датчан есть и опера? Конечно, не «Ковент-Гарден»...), потом покатали коляску по пешеходному Строгету, с иронией поглядывая на витрины: м-да, куда этим варягам до нашего изысканного «Баркер», до помпезных «Хэрродс» и «Дерри энд Томе», до гордости всех мужчин мира «Остин Рид»!

На Ратушной площади, взглянув на карту, я с удивлением обнаружил, что главные достопримечательности уже покрыты и маршрут фактически завершен – это казалось невероятным, миниатюрные масштабы вызвали умиление, по времени вся экскурсия заняла не больше, чем променад по Гайд-парку.

Впрочем, когда в 1967 году мы прибыли в Копенгаген на постоянное поселение, то неожиданно для себя раскрыли иные прелести, таившиеся в области вечной природы и капризного комфорта: двухэтажное строение с садиком, недалеко луга, озера и болота с дикими утками, в десяти минутах езды то суровое, то сияющее море, вместо скромной машины – темно-зеленый «опель-рекорд», и вообще заместитель резидента, он же первый секретарь, – не мелкая сошка в посольстве, тем более что Зайцев сразу же представил меня послу Ивану Ильичеву как своего престолонаследника и оставил вместо себя при первом же выезде в отпуск.

Леонид Зайцев, который потом возглавил научно-техническую разведку Первого Главного управления КГБ, напоминал заведенный мотор, неспособный остановиться, вся жизнь его проходила в бурлении, кроме редких отдохновений на рыбалках, но он был терпим и не

требовал сидеть с ним в резидентуре до одиннадцати ночи (над чем он ворожил там, мне трудно догадаться, но что делать, если человек не любит отдыхать и пить дома у телевизора кородрягу?).

Однажды часа в четыре утра ко мне на Маглегорд-Алле примчался шофер с вестью о том, что несколько часов назад повесился студент, учившийся в Копенгагенском университете по культурному обмену – ЧП! – еле продрав очи, я добрался до посольства, в кабинете резидента уже сидел заместитель по контрразведке Серегин, а Леонид Сергеевич озабоченно ерзал в кресле, облаченный в куртку поверх пижамы. Отдав распоряжение по делу самоубийцы и подписав «молнию» об этом в Москву, он повернулся ко мне: «А теперь, старик, давай займемся сметой, Центр явно хочет нас облапошить», – пламенный мотор работал безотказно.

Моей опорой в резидентуре оказался Анатолий Лобанов, друг по институтской скамье, тоже ушедший из МИДа в КГБ, он прекрасно освоил датский и ташил на себе весь воз внутренней политики, хотя Москва не шибко интересовалась страной, не желала вникать в почти невидимые нюансы в позициях партий, но требовала борьбы с НАТО и США. Правда, иногда сведения о левом политическом фланге котировались в международном отделе ЦК, не спускавшем глаз с рабочего движения и мечтавшем воссоединить его под эгидой коммунистов.

Совсем юный Олег Гордиевский, тогда еще только вызревавший в английского суперагента, подчинялся лично Зайцеву по линии нелегальной разведки, встречал и провожал таинственных дядюшек и тетюшек, сапожников, часовщиков, бизнесменов, контактил со священниками, необходимыми для оформления подложных документов, рыскал по городу в поисках тайников, а по нашей линии политической разведки возился то ли с жидким радикалом, то ли с таким же жидким клерикалом – в любом случае потом он сдал его англичанам, если было что сдавать.

Гордиевский импонировал мне не только общей альма матер (тогда в разведку из ИМО народу приходило мало), но и прекрасным знанием истории и особенно запретного опиума – религии, он любил Баха и Гайдна (измученный в свое время родителем, я так и не смог раствориться в симфонической музыке), это внушало уважение, особенно на фоне жизни совколонии, завязшей в рыбалках, распродажах и тусклом накопительстве.

В Копенгагене я увлекся декламированием Мандельштама, Волошина, раннего Тихонова, Багрицкого и сам погрузился в поэзию, рождая и середнячков, и уродцев.

Однажды триумфально въехал в Копенгаген сам Евтушенко, и, когда после обильного ужина, отмеченного запахами шотландских лугов и прелестью куропаток, что предполагало сморщенные в улыбку комплименты, я в задыхающемся ритме зачитал ему целый цикл, мэтр заметил, что по душе ему пришлось лишь одно, правда, этот ледяной душ меня не охладил.

Датская резидентура в ту пору набирала очки по главному противнику, причем успеха добивались не нахватанные эрудиты, вечные пятерочники и поклонники Киркегора в оригинале, а хитрованы, не особо смыслившие в гранд-политике, но зато не отпугивающие своей энциклопедичностью, слабенькие на вид, но поразительно умевшие невидимым змеем влезть в простоватые души американцев.

Население резидентуры так и разделялось на умников-информационников, не блещущих оперативной хваткой, и презиравших газеты акул, охотившихся на просторах океана, и весьма успешно.

Работа по главным американским объектам сопровождалась не только огромными физическими и моральными затратами, но и горячей обидой: рано или поздно предметы нашей оперативной любви покидали Данию и возвращались в родные пенаты, а мы в резидентуре оставались в одежде андерсеновского короля и снова начинали бурить скважины под презрительные окрики Центра, всегда страдавшего короткой памятью, но зато цепкого на конъюнктуру.

Американцев мы обхаживали и с помощью датчан, и дипкорпуса (прямые контакты слишком часто давали сбои, в дело вмешивалась контрразведка, и тут уже было не до игр), планы создать группу беззаветно преданных делу вербовщиков-датчан, которые постоянно держали бы в зубах янки, так и остались на бумаге, а вот дипкорпус, разнежившийся от безделья в скандинавском Париже (впрочем, так называют и Стокгольм, и Осло, каждому почему-то очень хочется быть Парижем), мы немного потрепали.



Рисунок Кати Любимовой

Любой разведчик работает с прикрытия и обрастает знакомствами, но только небольшую часть он прячет в кусты от сыщиков-разбойников, остальным же трезвонит по телефону с работы, ставя на уши службу подслушивания, зазывает в посольство или домой отведать узорной деревянной ложкой зернистую икру и попить прямо из бочки кородряги, да и сам не брезгает заскочить в гости с матрешкой и горячим приложением.

У каждого разведчика свой стиль, каждый сходит с ума или умирает в одиночку по-своему, я, например, всегда стремился обрасти знакомствами, как мхом, в этой паутине (иногда хотелось выглядеть злым мохнатым пауком, пожиравшим бедных мушек, особенно после просмотра шибко страшных западных фильмов о КГБ) скрывались и объекты моего вожделения, которые постепенно я пытался увести из-под вражеского телескопа, и совершенно пустые, никчемные знакомцы.

Я старался загрузить контрразведку, дать ей пищу для работы, дабы ребята не злились из-за моей таинственности и конспиративности, я болтал по телефону, давая волю фантазии, и представлял: вот крутится пленка со всей этой чужью, вот ее прослушивает носатая девица в наушниках, хохочет над моими остротами (для нее их и пускал), перепечатывает все или фрагменты или делает реферат, сохранив самое существенное, потом бумага попадает к контрразведчику, ведущему мое досье, тот докладывает ее выше. Конечно, в этой игре нужно соблюдать и правила, и границы – ведь на том конце прекрасно понимают, что ты понимаешь, что тебя понимают, могут и обозлиться...

В то время резидентура расширяла связи среди парламентариев, журналистов, политиков, сотрудников МИДа Дании, встречались совершенно официально, и этот факт не стоил бы упоминания, если бы через десять лет, благодаря бюрократическим выкрутасам андропово-крючковского руководства, многие из этих персонажей не получили бы клички и не преобразились в агентов или «связи влияния», которых с энтузиазмом потом разоблачил Гордиевский.

Безумный строй, не осознавая еще, что переживает смертельную агонию, силился доказать себе свою мощь и путал сам себе карты, выполняя и перевыполняя и по тракторам, и по молоку, и по агентам, – я не утверждаю, что невозможно завербовать иностранного лидера или редактора газеты, я всего лишь хочу сказать, что границы любого политического сотрудничества (а зачастую даже не сотрудничества, а вменяемого по службе обмена информацией) настолько размыты и неуловимы, что слишком часто можно интерпретировать его по желанию, особенно если в тайных архивах разведки президент США именуется

«Дятлом», а лидер социалистической партии Франции «Матильдой».

Примеров политических альянсов пруд пруди: Курбский и король Сигизмунд, Мазепа и Карл XII, Ленин и кайзер, Савинков и Антанта, Рузвельт и Сталин (через Гопкинса, тоже агента по Гордиевскому), Кекконен и Брежнев, ну и, конечно же, Горбачев– Яковлев – Рейган – Ельцин – Буш и целый сонм западных лидеров. Везде налицо политическое сотрудничество, и каждый добивался своих целей, разведка в этих хитросплетениях могла и продремать за кулисами, могла появиться на миг, а порою и глубоко завязнуть, выполняя волю правительства, от участия разведки ни Ленин, ни Савинков, ни Яковлев не превращаются, как по мановению волшебной палочки, в агентов влияния, впрочем, «ему казалось – на трубе увидел он слона. Он посмотрел– то был чепец, что вышла жена. И он сказал: – Я в первый раз узнал, что жизнь сложна», – Льюис Кэрролл явно работал на КГБ.

Нашим усилиям активно препятствовала датская контрразведка, чьи пастухи не оставляли шпионское стадо без внимания: машины наружки ходили довольно часто, открыто переговаривались в эфире, контрразведка не брезговала и провокациями: однажды в посольство завалился «англичанин», суливший горы секретных документов, такие посетители не редкость (особенно опасны шизы, сулящие гиперболоиды инженера Гарина, которые разрежут земной шар на части), ему, естественно, не поверили, но на всякий случай сотрудник вышел все же на встречу (почти рядом с посольством, дабы не давать повода обвинить потом в «конспиративных действиях») под отеческим наблюдением опытного Серегина.

И сотрудник, и Серегин тут же узрели на улице, кроме «англичанина» с толстой папкой под мышкой, целую кучу нацелившихся сыщиков, «англичанин» пытался всучить «документы» сотруднику, который тут же дал от него деру по знаку Серегина, все это выглядело как фарс: «англичанин» гнался за сотрудником, как борзая за зайцем.

Серегину вообще везло на веселые случаи: однажды к нему обратились сотрудники датских спецслужб, обещавшие выдать самые страшные тайны НАТО и попросившие немедленного укрытия в СССР: лихорадка в резидентуре, мысленное сверление дырочек в лацканах пиджаков, шифровки на самый верх, Андропова привлекла идея политических разоблачений коварного Запада, спасителей социализма в срочном порядке погрузили на наше торговое судно, но, поскольку оно не собиралось в ближайшее время швартоваться, сняли героев в середине Балтийского моря прямо на вертолетах (!) и через Ленинград доставили в изнывавшую от нетерпения Москву (Андропов не мог заснуть, все беспокоился об успехе операции).

Однако первые же беседы показали, что у героев дня заметно сдвинуты мозги (Серегин в суете счастья этого не заметил), и двух психопатов, не нюхавших ни спецслужбы, ни НАТО, оставалось только побыстрее перебросить через спасительный Восточный Берлин обратно в страну принцессы на горошине.

В безоблачной Дании, где вполне достаточно на всякий случай держать одного-двух офицеров разведки, в 1967 году нас было порядка десяти – двенадцати человек, к моменту моего воцарения в 1976 году резидентура увеличилась вдвое, я сам стремился расширить штаты: видимо, у любого начальника сидят в крови бациллы укрепления власти с помощью кадров, которые решают все.

«Пражская весна» принесла новые иллюзии (с уходом Хрущева гайки хоть и подкрутили, но не забывали еще о XX съезде, в воздухе пахло скорее неопределенностью, чем жестким курсом), на портретах я всматривался в кирпично-неподвижные физиономии Подгорного и Шелеста, в красивого, величественно-глуповатого Брежнева, в пронизательные глаза Андропова и бесстрашный лоб Косыгина, и казалось (все мы склонны принимать желаемое за действительное), что эти люди понимали: коммунизм можно спасти, лишь придав ему человеческое лицо, поддержав и Дубчека, и Смрковского – о, после этого мы все распрямим спины, мы будем гордиться нашей свободной страной и свободной партией!

В КГБ был создан штаб, нацелившийся на Чехословакию, нам тоже вменялось в обязанность собирать информацию, тем более что отношения с чехословацким посольством, где всегда к услугам были целебное пльзеньское пиво и шпикачки с мягкой горчицей, отличались обычной теплотой товарищей по оружию.

Я – о святая простота! – верил, что мы поддержим Дубчека, иное казалось невозможным,

совершенно невероятным, в узком кругу открыто спорили (кое-кто, правда, помалкивал или нейтрально улыбался), куда заведет пражская весна, образцовый сталинист Серегин спорил со мной и Гордиевским, что в Прагу войдут наши танки, на кон выставялась нешуточная драгоценность: целый ящик «туборга».

Зайцев тем временем энергично вводил меня в резидентские дела, рассчитывая уже к концу шестьдесят восьмого вернуться в Москву, котирировался я хорошо, а тут еще в инспекционную командировку прибыл новый начальник нашего отдела, легкий и веселый человек (особенно порадовавший тем, что поздно ночью в коридоре своего отеля переставил все стоявшие у дверей туфли), который проникся и ко мне, и к Кате, и к нашему дому, да и посол наш Иван Ильичев, бывший шеф ГРУ и глава советской военной администрации в Восточной Германии, человек суровый и сдержанный, неожиданно дал мне лестную характеристику (видимо, в пику Зайцеву, которого он не терпел).

Так и порешили: в августе 1968 года я отправляюсь в отпуск, прохожу по инстанциям – процедура движения была мучительной и громоздкой, утопавшей в бумагах, – затем возвращаюсь в Копенгаген, там мирно работаю на благо родины, ожидая, пока прокрутится вся карусель, а затем, отправив Зайцева, официально вступаю в калоши счастья резидента³⁰.

Летом я отправил Катю с Сашей в Союз к родственникам, а сам окунулся в мечты, тем более что слухи о моем скором восхождении уже распространились, все больше вокруг оказывалось ласковых и улыбчивых лиц, руководители торгпредства и других учреждений приходили за мудрыми советами, я уже прикидывал, какого цвета «мерседес» будет мне к лицу, решил не вселяться в ветхий зайцевский особнячок недалеко от моря, а снять что-нибудь попримечнее, чуть поменьше, пожалуй, чем замок принца Гамлета в Эльсиноре, но не хуже, чем у американского резидента. Мечталось превратить этот дом в центр политической жизни, где банкеты, на которых циркулируют министры, послы и лидеры партий, а хрупкие юные дамы в белых фартуках разносят тончайшие вина, музыкальные вечера с танцами и просмотры сенсационных фильмов.

Ходил я, чуть-чуть надувшись, твердой походкой молодого генерала (уже репетировал роль), привыкшего, что встречные уступают дорогу, а подчиненные, если снизойти до визита в их кабинет, вскакивают, как ошпаренные, и смотрят в рождающий Истину рот.

По случаю надвигавшегося величия нужно было и сменить декорации: я двинулся в английский магазин, что тогда стоял на Строгете, и, не пожалев бешеных денег, приобрел темно-серый костюм в светлую полоску, смотрелся я в нем как сэр Энтони Иден до суэцкого кризиса, недаром на утреннем обзоре прессы в кабинете посла все дипломаты, окаменев, уперли в меня взоры, а второй секретарь, ответственный за связь с компартией, читая ясный, как «Правда», и почему-то понятный без знания датского орган коммунистов, «Ланд о фолк», краем глаза изучал мой пиджак³¹.

Уезжал я на коронацию в Москву в умиленнопраздничном настроении, уже как отец совколонии, как наследный принц, которому осталось лишь пройти мелкие формальности.

На перроне меня встретили хмуроватые отец и Лобанов, находившийся в отпуске, объемный нос моего старого друга выглядел особенно понуро, он отвел меня в сторону, наводя ужас своим траурным видом, и молвил: «Я тебя должен огорчить, Катя подала на развод».

Если бы меня арестовали тут на платформе как шпиона всех разведок (что никогда не поздно в нашей изменчивой, как запах розы, стране), я и то изумился бы меньше, все рушилось, сценарий голубого будущего расплылся в пух и прах, разведенных за кордоном долго не держат (и правильно), ничего не оставалось, как тут же всем вместе прямо с вокзала поехать в ресторан, где и упиться в дым.

³⁰ Из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «На галошах не следует иметь своих истинных инициалов. Это часто дает предателям нить для розыскания лиц, фамилии которых им известны».

³¹ Боже, в кого я превратился! Тот ли это человек, который в детстве, плача у картины Репина, писал: «Толпа бурлаков устало бредет, тяжелая баржа за ними плывет, два богатея на барже стоят и на измученных молча глядят».

«В одной стороне – дорога, в другой стороне – дорога, до дома осталось недолго, но только не знаешь – куда», – это развенчанный принц.

Мои попытки уговорить Катю изменить роковое решение результатов не дали: она настроилась на новую семью и на театр, о, театр!

Через несколько дней сверкнула очередная молния: наши войска вошли в Прагу. Этого я понять не мог, я выплескивал свой гнев близким, я ненавидел и Систему, и себя в ней, я тут же принял решение: хватит! конечно, с протестами на Красную площадь я не пойду, зачем зазря подставлять себя и коротать жизнь в психушке? но в отставку подам и начну новую, честную жизнь.

Далее уже включился в дело пресловутый здравый смысл, всегда дрожащий, как хвостик – о хвост! – зайца: дадут ли пенсию? Вряд ли, выслуги нет. Ну а чем заняться? Славная организация помогать не станет, будет лишь мстить... Правда, есть великая и могучая русская литература, разве не ждала она меня, родная, в свое бархатное лоно? Виделись симпатичные и душевные писатели, всегда готовые протянуть руку помощи ближнему и не влезавшие в такое дерьмо, как политика. Конечно, в загашнике у меня было негусто, но кому-то нравилось, хотя... – тут же здравый смысл подсказал оттянуть отставку, а тем временем освоить литературное братство и напечатать хотя бы рассказ или несколько стихов. Да и вообще: что изменил бы мой протест?³²

Отпуск пробежал быстро, на службе, вместо грома и молнии из-за развода, я встретил сочувствие и решимость отправить меня обратно на несколько месяцев, дабы дожать до конца горлышко малютки Дании, спокойно передать вожжи своему преемнику и достойно возвратиться в родные Палестины.

В Копенгагене я ринулся в атаку, как ээк, зачисленный в штрафной батальон, полный жажды показать, что во мне не ошиблись (и не ошиблись), голова быстро перестроилась, приспособилась к послеавгустовской канители, иногда сердце сентиментально вздыхало: «Нет, неужели мы не смеем переменить судьбу свою? И я лирической каплей в эфире сонном прозвеню?» – впрочем, дальше этого дело не пошло.

В советской колонии быстро пронюхали, что графа Монте-Кристо из меня не вышло, на это указывал и постепенный демонтаж моего счастья: переезд из представительского особняка в скромную квартирку, приостановка планов покупки «мерседеса», да и в партбюро меня не включили, и не кричали на собраниях «Предлагаю в президиум первого секретаря...», и на домашние банкеты, куда обычно зазывали нужных людей, и на ключевые дни рождения все реже стали приглашать, и уже не звали на спуск судна с верфи, когда первая дама посольства игривой ручкой разбивала о борт бутылку шампанского, – так бесславно я прожил в Копенгагене почти год.

По приезде в Москву встречен опять же по-братски: не переброшен на укрепление резидентуры в Гвинею, не заткнут в мышинные норы знаменитого шпионского вуза, не превращен в кадровика (почти все злобные неудачники) и не отправлен в КГБ города Нежина для разведения специальных огурцов, незаменимых в операциях против главного противника.

Наоборот – не чудо ли это? – поставлен на руководство датским направлением и даже избран (конечно, по решению начальства) партайгеноссе отдела, опять доверие, черт побери, опять соблазны дьявола, рассыпавшего перед глазами фальшивые бриллианты...

А как же насчет того огня, который жжет и не отпускает? Как насчет Кестлера, Замятина и Солженицына, кумиров, тайно привезенных в дипломатическом багаже? Разве они не содрали гнилые одежды и не открыли правду? Содрали, конечно, но жизнь прекрасна и удивительна, да и дел у партайгеноссе предостаточно: и в партком ПГУ надо сходить, пожать руку кому надо, сообщить нечто кашеобразное об обстановке в партийной организации, осмыслить речи коммунистов на собрании и их свежие предложения, освоить тематику для политучебы, а тут еще совещание всех секретарей КГБ в клубе имени Дзержинского, стройный доклад с

³² – Я человек маленький, – повторил он, – И все время думаю о филине.

– Сам ты филин! – сказал Король.

Льюис Керролл .

патриотической слезой самого Андропова.

А наемдни пришлось отмечать день рождения сына секретаря президиума Верховного Совета Георгадзе, зачисленного почему-то в отдел перед выездом за кордон, пригласили вместе с начальником, и даже сам папа пожаловал на полчаса (до его приезда чинно стояли вокруг ломившегося от яств стола, грустно смотря на розового поросенка³³, раскинувшегося, как аристократ, в блюде), но наконец приехал! приехал! всё чинно и благородно, лично чокнулся с папой, сказавшим прочувствованный и очень правильный тост. А какое божественное вино из бочонка, прямо из Грузии...

Так что партайгеноссе – это вам не пороссячья нога, а фигура! Жаль, что из-за этого дурацкого развода пропала транспортабельность, потерялись голубые горизонты, но мужайся, товарищ партийный секретарь, есть много девушек хороших, есть много ласковых имен.

Командировка по кемпингам родины чудесной, по битому стеклу, навозу, глине, канавам, трупам кошек, лужам, когда на все это не обращаешь никакого внимания, если под рукой картошка в мундире, сало, кородряга и любовь

Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм.

И. Бродский

11 июля 1970 года.

Печально было его лицо, провожавшее еще один ускользнувший штраф, милицейский взор вывел путешественников за окружную дорогу и оставил в покое.

Девушка еще не стяхнула с себя сонную вялость, иногда прикрывала свои карие глазки, потягивалась, ерошила волосы, почесывала лодыжки, рассматривала себя в зеркальце, хватала карандаш и рисовала брови, зевала, равнодушно поглядывала в окошко на коробки Химок и обгонявшие автомобили.

Мелькнули кресты заградительных «ежей», у которых фотографировалась пара помятых новобрачных, гулявших с воскресенья и спьяну решивших, не ложась, запечатлеть себя на заре. Играл на гармонии качавшийся призрак в рубахе, вылезшей из штанов, улыбающийся бомбовоз плясал с платочком в толстой, как ляжка, руке, а старушки в шальях вздыхали, тряся иссохшими головками.

Россия-мать.

Названия наших городов и весей таинственны и обаятельны, как солнце, они заставляют срочно тормозить и хвататься за перо.

Проезжаем Спас-Заулок, бесподобный городок. Я хочу писать заумный, длинно-вычурный стишок. Но мешает пассажирка – ножки больно хороши. Привораживают шибко, – хоть на них стихи пиши!³⁴

Мы существуем только в глубине души, все вокруг – мираж, который колеблется в зависимости от нервов, и если влюблен, то симпатичен грозный ливень и грязь, летящая из-под колес охреневшего самосвала, и плевать на то, что сел аккумулятор и нет бензина на колонке, и приходится выпрашивать и неумело отсасывать прямо из бака грузовика, захлебнувшись во время манипуляций со шлангом (сюды бы моих знакомцев из датского правительства), – мир прекрасен, скорее бы добраться до кемпинга.

³³ «Если бы он немного подрос, – подумала Алиса, – из него бы вышел весьма неприятный ребенок. А как поросенок он очень мил!» *Льюис Кэрролл*.

³⁴ И написал. Опасное дело, между прочим, – финал фатален, зато горит красным маком на белой скале.

Дотянули до приветливого в своей ободранности Валдая – словно бывший красавец-мужчина в рубище, – съехали поближе к озеру, маневрируя меж пней и разбросанного ржавого железа, кемпингов нет, поставили палатку.

Подгрэбла старушка с лукошком грибов и предложила калган – панацею от всех болезней. Особенно хорош для закрепления беременности (я вздрогнул). Кроме того, можно пить с водкой, с чаем, подмешивать в варенье, посыпать салат, использовать в качестве соуса к цыпленку «табака», натирать мозоли, чистить зубы.

На озере темнеет поздно, изредка дребезжит мотор лодки, плещет волна. За такие вечера в палатке около озера можно отдать жизнь. Вам, жрущим омаров, этого не понять.

12 июля 1970 года.

Утром рванули в Новгород и быстро долетели до кемпинга, где буйствовала многоязычная орда: отель на колесах с пьяными до чертиков финнами, фургон с английскими школьницами, пара молодых немцев на «мини-фольке», горластые американцы с консервами и банками «жока-колы», и на этом гоготавшем фоне замученная стайка советских туристов, забившихся в угол в ожидании распоряжений начальства (русская дисциплина, замешанная на палке и столь далекая от волонтаристских блужданий индивидуала с Запада), правда, выделялась московская пара, которая тут же надралась и закемарилась в «Волге», повесив на стеклах окошек штаны, пиджак и даже бюстгальтер.

Некий отец семейства – обладатель «Запорожца» скрылся в машине, закрыв себя от мира плотными шторами, забросил антенну на высокий тополь, заперся изнутри, оставив нас догадываться о всех загадках его внутрисалонного бытия по отрывочным звукам Би-би-си. Вражеские звуки мучили меня. Хотелось прильнуть толстым ухом к кузову, всунуть глаз в боковое стекло и узреть рожу, блаженствовавшую в антисоветчине. Хотелось настучать, чтобы его, мерзавца, взяли за одно место, хорошенько допросили бы, привязав к стулу, и отправили бы лет на десять туда, где нет Би-би-си (старик, ты явно перебрал, съешь капусты, очнись, не блей на чужую машину).

Гнус не миловал меня, оскорбляя прекрасную леди своим невниманием, а она мирно спала, вкусно-розовая, не вникая ни джазовым звукам, ни жужжанию комаров, ни суетливым покальваниям вылетающих из меня флюидов. Что было делать бледному рыцарю? Проследовать на задний двор и, свершив вечерний обряд на памятниках старины, куда благодаря Александру Невскому не ступила нога тевтонца, возвратиться в деревянную обитель, где и почтить сном праведника, не забыв приложить губы к холодному лбу красавицы-девицы.

14 июля 1970 года.

А красавица-девица, шемаханская царица (спортивно скроенная, с улыбкой до ушей, располагавшей даже завязанных ипохондриков и людоедов), оказалась в машине, пташкой божьей перелетев из града Копенгагена, где из-за редкой в те времена свободы порнографии высок был чрезвычайно градус любви.

Глаз выдающегося разведчика эпохи пал на гибкую фигурку Тамары, трудившейся в посольстве, еще не подозревая, что всюду страсти роковые и от судеб защиты нет. Разведенный лев щелкал зубами, но счастье было так редко, так тревожно, был дом, а в доме квартира, сырь, кавардак, духота, четыре плаката цветные, четыре глухих окна, иногда зажигалась лампа, сковородка шипела в углу, разномастные фолианты шелестели на грязном полу, во дворе на помойке картаво заливался ничейный кот, взрывался скрипучей октавой продырявленный лестничный ход, ты прибегала тайно, кусались ступеньки зло, и ноготком хрустальным стучала в дверное стекло, стучала грустно, как будто осталось нам пять минут, как будто пустое утро и дворники снег скребут, как будто бы дом мгновенно проглотит сырая мгла, как будто твоя измена шуткой дурной была.

Страждущего льва трепетно пасла датская контрразведка, однажды, когда на «опель-рекорде» цвета средиземноморских водорослей он впервые подхватил смутьянку чувств близ отеля «Ройаль» (конспирация!) и домчал ее до двухэтажного особняка с садом, а точнее, отсека длинного двухэтажного дома, и когда навстречу вышла соседка по саду с двумя детишками, приветливая, как депутация, встречавшая ревизора, и когда мы вошли, вдруг зазвонили телефоны и вскоре дом заблокировали бригады наружного наблюдения (тетка-сука времени не теряла, тут же сигнализировала – а вдруг этот русский преступник зазвал к себе

сотрудницу датского МИДа?), испортили песню, пришлось выйти к машине, взять огонь на себя, потянув за собой «хвост», а девушка тем временем пробралась через сад к калитке и благополучно растворилась во мгле.

...А пока мы бродили по новгородскому Кремлю, долго рассматривали гигантский колокол с барельефом русских великих, зашли в церковь (Тамара щедро подала нищим и застыла, крестясь у икон), потом ели мясо в горшочках и снова бродили по бесчисленным церквям.

16 июля 1970 года.

Несчастья поджидали нас на каждом углу: отсутствие указателей, пустые продовольственные магазины, заправка бензином лишь по талонам, и самое главное, у въезда в город в нас чуть не врезался отец-грузовик, летевший на всех парах по шоссе. Я машинально вывел машину из-под удара, еще не осознав угрозы катастрофы, только минут через пять появилось в брюхе ощущение гибельной тошноты. Фантазия вскоре заработала и произвела на свет расколотые черепа, зевак, рассматривавших еще теплые трупы, добрую старушку, сметавшую веником кровь в кювет...

Случайны рождение и смерть, но есть утешение, господа, есть сладкое (хоть и слабое) утешение, уважаемые леди и джентльмены, ибо сегодня пламень, завтра снег, зерно, консервный нож, мечта, и никуда не уйдешь из дымного мира распущенных молекул, которые группируются и перегруппировываются, и потому: то раб, то морж, то вдруг поэт, то ярость рыцаря, то на Монпарнас бежишь из старого Чикаго, то гибнешь от турецкой пули, то рисом стал – тебя съедает кули, и ты суперфосфат...

Впрочем, я влюблен и черные мысли лишь обостряют болезнь, Тамара смотрит на меня с обожанием (особенно когда я читаю вслух Багрицкого – «Мы ржавые листья на ржавых дубах...»), от литературы она далека, и это прекрасно, все поражает в ней: и жизнь в бедной семье без отца, и ненавязчивое православие, и работа с пятнадцати лет в ателье, и какие-то неведомые, никогда не законченные техникумы, и умение в один момент навести блеск в комнатке или палатке, и улыбка до прекрасных ушей, и милостивый Господь послал нам солнце, оно высовывается из-за туч и нещадно палит, вдруг кокетливо исчезает и подмигивает.

Таллин, гордый и наглый, где колонка со старичком, самолично втыкающим шланг в бак, – не очистили еще эстонцев от западных излишеств!

Мы прошли в малютку-кафе, вокруг сидели грузины и узкие талии (лиц я не видел, возможно, их и не было), зато рожи мужчин были красномясисты и цвели от счастья. Эстонцы отсутствовали в присутствии. Наконец вошел один мутный скелет с копной соломенных волос, презрительно оглядел гудящий Кавказ, заказал кофе, уставился в пропасти глазниц спутницы и замер, наслаждаясь.

Но что я так груб и беспощаден? Ужель столь прекрасен шпион и дипломат, возвращенный на народных хлебах? Почему не уходишь в отставку, герой, почему не займешься делом? Вздыхай, вздыхай, что волею небес рожден в оковах службы царской, что в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес, а на родине всего лишь жандарм.

Вечером ударил по нам эстонский протокол, ударил прямо в кафе кемпинга, изящнейшем сооружении в виде народной избы с мебелью, обтянутой шкурами, как все мы, грешные.

Мы были беззащитны в своих скромных джинсах под взорами швейцара, который зацокал языком, замотал головой, развел руками и захлопнул перед самым носом дверь. Нет! Нет и нет! Еще в плавках явитесь! Аргументы взлетали, как зенитные снаряды, язык плел правду о том, как я входил в лондонский «Риц-отель» в шортах и майке, и кланялись лакеи, и мэтр, как верный пес, летел к ногам с меню в руках. «Слышал об этом, но у нас Эстония», – отвечивал грозный страж.

Тут оказалось, что мы не ели три дня и у меня язва желудка, обреченная открыться, если не будет ужина. «Как человек, я вас понимаю, но как швейцар, – нет», – возразила красномордая бестия, делая попытки вновь захлопнуть дверь. «Вы хотите, чтобы я уехал отсюда ненавистником эстонцев, товарищ администратор?» – запел я, прикидывая, что пора поднять его до «сэра». Он дрогнул: «Вы, наверное, адвокат?» (Я был, как обычно, красноречив.)

«Нет, я журналист-международник», – соврал я, как обычно, честно. Он не расслышал: «Народник?» – это почему-то его сломило (подводник? угодник? пособник гестапо? зеленых

братьев?), дверь скрипнула, и мы очутились в холле. Я не знал, как его отблагодарить, – на такой риск он пошел. «Если публика возмутится, скажите, что мы иностранцы, – зашептал я, вспотев от радости. – Я говорю по-английски и по-французски». – «У нас пограничная зона», – испугался он, но взял свой честно отработанный рубль.

17 июля 1970 года.

У Таллина море лежало под обрывом. В мокрой траве блестели бусинки черники, высоко на сосне одинокий дятел глухо выстукивал свой подъемный марш и плевался корой – это моя голова высунулась из палатки и бешено закрутила глазами, озирая местность. Кофе. Море. Кофе. Хотелось жить дальше и поделиться этой радостью с друзьями. «Друзья, – писал я томительно, и слезы подступали к моим глазам. – Отброшенный судьбою за границы отчизны дальней, слагаю я эти строки, обуреваемый тоской и неизъяснимой любовью к вам, брожу я по эстляндским землям в поисках истины, опух я от мошки, гнуса, подлых комаров, свежего воздуха, завшивел, не меняю носки, не бреюсь и не моюсь, и уже четвертые сутки ничего не ел, кроме листьев подорожника и земляники. Ночами свинчиваю я подфарники с автомашин и продаю их по дешевке в авторемонтных мастерских. Молю вас, друзья мои, вышлите мне денег, если хотите увидеть в Москве мой бледный лик, когда-то столь любимый вами». Я смочил письмо слюной, немного его помял, поставил большую кляксу в конце, размыл ее слезой и заклеил конверт.

Правда, эта разведывательная дезинформационная акция воздействия не имела, и пришлось затянуть пояса.

...Поразительно, но после 100-летнего юбилея даже неудобно писать о Ленине, уж столько понаписали, что не видно каши, одно масло. Но почему, почему в этой палатке захотелось написать о Ленине? Ассоциация с шалашом в Разливе? Вечная благодарность за то, что крестьянин и слесарь папа, попав в чекисты, стал социально значимой фигурой? И я всем обязан Ленину, и я!

Кто-то шевельнулся в кустах, прошелестел газетой и после поцелуя сообщил, что наше правительство сложило полномочия. Сердце запульсировало от этой сенсации, я схватил купленную на почтамте газету, где прочитал об образовании нового правительства. Задыхаясь от волнения, я изучил его неизменный состав. Все-таки великолепная у нас держава, главное, правительства приходят и уходят по законам советской демократии. За это стоило выпить, и мы сварили молодую картошку, очистили домашнюю селедку и провозгласили здравицу в честь столь радостного события. Оказывается, при новом правительстве живется не хуже, чем при старом: «Нет, не из злопыхательства, из тяги к сочинительству пою свое правительство и все его чудачества!»³⁵

Виват!

19 июля 1970 года.

– Степа, ты штаны надел?

– Нет, а что?

– Надень, а то замерзнешь.

Пауза.

– Степа, ты спишь? – снова раздался женский голос из соседней комнаты.

– Нет...

– Степа, а ты Валечке ноги целовал?

– Нет!

– А вчера ты говорил, что целовал.

– Перестань, – ответил Степа, – я хочу спать!

– Я тебя выведу на чистую воду, – не унималась женщина. – И что ты в этой Валечке нашел? Глаза шкодливые, усы до колен, и воняет от нее рыбой и дерьмом. И как ты мог ноги в волосьях целовать? Небось противно было?

– Угу, – ответил Степа, ерзя на деревянной кровати.

³⁵ – О Мышь! Не знаете ли вы, как выбраться из этой лужи? Мне так надоело здесь плавать, о Мышь!
Льюис Кэрролл .

– Брошу я тебя, распутника, брошу тебя, шелудивого гада, обезьяну старую! Ты в зеркало на себя посмотри!

– А что? – встрепенулся Степа.

– Морда пьяная, глаз не видно, губа нижняя, жидовская, висит, задница в дверь не пролезает, из носа вечно льет, уши словно навозом забиты, и как ты только слышишь?

– А я и не слушаю, – обиделся Степа. – Слушал бы, давно бы примусом тебя по балде и уехал бы в Ригу один.

– А ты поезжай, поезжай, – настаивала женщина, – кто с тобой, вонючей развалиной, согласится поехать?

– И согласятся! Многие согласятся! Ничего, что старый, зато при «Волге», с культурным обращением. Вот вчера иду по пляжу, так все оборачиваются, любят, мужество чувствуют...

– Да потому оборачиваются, что в зоопарке такое чучело не встретишь.

Долгая тишина, ровно тикали часы, половицы заскрипели, сонно прозвучали поцелуи.

– И за что я только тебя люблю, пьяницу окаянного? – прошептала женщина за стенкой.

Это штука посильнее, чем «Фауст» Гете, – сказал бы отец народов.

Моя Россия.

Так закончился день. А новый начался с обычного завтрака на траве, и не просто завтрака, а приготовленного на купленной в Таллине газовой плитке с баллонами, преобразившей нашу жизнь, как открытие огня человечеством. Отныне мы стали свободными от столовок, буфетов, от всего на свете. Прощайте, кемпинги, ужины в прибрежных ресторанах при свечах, покойное чтение на диване с кубинской сигарой в зубах! Впереди жизнь туриста-фаната, комары, дождь, пробивающий палатку насквозь, сидение в колючих кустах по нужде, пеньки, превращенные в столики и стулики, вечный страх, что вдруг всунется чья-то пьяная харя и скажет: «Извините, ребята, что помешал, водки у вас нету?» Палатка и еще раз палатка, и гонять и гонять в поисках газовых баллонов, терять колышки, натягивая и снимая брезент, путаться в спальнях мешках, громыхать раскладушками, привязанными к багажнику на крыше. Прощайте, живописные кафешки, отныне мы набиваем сумки-холодильники, мы упиваемся свободой, мы ночуем в глухих лесах. И все это из-за портативной газовой плитки... Прав был Маркс: «Чем меньше вы имеете, тем больше вы существуете».

23 июля 1970 года.

Остановка у райского озера с крохотными домиками на берегу. Мест нет, и маленькая хозяйка кемпинга зла, как цепная собака. Придется дать, подумал я вяло, опыт велик, давал стерлинги и в уборной, и в боковой карман конвертик совал вроде бы в шутку, и слюнявил пальцами, отсчитывая, а агент ворчал, что мало, и целые мешки со златом на тайные встречи привозил (Ночь. Фонарь. Аптека. Лес густой. Авто с потушенными фарами, и я за рулем. На лесной дороге мигала огнями машина генсека, она тормозит, и почти на ходу я бросал в салон миллионы...), и дарил по мелочи «сувениры», и в тайники совал, боясь, что оттуда выпрыгнет тигр, – взятка и подкуп орудие разведки, еще в XII веке до нашей эры лазутчики Иисуса Навина охмурили иерихонскую шлюшку, указавшую, где лучше прорыть подкоп под городскую крепость. А сколько прелести в технике передачи денег! Из рукава в рукав, при повороте за угол улицы, в броске смятой пачки сигарет за поросшую паутиной батарею в подъезде, через перегородку клозета, когда два «орла» обмениваются туалетной бумагой, прямым попаданием в задний карман бриджей, когда монеты звенят, как хвосты золотых рыбок, играющих в пучине...

Так что асу КГБ опыта не занимать, и я развязно подошел к администраторше, у которой при ближайшем рассмотрении оказалась добрая, коровья физиономия.

– Мест нет, – мрачно сказала она. Я растянул улыбку номер пять (для иностранных шифровальщиц).

– Не может быть! Что вы таким плохим карандашом пишете? – И положил перед ней «бик», раритет, мечту заветную любого провинциала.

– Мест нет! – не дрогнула она.

– Я отблагодарю! – улыбка номер шесть (для иностранных премьер-министров).

– Я же сказала: мест нет! – Железо в голосе, и никаких гвоздей. Я вдруг смутился и

засуетился, как торговка на толкучке, увидевшая милицию.

– Пять рублей дам, – зашептал я и дотронулся ласково до ее руки. (Где ты, хладнокровный Джеймс Бонд?)

– Давай хоть двадцать! – Она отдернула руку, почувствовав накал чувств. – Мест нет!

Дали по морде, утереться не успел, вернулся побитым псом к прекрасной спутнице.

Тамара пожала плечами, улыбнулась и пошла в администраторскую. Через полчаса вернулась с ключами от домика.

– Сколько? – обалдело спросил я.

– Ничего.

– Как же тебе удалось?

– Чудак, главное – это нормальные человеческие отношения.

М-да, учиться, учиться и учиться! – прав был Ильич.

25 июля 1970 года.

За рулем я стараюсь не думать. Прекрасная привычка, возвращенная в оазисах служебных кабинетов, не только избавляет от ненужных терзаний совести, но и позволяет сосредоточиться на всех извилинах дорожного грунта. Так мы пролетели Плявинес, ворвались в Даугавпилс и свернули в Зарасай, – мы в грязи позарастали, обрастаем в Зарасае, промчались через Цесис, – в городишке Цесис живет Соня Песис, а потом через Огре, – в городе Огре весело, как в морге, потом через Ливаны, – в городе Ливаны гадят на диваны.

Грандиозно!

Без приключений выехали на проселочную дорогу в поисках озера Свентес, веселый тракторист объяснял путь с упором на местный магазин: «Водка там есть, а на хлеб я не смотрю».

Если Валдай – жизнелюбивая рубенсовская гетера с взлохмаченными волосами, то Свентес – голубоокая красавица Васнецова. Воды его кристальны и на несколько метров видно белое песчаное дно. Вечером, перед заходом солнца, озеро накрыла молочная дымка и стало еще теплее.

26 июля 1970 года.

Возвращение на Родину зачастую приятно: когда вдали ты долго жил и от нее отвык, то даже скорбный ряд могил – как розовый цветник, послушный морж– московский клерк и помпадур-балбес – все мило, сладко, как эклер в «Патиссери франсез»³⁶.

Мы простились с Латвией вскоре после Краславы– живописного городка на берегах Двины, и направились в Полоцк. В местном магазине, подхлестываемый актуальным бухаринским лозунгом «Обогащайтесь!», я приобрел уникальный гарнитур из стола и четырех складных стульев.

Россию, родину мою, я почувствовал в Полоцке у пивного ларька. Неукротимым танком надвинулся на меня мужик, недружелюбно дыша самогоном, сунул в физиономию нечто напоминавшее стрелу с ядовитым наконечником, которые, как известно, восточные славяне настолько успешно применяли против своих врагов, что быстро оказались под властью Речи Посполитой.

«Купи гвоздь!» – прорычал он и шутя нацелился мне гвоздем в глаз. В первый момент, избалованный прибалтийской учтивостью, я сразу не нашел что ответить, но, к счастью, вспомнил картину сюрреалиста Кубина, где доктор забивает гвоздь в голову сумасшедшего пациента: «Что мне, в голову вбивать, что ли?» Это заставило мужика задуматься, и он отвязался.

В ресторане висело объявление, запрещающее полочанам являться в пижамах и майках, у храма висела тяжеловесная надпись: «Пешеходное хождение запрещено!», у выезда из города на дороге мирно писали дети.

Захотелось эклер в «Патиссери франсез».

28 июля 1970 года.

И грянул последний ужин вблизи Смоленска, когда впереди реки можайского молока и

³⁶ Всего лишь кондитерская, а не филиал театра «Комеди Франсез».

огни растленной столицы – палатка уже приелась, в голову лезли ванны с пенистым болгарским «бадузаном», презираемая когда-то широкая тахта, устланная крахмальными простынями, и нормальный газовый огонь, не вытекавший из баллона через микроскопическую дырочку, которую постоянно забивали природные стихии.

Прекрасная дама сделала из палатки храм чистоты, вымыла все и вытерла, превратила в Георгиевский зал, и трапеза была обильна и вкусна, и сладки речи и предвкушенья столичных чудес.

Я люблю комфорт, но, увы, где-то в глубине души таится червь – враг чистоты и порядка, мы не моемся годами, обросли насквозь лишаем и кровавыми зубами ногти яростно сгрызаем, – как же еще объяснить, что в одно мгновение, где бы я ни появлялся, образцовый порядок превращается в хаос, белая скатерть покрывается жирными пятнами, у ног лежат крошки и рыбные скелеты, все вещи меняют свои вековые места, все теряется, скрывается, опоганивается, деформируется, и нет нирваны, и уже не штиль, а шторм...

Первая рюмка прошла легко, как поцелуй в щечку, но вскоре улыбка моей Тамары потухла, глаза заблуждали по палатке, на личике появились скорбные складки – и она зарыдала (слезы скатывались на резиновый пол, иначе бы они прошли сквозь земной шар и забили водопадом в Америке), не в силах сдержать своей горькой печали.

– Ты – грязнуля! – прогремело сквозь слезы, сверкнула молния, от грома с дерева свалился медведь, в голову полетел граненый стакан и врезался в бледный лоб, набив синюю шишку.

Такого рукоприкладства я ранее от дам никогда не испытывал, разве что однажды одна актриса в ресторане Дома кино разбила бокал о мою голову – кровь взбудоражила всех пьянчуг вокруг, правда, виноват был я, ибо сказал, что нет у нее ни воли, ни характера, чтобы это сделать, да еще поспорил, провокатор³⁷.

Возвращение в Москву напоминало жизнь: машину вдруг затрясло, постепенно стали отвинчиваться разные детали (особенно запомнилась некая «бобина», повисшая грустно на проводах), затем вышла из строя коробка передач, и я ехал только на третьей, дрожа перед светофорами – только бы не красный! – в пути нам помогали советом, о причинах вибрации горячо спорили, к гаражу подтянули на тротуаре.

Через несколько дней мы подали документы в загс, и прожили счастливо десять лет.

И будут ангелы летать над вашим домом.

Неужели дурак?

Москва, 1969 – 1976

Заслуживает внимания тот факт, что, владея обширным земным плоскогорьем, где много чистых источников и густолистных деревьев, они предпочитают всем скопом возиться в болотах, окружающих снизу их территорию, и, видимо, наслаждаются жаром экваториального солнца и смрадом.

Хорхе Луис Борхес

³⁷ Спустя много лет моя физиономия приобрела привлекательность мишени, ибо уже после отставки бит я женами был по крайней мере дважды: первая – Катя вдруг взяла меня за щеку и продырявила ее ногтями, а нынешняя – Таня, вроде бы самая кроткая, после выхода из ресторана, когда по лондонской привычке я зашел во двор, вдруг толкнула меня в помойку, куда я и рухнул, испортив французскую дубленку, – страдала потом, ведь дубленка после чистки села.

«Обращайтесь со мной, как со своим рабом, – без пощады, без жалости, и я полюблю Вас за это еще более страстно... Приходите же поскорее в мехах и с хлыстом.

Ваш преданнейший Захер-Мазох.

(Из «Исповеди» Ванды Захер-Мазох.)

Ладно, ладно, думал я, Бог с ними, с разводом и потухшей карьерой, не сошелся свет клином на КГБ, надо писать, надо затмить Юлиана Семенова невиданными откровениями прямо из недр секретной службы (я не представлял, насколько беспощадна цензура).

Родился сценарий фильма о разведчиках, с названием из Уитмена, которого вроде бы любил Сын Сапожника: «Горит наша алая кровь». («Мы живы, горит наша алая кровь огнем неистраченных сил», – где-то вождь процитировал эти строчки в подкрепление тезиса о могуществе большевиков.)

Герой, расставшись с любимой, уехал в Испанию на войну с Франко, потом Отечественная и подвиги в немецком тылу, а после войны нелегальная жизнь в Англии, где, рискуя жизнью, герой спас из когтей британской разведки старого друга-профессора, естественно, рассеянного, как повелось у нас со времен Тимирязева, но тем не менее женатого на бывшей возлюбленной героя. Чем не шекспировские страсти?



Прототип с сыном Сашей, женой Тамарой и отцом. 1971 год, г. Москва

Вскоре явилась на свет суровая проза: повесть «Belle amour» – там чекист-бизнесмен соблазнил жену лорда, но настолько вжился в роль, что намертво влюбился, а в результате погиб одноногий нелегал, храбрец и орденоносец Генри, тоже трудившийся в тылу врага со времен Испании.

Тема испанской войны и особенно подвиги добровольцев меня всегда волновали, я чувствовал, что те люди были искренни, начинены романтическим порохом, солидарны. Это подкрепляло мысль о жизненности коммунистических идей, и Великая Иллюзия, уже сгоревшая в пражских кострах, порой снова выныривала из глубин и щекотала нервы.

Все шедевры я относил другу дома Виктору Николаевичу Ильину, секретарю Союза писателей, причем не по каким-нибудь, а по оргвопросам.

В боевые тридцатые годы отец работал с Ильиным в СПО (секретно-политическом отделе) и в 1937 году загремел в тюрьму за «троцкизм», а на самом деле по абсурдной причине: приятель его – директор завода после допроса на Лубянке шмякнулся с лестницы вниз (тогда еще Система не успела всего предусмотреть и пролеты в железные сетки не затянули) и, умирая, почему-то назвал имя отца, которого тут же и взяли.

Как гласит предание, Ильин, дежуривший однажды по СПО, зашел к шефу, кажется, Молчанову, с отцовским делом и умело его доложил: мол, какой он, к черту, троцкист, если толком не знает, кто такой Троцкий, это и на политзанятиях чувствовалось. Молчанов дал команду, отца выпустили, выгнали из органов, но пристроили в Киеве уполномоченным по мерам, весам и измерительным приборам.

История Ильина описана и Солженицыным, и Войновичем, и многими другими, в 1942 году его на девять лет засадил в одиночку шеф безопасности, его близкий друг Виктор Абакумов (в конце жизни Виктор Николаевич говорил: «Знаешь, сейчас мне кажется, что Витя просто хотел спасти мне жизнь, поэтому он не допускал ни суда, ни следствия – иначе бы меня точно расстреляли!»).

Ильин пришел к нам в Москве году в пятьдесят четвертом с выпавшими зубами, тогда он работал прорабом, но вскоре, как бывший куратор культуры в ОГПУ-НКВД, комиссар второго

ранга (по-нашему, почти генерал-майор), человек начитанный и умный, был брошен на разноликое писательское стадо.

Пройдя тюрьму, Ильин остался коммунистом (думаю, что искренне, хотя с началом перестройки у него появилось много сомнений) и патриотом органов, любил вспоминать службу в кавалерии во время гражданской, наша семья традиционно посещала его дом в день рождения, где отец, чуть выпив, радовал гостей своим приятным тенором («Не счесть алмазов в каменных пещерах» и даже «Пока земля еще вертится» Окуджавы – отец шел в ногу со временем).

Публика у оргсекретаря собиралась солидная: барственный и хитрый С. Михалков, весь в себе С. Наровчатов, светский Гофман и вкрадчивый Алексин, из старых чекистов бывал генерал Райхман, бывший заместитель начальника контрразведки, сидевший и при Сталине и при Хрущеве (уже при перестройке мы с ним, будучи соседями по району, иногда гуляли вокруг Миусской площади, «Умнейший был человек Лаврентий Павлович!» – говорил он), Норман Бородин, видный контрразведчик, тоже порядком отсидевший, – в общем, у Ильина собирались и таланты, и поклонники.

Придворные литераторы не вызывали у меня интереса, с ними все было ясно, а вот старые чекисты гипнотизировали: верили ли они в Идею или подчинялись духу времени и притворялись? Если верили, то откуда почерпнули такой фанатизм? Самое интересное, что большинство были бедны как церковные крысы и равнодушны к деньгам, зато от корки до корки штудировали газеты и обожали спорить о политике.

Бескорыстие всегда подкупает, но, услышав слова о преданности идеалам Октября, я начинал задумываться: если это искренне, не страшная ли это мистическая игра со своею собственной душой? А может, они просто так запуганы, так сломлены прошлой жизнью, настолько привыкли жить в двух измерениях, что не могут быть искренними?

Если бы это были идиоты, но нет, это были умные люди, пережившие и гражданскую, и Отечественную, и все кровопускания... Как легко они говорили: «его расстреляли», или «он отсидел двадцать лет», или со смехом: «Он вдруг подошел к арестованному Ягоде и дал ему по морде». – «Вы с ума сошли, вас же расстреляют за рукоприкладство!» – возмутился Генрих. «Вчера пришло указание товарища Сталина о применении физических мер к врагам народа... Ха-ха»³⁸.

Ильин отправил мои труды на суд приближенных литераторов, я побывал у Наровчатова и у двух-трех прозаиков, о которых и не слышал. Все были приторноделикатны, особо не ругали, но и не восторгались. Надавали массу мудрых советов – на этом дело и закончилось, от всех литературных ворот я получал отворот.

В утешение Ильин выдал мне пропуск в Центральный Дом литераторов, что еще больше подогрело литературное тщеславие. Медлительные, с чувством достоинства писательские трапезы, – вот у коктейльной стойки махнул рюмку коньяку толстый, но изящный Семен Кирсанов! вот вошел восхитительный Вознесенский, исподлобья осматривая зал, а вот Евтушенко сдает в раздевалку волчью шубу.

Юрий Левитанский, без восторга читавший мои стихи (впрочем, он и к другим поэтам относился спокойно), советовал мне вжиться в литературную среду, ибо такой цветок, как я, не мог произрастать на нетворческой сухой почве без ежедневного полива из писательской лейки. Легко сказать! Это означало смену работы. Шило на мыло?

Я решил опробовать новые жанры и ударился в пьесы, они писались с необыкновенной легкостью, вроде бы я говорил сам с собою: «Почему ты такая бледная? – Посмотри на звезды... какая синяя сегодня ночь. Ты любишь меня? – Тебе холодно... (снимает пиджак)» – я сравнивал свои пьесы с Арбузовым и Зориным и решил, что их просто ставят по блату.

Пьесы читал друзьям и знакомым, не скупился на выпивку, чтобы слушали, многие честно засыпали, а потом хвалили, другие отделивались шутками.

Однажды, когда Левитанский прошел в ресторан «Шереметьево» через таможеню и

³⁸ А вдруг нет никаких загадок и все просто, как по Альфреду Розенбергу: «Жизнь подобна марширующей колонне. Не важно, в каком направлении она идет».

пограничников, предъявив лишь свой сборник с портретом (иного пути добыть водки в тот ранний час не было), я понял, что графоманство не отпустит меня никогда, солженицынский глас ревел с небес: «Писатель – это второе правительство».

Так бы и стучать-постукивать дятлом в одну точку³⁹, пробивая в печать то стишок, то рассказик, а там и пьесу проклянуть, потом написать прошение об отставке, уже сидя на золотых мешках с гонорарами, и начать честную жизнь труженика пера, ан нет! всемогущий бес-искуситель, не желал он выпустить меня из своих когтей, из обеспеченной жизни в дурманящую неизвестность, наоборот, манил все новыми искушениями карьеры⁴⁰.

Не желая отстать от ЦРУ, разведка вознамерилась построить свою мощную автоматизированную систему управления для информационного и оперативного обслуживания своих деяний, – в то время такие системы бурно входили в моду во многих министерствах с благословения энтузиаста кибернетики академика Глушкова, невежество в этой области стояло густым туманом: большинство считало, что АСУ сами будут решать проблемы, а у чиновника появится еще больше времени на кофе и треп.

И опять меня совратили: предложили золотое место заместителя начальника отдела мне, разведенному и нетранспортабельному, – я прыгал через должность и выходил в начальники, в нижний слой кагэбэвской номенклатуры.

Моя должность дарила святое право входа в начальственную столовую, где было не самообслуживание, а внимательные официантки, кормили там не лучше, но зато вокруг сидел весь цветник ПГУ – и сам Крючков с замами у стены за специальными столиками.

Кроме того, получил талончики в ателье и в спецмагазин, где парные молоко и цыплята из подсобного хозяйства (скорблю горько, что так и не посетил его с бидончиком, любясь одухотворенными лицами в очереди), – все это грело сердце, господа, и вообще приятно ощущать себя хоть немного, но выше других, осознавать принадлежность к правящей касте, все-таки верно, что жажда власти и тщеславие движут нами, грешниками.

Мое триумфальное возвышение в совершенно иные сферы имело изъян: в технических науках разбирался я не больше, чем баран в Гомере, с арифметикой расстался навсегда еще в средней школе (как складывать и вычитать, еще помнил, но убей, не смог бы извлечь корень), компьютеров и в глаза не видел, о кибернетике лишь слышал, не особенно веря в обещанный ею рай.

Дабы не выглядеть полным идиотом в глазах подчиненных, я тут же стал глотать Винера и разных популяризаторов, но все равно, подписывая бумаги, понимал не больше половины.

В создании славного АСУ слились, остервенело сражаясь друг с другом, два антагонистических потока: психологи, технари-системщики, математики и программисты, ничего не смыслящие в разведке, но готовые полностью ее автоматизировать, и умудренные опытом профессионалы.

Первые представляли разведку как молочный завод, которым можно управлять с помощью АСУ, пристроив куда-то на третьестепенные роли самих исполнителей – разведчиков, последние же либо вообще не понимали всей затеи, либо, в лучшем случае, сводили ее к упорядочению архивов и замене картонных досье и цыганских игл на нечто современное.

Управление создавалось под крылом шефа разведки Федора Мортина, волевого начальника сталинского типа. Мортин был импульсивен, мягок, даже непосредствен и питал слабость к свежим идеям (особенно когда ими уже был озарен ЦК).

Незадолго до нового назначения вместе с небольшой группой избранных я побывал у него на совещании, где пытались реализовать совершенно убойный план: создать на лето в соцстранах, где имелись курорты, специальные резидентуры, дабы не пропустить мимо сетей разведки сонмы иностранных туристов. Мне досталась должность «запасного резидента» в

³⁹ никоим образом не хочу обидеть дятла, правда, говорят, что от стука у них быстро изнашиваются мозги – тогда они и влетают в помещение, чтобы проткнуть клювом полковника.

⁴⁰ Бес ли это или ангел-хранитель?

Варне, однако основной резидент просидел в Золотых Песках все лето, борясь на пляжах с империалистами, и оставил меня с носом – кстати, на подобных планах КГБ паразитировал вплоть до своей кончины.

И вот новое узкое совещание с потоком предложений для облегчения трудов шефа разведки. Мортин слушал замороженно, чуть приоткрыв рот и изредка одобрительно кивая головой, хотя по виду его очевидно было, что он ровным счетом ничего не понимает, как и большинство присутствующих оперативников⁴¹.

Бушевали фантазии вокруг политической карты мира, висевшей в кабинете: ее сулили превратить в огромное табло с выходом на многочисленные информационные системы, автоматически отражавшие все события в мире, даже кризисные ситуации в «горячих точках». Докладчик рассказывал, как будут вспыхивать на карте черные и желтые лампочки, как побежит по табло текст, шеф морщился и напрягался, когда на голову валились словечки «система», «подсистема», «ТТЗ», «циклы», «экстраполяция», «алгол», но честно слушал и не перебивал.

Мортин поинтересовался, не уменьшится ли поток документов ему на подпись (этими монбланами давно замучили всех малых лидеров, не говоря о вождях), но его тут же оглушили перспективой хранения документов в памяти ЭВМ, селекцией их согласно программе, ну и, конечно, автоматическим принятием управленческих решений.

Узнав, что, по всей видимости, ему вовсе не придется подписывать документы, Мортин насторожился и стал призывать к малым шагам и постепенности.

Не отставали от системщиков психологи, обеспокоенные недостаточной одухотворенностью сотрудников, выезжавших за рубеж в окопы холодной войны, они требовали, чтобы шеф разведки принимал каждого (!) лично, благословлял на ратные подвиги, создавая мощную мотивацию, причем у красного знамени, которое надлежало целовать под звуки гимна (хорошо, что не похоронного марша Шопена).

Спустя много лет, вскоре после августа 1991 года, когда мне довелось вновь побывать в этом кабинете в качестве журналиста, я с удовольствием увидел, что в нем ровным счетом ничего не изменилось, и карта висела прежняя, и даже необычно по-домашнему в приемной прыгали в большой клетке симпатичные попугаи, своего рода вызов всеобщей компьютеризации.

В новом управлении много внимания уделяли прогнозированию – ахиллесовой пяте любой разведки, тщательно штудировались многочисленные американские методики прогнозирования, одна мудренее другой, но я в них не верил: разве они могли заменить обыкновенные мнения умных людей? Видимо, я принадлежал к породе агностиков, верующих в Судьбу, и расчеты безошибочных машин меня просто пугали, как антиутопии на темы научно-технической революции⁴².

Как беспомощному гуманитарии, мне поручили участок оперативного освоения современных достижений (именно так это звучало!) психологии и социологии, к психотропным средствам и «психушкам» это отношения не имело – речь шла о вполне уважаемом вооружении сотрудников разведки некоторыми основами науки.

Позднее у бывшего сотрудника ЦРУ Маркса (везет же на фамилии црувцам!) я прочитал, что там еще в пятидесятые годы с использованием таблеток и других средств пытались управлять поведением человека. Таких мыслей у нас не было: за границей разведчик не может позволить такие экзерсисы – нереально и рискованно, хотя дома... дома все возможно.

Мы металась по Москве, консультируясь у известных профессоров, пытаясь прежде всего уяснить, что такое психологический портрет и каким образом собирать информацию о

⁴¹ – Но интересно, на какой же я тогда широте и долготе? Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.

Льюис Кэрролл.

⁴² Как мудр Набоков: «К счастью, закона никакого нет – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая...».

личности, ибо из-за непопулярности психологии и неподготовленности разведчиков в оперативных досье превалировали крайне общие характеристики типа «имеет хороший характер».

Курьезных фантазий имелось предостаточно. Один кандидат наук, трудясь ранее у пограничников, совершил открытие: оказалось, что бдительность сидевших в кустах воинов притуплялась с каждым часом, отсюда необходимость часто менять караулы, а значит, и кардинально расширить службу – пограничное начальство ахнуло, психолога перебросили к нам «на укрепление», это его вдохновило, и свое стройное, как теорема Пифагора, учение >н активно перенес на разведку, где дела обстояли драматичнее, чем у пограничников, ибо разведчик, приравненный к пограничнику с Джульбарсом в кустах, находился в напряжении гораздо больше и, допустим, на явку с агентом выходил и после работы по прикрытию, и после интенсивной проверки на обнаружение пресловутого «хвоста». Разве КПД от встречи с агентом не падал резко вниз после таких пертурбаций? Что мог при таком ужасном стрессе впитать его мозг?

Предлагалось изящнейшее решение: в день встречи освободить разведчика от всех нагрузок, дать ему хорошо поспать, не требовать выхода на работу к девяти утра, не снимать с него стружку накануне и, конечно, за рулем во время проверки должен находиться другой, а самому герою дня полезнее дремать, собираться с мыслями и даже не смотреть на дорогу. О, вечно зеленое дерево жизни, смеющееся над сухой теорией!

Несколько лет я крутился в этом славном управлении (как ни странно, не угодил в больницу им. Кащенко) и весьма нахватался новых знаний, особую радость доставляли американские методики изучения личности с помощью «детектора лжи», с фрейдистскими вопросиками о запоях дедушки или о том, какие мысли роятся в голове при виде трещин в тротуаре, – на эту тему я даже создал бредовую пьесу.

Я не пишу историю организации, я пишу о себе и не собираюсь выдавать субъективные вспышки сознания за летопись, поэтому, дабы не выглядеть трухлявым ретроградом, лишь замечу: несмотря на все издержки, АСУ оказала благотворное влияние на разведку, внесла в нее системное мышление и, главное, подтолкнула компьютеризацию архивов. Конечно, началось все абсурдно, но какая реформа в России когда-либо проводилась нормально?

Сначала наше управление располагалось в самой гуще Москвы, однако вскоре ПГУ мирно перебралось в загородные хоромы в Ясенево, – все были повергнуты этим великим переселением в смертное уныние: приходилось просыпаться рано, словно на дойку коровы, любой отъезд в Москву упирался во время и транспорт, и не спасали ни лес, ни речушка, ни бассейн, ни просторные кабинеты (впрочем, вскоре их стало не хватать, начался новый цикл строительства), как всегда народ роптал, начальство, летавшее с водителями на «Волгах», не обращало на эти вздохи внимания и вскоре отстроило себе рядом служебные дачи, с тем чтобы не расставаться друг с другом ни после трудов, ни в выходные, ни днем, ни ночью, никогда.

Боже, какая скука, как уныла жизнь, как одинакова, начиная с рева будильника ровно в семь. А разве не ужасно каждое утро рассматривать, сидя на стульчаке, один и тот же плакат, приклеенный скотчем к кафелю туалета? На картинке изображены торчащие из унитаза ноги в отглаженных брюках и черных штиблетах, туловища не видно, зато из бачка высовывается бородатая морда в очках. Пора на работу – зачем? не опоздать бы на спецавтобус – иначе ведь не добраться до нашей деревни, овсянка, кофе, улица, толпа, метро, спецавтобус, пропускной пункт, рукопожатия, служба, сейчас бы пива, но какой-то пентюх кандидат наук залез в кабинет, воняя ножным потом, размахивает руками и упражняется в элоквенции по поводу моделирования оперативной деятельности, о которой он читал в «Шпионе» Фенимора Купера, сейчас бы пива или холодного шампанского, чтобы умереть в Баденвейлере, прошептав «Ich sterbe», сейчас бы пива, и напялить никербокеры, и отправиться играть в гольф в Ричмонд-парк, сейчас бы на север...

Хотел на север, но начальство вдруг направило в командировку в Бейрут, дабы я взглянул на деятельность резидентуры с вершин Нормана Винера – мой первый вояж на Восток: Бейрут еще сиял, но лагерь с палестинцами, вооруженными «Калашниковыми», предвещали недоброе, война была на носу, и это у теплого моря, где через полчаса снежные горы и лыжи.

Меня сводили на восточный стриптиз с юной египтянкой, окруженной важно сидевшими

слонятами, – там были не изможденные европейские девки с синевой под глазами, это было почище всех АСУ!

Красавица закончила танец, сорвала подвязку и швырнула в зал, попав прямо на наш столик (видимо, так задумали в ЦРУ), этот волшебный дар, пахнувший миром и какими-то томящими, заглатывавшими с потрохами ароматами, я привез в Москву и положил в вазочку на холостяцкой квартире у отца, мы нюхали подвязку много лет, давали нюхать гостям – так и не вынюхали, запах был, каррамба, неистребим.

Усните с Богом, господа.

Командировка в царство Бахуса, где бедолага-шпион пьет ноздрями, надирается, как зюзя, тискает девиц в фотографии, продевает бечевку в шаровары, проводит сто вербовок, включая Питера Брейгеля, делает жаркое из своих ушей и даже под пытками не выдает секрет приготовления кородряги

Ах, если в голове покойной
Иссохнет мозг – каким добром,
Как не божественным вином,
Нам заменить его достойно?

Петр Вяземский. Стихи, вырезанные на мертвой голове, обращенной в чашу

Когда же я напился в первый раз? Когда же свершилось это чудо и кругом пошла голова? Когда же вещей мой язык впервые затрепетал оживленно и начал выпускать из уст умную дурь? Когда же провалилась земля, налились ноги невыносимым чугуном, а выя с привязанной к ней мордой – кровью? Когда же из разверзнутого рта, как из пасти огнедышащего дракона, полилась вонючая лава?

Не в счет птичьи пробы из родительской рюмки во время домашних застолий, не в счет и первая бутылка вина со странным названием «медос», распитая в третьем классе с приятелем на Стрыйском рынке во Львове, – хохотали мы дико над дурацким названием, и лишь через десятилетия, отведав вволю из западных чаш, я обнаружил, что это не мед, который по усам течет и в рот не попадает, а прославленные французские виноградники.

Пожалуй, где-то в классе четвертом грянула первая масштабная пьянка, развернулась она в горных массивах, что высились напротив львовской госбезопасности, и по той счастливой причине, что в нашем классе тихо и незаметно трудился племянник директора спиртозавода. В те времена, когда вокруг сверкали погоны, гремели ордена и обком поднимал из руин производство, о такой должности и упоминать было неприлично, но племянник по глупости проговорился, был взят за бока и раздобыл драгоценного спирта, который мы, великолепная пятерка, особо не мудрствуя, рванули прямо в куцах – веселие стояло неправдоподобное, но вскоре все мы, воздвигаясь и рушась, поднимаясь и опускаясь, замерли в неестественных позах на поляне. Будучи уже тогда Гераклом, я, как положено даже раненому разведчику, дополз до своих окопов, позвонил из телефонной будки отцу и танцующим языком объявил о местонахождении. Время во Львове стояло боевое, постреливали бандеровцы, и на мой сигнал из местного «Смерша» вмиг примчался дежурный «виллис» с вооруженными чекистами, нас сложили в одну кучу и развезли по еще не поседевшим от горя родителям.

Слава отцовскому «Смершу», творившему добрые дела в красивом желтом здании на вулиці Кадетской, а потом соответственно Гвардейской, усаженной роскошными каштанами! Прежде в доме том размещалось гестапо, и долго в стене его зияла выбоина с хищным орлом рейха, она вызывала у меня обидные чувства, даже когда ее зацементировали и покрасили: еле заметное гестаповское пятно унижало славный «Смерш», предававший смерти всех шпионов, разрушавших страну Ленина – Сталина.

В «Смерше» мне нравилось все: трофейные машины отца («ауди», «хорхи» и «опели»),

ладные офицеры в гимнастерках с кобурой, из которой высовывалась рукоятка «вальтера» (эта марка была в моде), седой генерал, открывший день рождения отца словами: «За юбиляра мы еще выпьем, а сейчас давайте поднимем тост за товарища Сталина!», любил я и увитый плющом особняк с часовым у ворот, яблоневым садом и овчаркой Дик, там я безжалостно расстреливал ворон и воробьев из духового ружья, и Дик приносил их к моим ногам, словно вальдшнепов на охоте в Шотландии, верно смотрел в глаза и азартно вертел хвостом.

В особняке нашем веяло благополучием ограбленного курфюрста: внизу – черного дуба огромная столовая, тяжелые резные буфеты, «горка», наполненная фарфором и безделушками, необъятный стол с кожаными стульями – надо всем ослепительная хрустальная люстра, словно из венской оперы. На втором этаже спальня из карельской березы (вытащили ее прямо у какого-то чина гестапо, вообще гестаповское имущество органы считали своим, как наследство почившего родственника), полный комплект семейного счастья. Наконец, кабинет барчука: английские напольные часы, стол из красного дерева, китайские вазы, статуэтки и бюсты, изображавшие людей из чуждой несоветской истории (особенно запомнились белые бюсты польского маршала Понятовского и большегрудой дамы, которая потом оказалась богиней Дианой), довольно мощная библиотека (мальчика из простой, но престижной семьи готовили в интеллигенты), там классики марксизма-ленинизма и красный-красный Шишков (его Анфиса долго меня волновала, но я не опускаюсь до признаний Руссо), соседствовали с «Очерками секретной службы» полковника Роуэна, «Совершенно секретно» Ральфа Ингерсолла и настольной книгой, разосланной в управления военной контрразведки по личному указанию Виктора Абакумова – «Тайная война против Советской России» коммунистов Сейерса и Кана, сделанной ими по заказу Москвы.

Атмосферу интеллектуальности, чуть подпорченную рококо, несколько подрывала деревянная кровать (естественно, тоже красного дерева) с голубым стеклянным глазом на спинке⁴³.

Дружил я и с папиными ординарцами, лелеявшими барчука не хуже английских гувернеров, хлебное место денщика ценилось высоко, особенно в первые послевоенные годы, когда начальники отправляли слуг на Запад в командировку за трофейным барахлом.

Каждый ординарец имел чемоданы, по которым я тайно лазил, они были набиты часами, фарфором, одеждой, ботинками, бельем (все для дома после демобилизации), но особенно привлекали меня пистолеты, которыми можно было всласть поиграть, вынув пули, особенно нравилось изображать самоубийцу и картинно пускать себе пулю в висок перед зеркалом, перед этим, естественно, подстрелив нескольких нападавших фашистов.

Однажды после щелчка в висок я прицелился в чемодан ординарца, видя в нем вражеский танк, вдруг пистолет бухнул, оказалось, что мой наставник добыл патроны и зарядил браунинг, целый месяц он тяжело вздыхал по поводу этого эпизода, больше всего печалило его, что пуля пробила три пары новых полотняных подштанников.

Ребенок я был общественно-деятельный и уже тогда склонный к руководящей работе: энергично сколотил тайный отряд из пяти человек, получивший название «ПОИЛ» – Пионерский отряд имени Ленина, – естественно, командиром назначил себя и лично выписал всем документы. Отряд вел разведку в оврагах, тогда существовавших у Стрыйского парка, но в основном в полном составе курил до одурения краденые у родителей папиросы на чердаке, оборудованном под штаб.

Иногда в нашем особняке собирались гости, тогда отец просил меня прочитать по-немецки ненавистного «Лесного царя» Гете (единственное, что я знал) – чекистов мое вундеркиндство приводило в восторг, до сих пор помню, как тискал меня упившийся

⁴³ Сын советского контрразведчика жил получше маленького лорда Фаунтлероя («Когда грум вывел красавицу-лошадь, круто сгибающую свою темную гляцевитую шею... Фаунтлерой был в восторге, садясь на пони первый раз в своей жизни. Конюх Уилкинс стал водить лошадь под уздцы взад и вперед перед окнами библиотеки»), на лошадях, правда, не катался, зато разъезжал в открытом бежевом «ауди» не с конюхом, а с солдатом-шофером, однажды слишком по-барски открыл дверцу, и она оторвалась, пришлось сменить «ауди» на «опель-капитан», «ауди» тут же выбросили на свалку: трофейный парк был переполнен.

красноносый генерал в красных шелковых кальсонах – эта трофейная роскошь весьма отличалась от ординарских подштанников и сеяла сомнения в том, что все люди равны.

Через год-другой после смерти матери отца начали посещать дамы – сначала он меня с ними даже не знакомил. Особенно интриговала меня парикмахерша, которая стригла его на втором этаже при закрытых дверях, несколько раз я пытался подсмотреть в щелку, но папа, как опытный чекист, ключа не вынимал. После ухода дамы папа громко просил домработницу вымести волосы, что, впрочем, меня, уже прочитавшего «Декамерон», совершенно ни в чем не разубеждало.

Вскоре дамы появились как официальные гости, они ахали, ослепленные мореным дубом, рассматривали стены с изображениями райского сада, где меж роз и пальм бродили павлины и жар-птицы (сделал это старый поляк, пользуясь трафаретом), уминали яства за столом, потом мы все играли в «кто больше назовет великих людей или городов на такую-то букву» (тут всегда выигрывал я, ошеломив всех своей эрудицией), пили вино и чай, а иногда я показывал дамам свою фотолaborаторию – отец подарил мне ФЭД, выделил довольно просторное помещение рядом с ванной – горел красный свет, от дам пахло безумием любви, иногда я прикасался к их теплым телам и совсем изнемогал от вожделения, страсти волновали меня, однажды я пристал к лежавшей в постели домработнице и прыгал на ней, пытаясь совратить, она хохотала, как Перикола в оперетте, и это вместе с пропитавшими ее запахами любимых семей щей живо остудило мои чувства.



Саша в предчувствии славы «Взгляда». 1972 год, г. Москва

После смерти матери отец начал брать меня с собой на юг в отпуск – событие в жизни эпохальное: «дугласы», заезд в Москву (сохранял билеты в планетарий, МХАТ и ЦПКиО им. Горького, чтобы потом хвастаться перед одноклассниками), посещали и старых знакомых (они вспоминали маму, и мне было больно: я не верил, что она никогда не вернется), в гостях однажды мне дали посмотреть альбом с марками, английские колониальные с невиданными зверями так искусили меня, что дрожащей рукой я незаметно⁴⁴ выдрал штук десять – так формировался будущий мастер по краже секретных документов.

Из Москвы вылетали в военные или эмгэбэвские санатории (детей туда не пускали, и папа пристраивал меня в домиках служащих), особенно любил я огромный санаторий им. Ворошилова в Сочи, славившийся своим фуникулером.

⁴⁴ Как мне казалось.

В белой пижаме санатория (тогда криком моды было расхаживать по городу в пижамах), чуть надменный, прикрыв такой же белой панамой свой высокий лоб, шагал я вместе с отцом по Сочи, поглядывая свысока на непижамный люд. Отец, правда, пижамы не жаловал и носил белые брюки с полотняными ботинками, которые чистил зубным порошком, меня они приводили в восхищение, и я упросил отца купить мне такие же.

В то незабываемое время покоряли мускаты, отдегустированные в погребках, они обволакивали рот и пахли экзотическими странами, хорошо пились они в сиемизском доме отдыха, где отец в начале тридцатых годов познакомился с сотрудником ГУЛАГа Абакумовым. Красавец Виктор Семенович, блестяще игравший в теннис и попутно разбивавший дамские сердца, настолько очаровал папу и его друга, что, прибыв в Москву, они уговорили шефа секретно-политического отдела вытянуть Абакумова из ГУЛАГа в отдел на пост делопроизводителя, что тот и сделал, обогатив секретные службы и русский народ. Вот она история – и не стоит вечно искать тайных пружин и глубоких корней! Абакумов вымахал в шефы «Смерша» и госбезопасности, к отцу он благоволил, но генералом не сделал, ибо для этого папино дело нужно было нести в ЦК, а оно с изъясом: почти год в тюрьме. Во время войны мама ходила на поклон к Абакумову (какая-то бытовая просьба), а я ожидал ее в приемной на Кузнецком. Мама вернулась очень довольная и заметила, что Витя совсем не изменился, по-прежнему добр, любезен и красив. (Единственно плохое, что я слышал от отца об Абакумове, было уже после ареста: во время обыска у него нашли чуть не пять костюмов.)

Между Абакумовым и прелестью пьянства лежит целая пропасть (устланная костями), посему переберемся в Куйбышев (1949 год), уставленный пивными ларьками, где торговали и водкой (естественно, наливали в граненые стаканы), и пивом, кроме того на спуске от Куйбышевской к Волге функционировал магазинчик узбекских вин, там продавали «Салхино» и прочие вязкие и сладкие напитки, выковавшие у меня такое же устойчивое отвращение к крепленым винам и ликерам, как и к опере, что, по-видимому, несколько оттянуло роковой визит старика-цирроза.

С этой забегаловкой связано первое разочарование в человечестве: тренер нашей школьной волейбольной команды Миша устроил меня судьей на соревнованиях, за что впервые в жизни я получил скромную сумму, казавшуюся состоянием. Естественно, я пригласил Мишу на стакан и там состоялся следующий диалог: «Деньги получил? – Получил... – Давай их сюда!» Я легко отдал, Миша запрятал все в карман, купил мне стакан «Салхино», мы тяпнули за успех, и он удалился, сунув мне три рубля, на которые я купил портсигар с тремя богатырями, написал «Хранить, но не курить» и вручил некурящему отцу, тут же от счастья отвалившему мне на карманные расходы.

Но каков Миша! Отнял – и все.

Бури студенческих лет.

Пьянки в Тестовском поселке, куда в 1954-м переехал из Куйбышева ушедший на пенсию отец (набросив халаты, спешили в плавках и даже халатах в пруды), пили в «Авроре» (потом «Будапешт») с чучелом медведя в фойе (каждый пьяный так и норовил его либо под ручку взять, либо нахлобучить шапку, либо всунуть сигарету в пасть), пили на Речном вокзале (орали перезрелые цыганки, и пьяный друг читал на весь зал меню под аплодисменты публики), надирались в «поплавке» близ «Ударника» (вынули железные прутья, на которых крепились занавески), веселились на верхотуре «Москвы» и там сломались (на Горького перебитый боец вдруг поднял в воздух случайную даму и выжал ее, как штангу, на вытянутых руках).

Во время летних каникул выезжал в Хосту или Ялту, медлительные прогулки по набережной а la aherche du temps perdu – несколько стаканчиков сухенького прямо у киоска, а потом топанье за миловидными, запахи моря и роз, наконец, первое слово (по-лошадиному переминаясь) и в ответ из яйцещипательных уст – кудахтанье, о ужас! увы, секс – это голова.

Уже в конце пятидесятых дохнуло затхлым Западом: заполонил «анизет де рикар», известный народу как перно, то бишь анисовая водка, в смеси с водой она становилась молочно-белой и отменно шла под аккомпанемент Хемингуэя и Ремарка, то на Елисейских полях, то в Монтре, и грубовато-нежное московское «потерянное поколение» мчалось по «Фиесте» на бой быков в Памплону, оттуда в Валенсию на паэлю и затем опять в Париж, где «мумм», без которого плохо Брет и главному герою-импотенту, и до утра в «Максима» за уткой

по-руански с жареными каштанами, разумеется, в сопровождении Эдит Пиаф, Жульет Греко, Далиды, Гертруды Стайн и Эзры Паунда, – сидели, спали, лился кальвадос рекой, и Эзра бормотал красиво о том, что жизнь прекраснейший мираж и сгинет все, что ветрено и лживо, и шар благословенный наш, как колобок, под блюз нью-орлеанский покатится, гонимый суетой, туда, где век другой и бог другой, и это описать... «Ах, Паунд, пошлите лучше за шампанским! Ужели нам писать, не изменив печальных правил общего устройства? Неужто сущность – в прелести чернил?» Уже неслышно распалось войско кутил...

Пьянство требует широких обобщений, причем патриотических, и тут горжусь, что прошел свой пьяный путь вместе с любимой страной и всем народом, прошел и пережил различные исторические этапы: и через завалы водки в магазинах и ларьках (там хорош был прицеп в виде кружки «Жигулевского»), через рюмочные, через огромные цистерны с кислым «сухарем» по 20 коп. за стакан, через ужесточения и подорожания, когда хлебали «на троих» в подворотнях, но, конечно, трудно припомнить более кошмарный период, чем перестроечная борьба с пьянством, и не столько из-за дефицита алкоголя, сколько из-за неразберихи, из-за мучительных метаний с пустыми бутылками, которые то принимали, то отвергали, то требовали отдираТЬ все с горлышка, то вообще смывать все наклейки начисто, то – о ужас! – спиртное давали только в обмен на пустую бутылку, которая обычно в тот момент, как на грех, отсутствовала.

Покупая «Кармазин» для своей облетающей головы, я столкнулся с мужиком, который брал целую упаковку, он подмигнул: «Не представляешь, как она идет, если смешать с пивом». Мне было стыдно – таким мерзким интеллигентом я себя почувствовал, будто предал весь народ, используя «Кармазин» по прямому назначению, все мы – коллективисты, в крови это, черт возьми!

Никогда не могло и в голову прийти, что вино начнут выпускать в трехлитровых банках, водку – в бутылках из-под фанты, и, конечно же, даже в самые тяжкие похмельные минуты и мысли не было, что в общественной пивной придется пить пиво не из кружки, даже не из банки, а из бумажного пакета из-под молока, стараясь не пролить на грудь.

Пришли времена свободной торговли, когда все разбавлено, или смешано, или отравлено, когда морочат голову красивые этикетки и чересчур надежные пробки и остается только гнать, гнать и гнать на дому, но беда не только в дороговизне сахара, но и в том, что после долгих лет красивого питья душа не лежит к самогону – ведь, по Гете, «и смех и грех гореть в аду за то, что ты хлебал бурду!». Пить самогон после пушкинского: «К аи я больше не способен, аи любовнице подобен, блестящей, ветреной, живой и своенравной, и пустой»? После мандельштамовского «из двух выбираю одно: веселое «асти спуманте» иль папского замка вино»?

Несчастливая и великая страна, вечно зависящая от воли генеральных секретарей, торгашей и чинуш, воистину великий народ, вынесший и вытерпевший все, неужели он не заслужил Божьей милости?

Душа рвется формализовать весь пьяный процесс, соединить с литературой и искусством, облечь в строгость формул.

Поток кородряжного сознания.

Юность была сумбурной (Бальзак, Шекспир и другие полные собрания + портвейн или водка + «Вольный ветер» или «Отелло» + Перов и Репин), годы студенчества обрели некую колею (Ремарк, Хемингуэй + цинандалы или мукузаны + «Дни Турбиных» в Станиславского + походы в консерваторию по абонементу с разъяснениями о том, что во время «Героической» Бетховена взвод солдат карабкается на баррикаду + импрессионисты и «Юлиус Фучик» кисти юного Ильи Глазунова).

Жизнь под непостоянными Близнецами меняет цвета, как море, жизнь то засыпает в штиле, то разбивается о скалы, вкусы и пристрастия постоянно меняются, а сейчас герой похож на огромный шкаф, забитый самым странным и разным барахлом, там душно от смешений, но не хочется выходить на воздух.

Заграница вдохнула вечность и вольность (виски с водой, джин с тоником Солженицын, Замятин, Кестлер, великий Мандельштам, «Марбург» и «Заместительница» Пастернака, остальное никогда не нравилось, «Ржавые листья» Багрицкого + паб «Проспект оф Уитби» +

Ларионов, Гончарова, Малевич, Кандинский, Танги, де Чирико + «Город из махогани» Курта Вайля + Лотта Ленья, певшая Брехта, Элла Фицджеральд, Луис Армстронг, джаз и джаз), передышки в Москве (Булгаков + Таганка + «Новый мир» и «Иностранка» + Галич, Окуджава, Высоцкий и другие барды + художники Лепин, Провоторов, Кабаков и прочие из МОСХа + грузинские, армянские, молдавские вина по пять бутылок за вечер), снова глотки заграничного свежего воздуха (шабли + Набоков, Платонов, все тот же Мандельштам, Бродский + Босх, Брейгель, Боттичелли (это сыр?), Магрит, Эрнст + те же барды, под звуки которых ушел в отставку и устал от них лишь после перестройки, впрочем, если выпить «скрюдрайвер», то бишь «отвертку» (водка и «фанта» хаф-хаф) или же привезенный другом «гленливет», то все равно от бардов переворачивается душа), и, наконец, прочное и вечное оседание в Москве, медленное старение, ухудшение характера, растущая нетерпимость, еще немного, еще чуть-чуть – и на картине брюзжащий старый мерин в заношенном халате, он вцепился искусственными зубами в жесткую куриную ногу (кусочки падают на мятые портки), и склеротический нос блестит от жира.

Не надоело? Еще по одной? + некое осознание собственного литературного величия + полная растерянность: что пить, если ни одной наклейке не веришь? + воспоминания о шабли, обожаемом Чеховым (еще одно сходство, кроме любви к дамам с собачками), ты несравненно, шабли, в резко охлажденном виде, когда по-ахматовски остро пахнут морем устрицы во льду, ты прекрасно, шабли, когда в соломенном кресле в полуденный зной под кипарисами, пальмами или виноградными лозами, лучше в самом Шабли, хорошая рифма – тут уместно тонко улыбнуться, прикрыть глаза и блаженно потянуть из высокого, узкого, как бедро балерины, хрустального бокала.

Наполеон Бонапарт любил кларет «шамбертэн», император Франц-Иосиф – венгерский токай, а Петр Великий – бренди.

Сановный Гете любил рейнский «розенталер» и в глубокой старости изволил заметить, что за свою длинную жизнь он, в общем счете, был счастлив не больше пятнадцати минут (бедняга, видно, считал только оргазмы, причем с цветочницами, а не часы наслаждения за рюмкой).

А пожрать, егеря – рать любимая царя?

Сначала устремим взгляд на полотно: зеленая дама с чувственным ртом и голыми ребрами, вылезшими из кожи, болотная фея, изменчивый друг, загадка зеленая, скрытая в коже холста, я грустен, как твой драгоценный каблук, и немые мои и ничтожны уста!

Бьется сердце, рука ищет между Бичевской и ретро 50-х «Прелюды» Шопена, пускает двадцать четвертый, он летит стремительно к солнцу, и никак не достигнет его, раскроем набоковское «Ultima Thule», но «все равно это не приближает меня к тебе, мой ангел, на всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений, страшнее всего мысль, что поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь».

Вздых. Фото ушедших.

А пожрать?!

Сегодня у нас буйабез, которым полковник должен утереть нос пожилой хозяйке ресторана в Остенде, где он укрывался после убийства итальянского премьера Моро, премьер сидел в кресле и читал, а полковник подкрался сзади, обхватил его за шею и засунул в мешок.

Хорошо идет, черт ее побери, не Моро, нет, эта самая... шабли, которую на виноградниках Шабли паши графиню тс-с! у...блажали...

Итак, бухнем воды в кастрюлю, доведем ее до остервенелого кипения, затем откроем ножом много-много рыбных консервов в томате (севрюга предпочтительна), раскалим добела сковородку-дуру, швырнем на нее масло и лук и поджарим до посинения (но чтобы не подгорел), а потом скоком запулیم рыбу в кипяток, опрыснув винным соусом, и туда же жареный лук, присовокупив к нему паприки, крупной соли, шафрана, затем откроем холодильник, закроем глаза и начнем слепо (и даже зло) метать в кастрюлю все, что попадется под руку: ошметки сыра и колбасы, скукожившиеся от мороза сосиски, огрызки сала, хлебные корки, сохраненные на случай третьей мировой, чеснок, маслины, очищенные томаты, бросать, пока в кастрюле не образуется густая жижа, потом плеснуть туда стакан кородряги – в этот

момент желательно появление на кухне какой-нибудь сисястой хохотушки, с которой можно рвануть по стакану.

Потом напустить воды в ванну, залезть туда, испытывая необъяснимую грусть, вытянуться, как труп в гробу⁴⁵, легко обмыть волосатую грудь и долго смотреть через воду на ступни с раздвинутыми пальцами – они вырастают до гипертрофированного уродства Гулливера, вот посмотреть бы так на пятки, вдруг по богатству рельефа они превосходят самые диковинные уголки мира?

Влажный шлеп по кафелю (как рука по заднице голой бабы) и снова ощущение тоски от перехода из тепла в прохладу, нелепое вытирание полотенцем (оно дергается между ног, как вцепившийся в гениталии зверь), затем махровый халат, длинный, как горская бурка.

На тахте развалиться, распустить телеса, раскрыть альбомы.

Московские хлебцы, одноцветье, пол-лимона мякотью вверх, клешня рака, свисшая со стола, как рука у заснувшего гостя, гроздь винограда черного, а вот – синего, а вот – коричневого, рюмка с красным вином, оно темнее, чем рядом лежащий гранат, голландской даме скучно: после длительного туалета, завязав некую белую косынку, у которой явно есть особое название, в зеленоватом кафтане, отороченном белым мехом, она дрессирует рыженькую собачку, а та служит, стоя на задних лапках, камеристка инфанты Изабеллы, тонкий кусок мяса с золотой корочкой, отрезанный от огромного мяса, на блюде замерли две рыбы – серо-синяя и с красной чешуей, помидоры в высокой банке и голова гуся, рядом фазан с багровым пятном на голове и разрубленная свинья, превращенная в окорока, далее прогулка по брейгелевской зиме, где красные кирпичные дома, красные кафтаны, рыжие лошади и собаки, красные платья, но лучше всего – снег, особенно когда бредут охотники с красными собаками (у красной собаки твоей на губах заколдованная пена), силуэты ворон на силуэтах деревьев, внизу на коньках муравьи-человечки, вдали снежные горы и красные-красные «мукузани», «ахашени», «негру де пуркар» и «кодру» – не капнуть бы на светлые вельветовые брюки.

Почему жизнь к концу, как бегун у финишной ленты, вдруг дико убыстряет свое движение?

В МГИМО учили, что на часах возле Крымского моста время стрелки железные движет, и минута прощального тоста приближается ближе и ближе.

Ну как не пить: поступал на юридический, ставший потом западным, сливались и разливались шесть лет, превратились в кашу с дипломом специалиста по международным отношениям стран Запада, нечто резиновое и дилетантское, правда, с иностранным языком.

Чего нам только там не читали! какой только дряни там не наслушались! И марксизм-ленинизм под всеми возможными гарнирами, все вариации истории партии и всех историй как бледного отражения истории партии – все виды права (какое право?), детский лепет о советской и зарубежной литературе (сжечь!) и, конечно же, фиктивная политэкономия фиктивного социализма.

Оставили на всю жизнь дураком, все прошло мимо, Бердяев, Плутарх, Флоренский, – сколько их, гениев! – кормили жидкою похлебкою, довели до ручки, но зато добились своего: заставили приспособить совесть и вырасти в верноподданных серых мышей, всегда готовых, как пионеры, подчиняться и делать карьеру.

Шесть лет беспробудного пьянства принесли бы больше пользы, чем все эти лекции лицемеров и невежд будущим лицемерам и невеждам, вполне закономерно, что никто из имовцев не ушел в диссиденты (на Запад сбегали и в иностранные шпионы неплохо шли), никто не написал ничего путного, – только служили, делали карьеры, смело колебались вместе с генеральной линией.

И потом, уже за границей, вся эта компашка наливалась жиром вместе с толстозадными женами.

Дипломатические диалоги (пьеса)

⁴⁵ Поэт Хомяков умирал, лежал в постели, вытянувшийся, сосредоточенный. Вошел сосед: – Что с вами? – Да ничего особенного, приходится умирать...

Свинцовые фразы висят над столом:

- Подайте мне шпроты.
- Налей мне боржом.
- Купил я штаны по дешевке на днях.
- Что смотришь на Светку? Она же в прыщах!
- Не хочешь еще?
- Нет, наелся сполна.
- Да врешь, что наелся, тебе бы слона!
- И сколько за дачу свою заплатил?
- Пойдем, отойдем-ка!
- Да я уже был.

(Угри и селедка, икра и салат, с холодной водкой графины стоят, в глазах отражаются щи и желе, на пальцах – брильянты, на шее – колье. Веселая дама, свинину жуя, взახлеб вспоминает, что ели вчера у этой, у самой, что любит гостей, у этой, что может... которая с тем.)

- Ну что ж, за хозяйку, за папу ее!
- За мужа, за сына давайте нальем!
- За мамку и бабу давай от души!
- Что льете на платье!
- Да он уже спит!
- Ну, что замолчали?
- Индейку несут!
- Я думал, севрюгу.
- Я думала, суп.
- Считаю, что надо б, нелишне бы нам за дам – и подняться!
- Что ж, выпьем за дам!

(Угри и селедка, икра и салат, пустые графины, как трупы, лежат, от водки глаза превратились в желе, погасли брильянты, исчезло колье.)

Занавес

Ну и публика, аж противно стало – глоток.

Главное, что ничего не изменилось, все те же хари.

Конечно, в начале пятидесятых мы были еще глупы или делали вид – ведь кое-кого из умников быстренько вышибли во время слияний и размежеваний факультетов и институтов⁴⁶, – но пилось тогда отличнейше, и в пьянстве терялись и совесть, и страх, эрзацы дружбы вечной и такой же вечной любви сияли над облитыми пивом и водкой столами ослепительными звездами. Однако профукали студенческие годы, товарищи! и пусть не дрожат в обиде старческие щеки, услышав нечто вроде «Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые, выбыл из партии он дряхлым – увы! – стариком»– профукали! «Смерть – это только печаль, трагедия – бесплодная растрата сил» – это не я.

Выпускной вечер, прощальный капустник, за все, за все тебя благодарю я: за горечь зря потерянных часов, за сессий дрожь, за жизнь без поцелуев, за боль заслуженно поставленных колов, за планы переходные (кровь стынет!), за все, чем я, студент, обижен был... Распредели! Чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил!

Распределили быстро: в хельсинкской колонии случилась Любовь, вызвавшая кадровый кризис в Посольстве, трагически обесточился консульский отдел, и чувствительные пальцы МИДа нащупали в бурных водах среди массы червеподобных человечков юное трепетавшее

⁴⁶ В бумагах остались лишь обрывки их нонконформистских мыслей: «У хорошего друга должна быть красивая сестренка» – Костров. «Вам, крестьянам, не понять прелестей городской жизни» – Нифонтов в речи в подшефном колхозе. «Рубите лес и стройте дачи!» – Петухов. «Если поднатужимся, то к лету коммунизм построим» – Кобзарь.

тело, дурно бормотавшее по-шведски, беспартийное, комсомольское и неженатое.

С Финляндии начинается пьянство заграничное, прыжок Пикассо из голубого в розовый, пьянство разборчивое, дерзновенное, постигающее.

Но выпьем молока и немного протрезвеем, ибо разведчик, словно между Сциллой и Харибдой, бродит между пьянством для дела и пьянством для души, одно переливается в другое, как два сообщающихся сосуда (закон Бойля – Мариотта).

В Гельсингфорсе, где я был лишь консульской букашкой, штамповавшей визы, на приемы приглашали редко, да и заграница открыла такие перспективы самоусовершенствования, таким чистым свободным воздухом вдруг повеяло, такие книги на прилавках я узрел, что не до бутылки было, к тому же в свои 24 года я был чрезвычайно обеспокоен своим драгоценным здоровьем, много размышлял о грядущей смерти, не рассчитывая пережить по возрасту Лермонтова. (Тогда я еще не знал, что душа бессмертна, а пьянство продлевает жизнь.) Интенсивный волейбол, бега на лыжах в Лахти, купания в Финском заливе, монашеское воздержание и угрызения совести из-за рюмки, выпитой в будний день.

Мой начальник – кагэбэвский консул Григорий отличался грандиозным умением пугать, и я уверовал в тотальное подслушивание и подглядывание и в то, что улыбка дамы или стакан, засосанный в одиночку поздней ночью, не говоря уже о нечаянно вылетавших изо рта колебаниях или сомнениях в правильности Линии, – все, все, все будет назавтра известно, все ляжет на стол, за все придется держать ответ!

Правда, однажды я сорвался и как-то вечером пригласил в свою комнату одну сотрудницу – царицу красоты (показать новый пиджак), и – о ужас! – именно в тот момент грозный Григорий начал бешеный розыск меня по всему посольству, и раздались визги телефона и даже стуки в дверь.

После этого я уже не сомневался во всеильности контроля КГБ, что благоприятно отразилось на здоровье и нравственности, спасибо вам, Гриша, что в годы испытаний вы помогли мне устоять в борьбе!

В Москву я возвратился полный сил, поступил в разведшколу, женился и порой в воскресные дни позволял вместе с женою раздавить бутылку сухого.

Лондон дал шанс отыгаться: метания с приема на бал, с бала на коктейль, с коктейля в клуб, и вот, наконец, дом, когда заждавшаяся Ярославна наливает стаканчик под килькупряного посла – московский сувенир.

Но пьянство молодого разведчика, познающего жизнь⁴⁷ во всем ее винно-водочном многообразии, не только ограничено из-за относительной бедности, но и поверхностно: оно своего рода проба сил, оно сковано неопытностью и приматом оперативных ценностей над общечеловеческими – отсюда бутылка красного вина на двоих или по 50 г виски, отсюда и жажда внешней респектабельности, то бишь пижонство, твидовый пиджак с Сэвилл-Роу или пуловер в шотландскую клетку, сигара в зубах и горчайшая струйка никотина на языке, что приходится терпеть, ибо еще бард империализма Джозеф Редьярд Киплинг учил: «And a woman is only a woman, but good cigar is a smoke»⁴⁸, или бриаровая трубка, соучастница и любимица отдохновений, особенно если действие разворачивается в заведениях Лондона с мистическими названиями «Дьявол и мешок гвоздей», «Дырка в стене», «Кит и ворон», «Нога и семь звезд»⁴⁹.

47

Юноше, обдумывающему житье, думающему, делать жизнь с кого, скажу не задумываясь: «Делай ее с товарища Дзержинского!»
В. Маяковский .

48 «Женщина – это всего лишь женщина, а хорошая сигара – это курево!»

49

И что б ни говорили
о баре «Пиккадилли»,
Но – это славный бар.

Конечно, все это увлечения молодости и презренный снобизм, от которого передергивает, как после первой похмельной рюмки, и стыдно, если вспомнить «на троих» в подворотне, когда раскрыты и души, и пиджаки, и ширинки, или застолья в цивилизованном подъезде на подоконнике – там на газете «Правда» разложены и колбаса, порезанная заранее продавцом, а порою аж вобла, разговор там нетороплив и вдумчив («Хорошо прошла...», «Тепло-то как...»), и ни одному иностранцу в жисть не понять загадочную славянскую душу. На подоконнике хорошо читать: «После бульона или супа подают: мадеру, херес или портвейн. После говядины: пунш, портер, шато-лафит, сент-эстеф, медок, марго, сен-жюльен. После холодного: марсала, эрмитаж, шабли, го-барсак, вейндерграф. После рыбных блюд: бургонское, макон, нюи, помор, пети-виолет, романс-эрмитаж. За соусами: рейнвейн, сотерн, го-сотерн, шато-икем, мозельвейн, изенгеймер, гохмейер. После паштетов, перед жарким: пунш в стаканах и шампанское. После жаркого: малага, мускат-люнель, мускат-фронтеньяк, мускат-бутье».

Мучительно трудно было привыкать к виски, тем более что в нашем лондонском сельпо со скидкой продавали не скотч, а «Канадский клуб», страшное пойло, как, впрочем, и американский «Бурбон». Шотландское виски требует терпеливого освоения, как Рихард Штраус или Андрей Платонов, но зато, погрузившись в скотч и продержавшись в нем несколько лет, открываешь новый мир («Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски!»), сначала рядовые «Джонни Уокер» и «Грант», затем двенадцатилетние «Баллантайн» и тот же «Джонни Уокер», но с черной наклейкой, купаешься в «Шивас ригал» – напитке премьер-министров и резидентов (однажды купил оный за 15 р. в Елисейском, а тут – о причуды Истории! – в кулинарии «Будапешта» оказались устрицы по 15 коп. за штуку, привезенные с каких-то экспериментальных колхозных огородов, открывали их, правда, плоскогубцами, но наглоглотались вволю).

Время текло под мостами, и тут появляется на свет и тянется вереницей благородное семейство «гленов» (вид молта), сделанных на прозрачайшей родниковой воде, на лучшем в мире ячмене и из благотворного горного воздуха, «гленливеты», «гленфидичи», «гленморгани», сваренные из ячменного солода, высушенного над горящим торфом и антрацитом, когда солод вместе с дымом впитывает эмпереуматические материи и креозит, а после перегонки схватывает дымный дух и привкус...

«Глены» корнями уходят к Стюартам, они разлиты в стройные, как талия Марии⁵⁰, бутылки и упакованы в цилиндрические коробки из крепчайшего картона, оберегающего бутылку, если она выпадает при выходе из королевского фаэтона или во время прыжка с парашютом, в последние годы, с ростом терроризма, коробки уже делают из стали и брони, рисуя на них средневековые замки, пруды с белыми лебедями или принцессу Луизу, вручающую знамя шотландским гвардейцам в Арденкейпле-на-Клайде.

Истинные почитатели виски никогда не пьют его с содовой, как лапотники-янки, – все равно что закусывать шампанское селедкой, скотч разбавляют чистой водой, желательна ключевой, можно тянуть его и со льдом, но упаси Господь в избранном обществе бросать лед в молт – все «глены» пьются только с водой, только с водой, господа, причем стоя и сняв цилиндр.

Виски прекрасно, но коварно, идет он легко и без напряжения, и вроде бы лярошфуковским остроумием отмечен язык, и бьют фонтаны идей из черепа (еще не превращенного в кубок), и разомлевший шпион внезапно чувствует себя как за праздничным столом на сретенской кухне, когда каждый бормочет свое, не слушая другого, а патефон врубается в этот рев со своим «Не уходи, побудь со мной еще минутку».

Но самое страшное в разведке – это коктейль «драй мартини», именно коктейль, а не

А. Вертинский .

⁵⁰ Той самой Марии Стюарт, которой сука Елизавета, любившая джин и авантюриста и поэта Рэли, отрубила голову.

вермут, со льдом и лимоном, любимый напиток Джеймса Бонда⁵¹, с ног он сбивает неожиданно, как разбойник, подкравшийся сзади, внезапная одеревенелость языка и медлительность движений плохо сказываются на развитии официальных контактов (особенно из среды чопорных и высоколобых), впрочем, порою и наоборот: одинаковая одеревенелость на миг сближает идейных антиподов.

От менторства пересохло горло.

Глоток – одиночество не проходит.

Где же дитя, где сын?

Где гитара?

Если в старом отеле погром и бедлам и папаша картины все выдрал из рам, если резко машину в кювет понесло и родитель башкой продырявил стекло, но спокойно баранку сжимает в руках и сверхмодный мотив у него на губах, если, целый сервис о сынка раздолбав, он ползет по земле, как раздутый удав, и в дублинке начнет в океане тонуть, и помчится домой, чтоб в окно сигануть, и когда на плечах понесут на кровать его тело, как куль с углем, вот тогда вы поймете, что значит смешать драй мартины и черный ром.

Продолжим лекцию.

Разведчик ставит место и размах пьянства в зависимость от ценности агента.

Беседы с серьезным агентом, когда требуется впитывать всю его трескотню в атеросклеротическую память, хорошо идут под пиво, особенно темное, вроде бархатного «гиннеса», правда, с агентами крупного калибра и с общественной репутацией такие номера проходят не всегда, особенно если это министр или парламентарий, – такие любят выпить и закусить в центральном ресторане и не пойдут в окраинный паб, где все друг друга знают, они – любимцы общества и телевидения, и мелкая конспирация с ними равнозначна провалу: ведь весть о том, что граф Кент напился в пабе с загадочным иностранцем⁵², мигом облетит всю округу и возбудит местную прессу.

Большие пушки, большие корабли обожают шикарные рестораны, они пыхтят от важности, когда лисы-официанты, заискивающе улыбаясь, подносят к их сизым носам увесистые меню в алом сафьяне, они медленно читают и перечитывают, облизывая губы, уже мысленно пропуская по гремящему пищеводу вальдшнепов, они наконец торжественно заказывают и отворачиваются от официанта...

Как заказывай бутылку за бутылкой граф Солсбери! как выдерживал паузу, морщил лоб, дергал носом, как пробовал и отвергал и требовал открыть новую бутылку, ибо находил, что это – не шато-неф дю пап 1793 года, как указано на поросшей мхом этикетке, а всего лишь нюи сент-джордж 1815-го.

Как я смущался, бледнел и холодел, вслушиваясь в скандал, как трепетал я, когда он вызывал хозяина ресторана и отчитывал его за подлог и требовал его лично опробовать бутылку шато-неф дю папа, чтобы самому убедиться, что он торгует дерьмом 1815 года, когда, как всем хорошо известно, винный урожай во Франции был катастрофическим, в чем легко убедиться, хлебнув из бутылки.

«Сейчас хозяин вызовет полицию! – страдал я. – У меня спросят документы... узнают, что я – русский, все сопоставят. Ну и негодяй! И с ним теперь в этом ресторане нельзя появляться – запомнили на всю жизнь, и с другим человеком опасно – ведь и меня запомнили!»

С десятков таких случаев – и превращаешься в полного психопата. Конспирация и подозрительность заставляют говорить шепотом, ходить на цыпочках, постоянно выглядывать в окно (нет ли слежки?), весь вечер думать, правда ли, что соседу нужен был коробок спичек или он зашел, чтобы составить план квартиры для предстоящего негласного обыска.

⁵¹ Старика Бонда кагэбисты в Москве научили пить водку с перцем, внушив дураку, что перчинки, оседая, утаскивают с собою сивушные масла.

⁵² И входит айне кляйне нахт мужик, внося мордovorот в косоворотке. Кафе. Бульвар. Подруга на плече. Луна, что твой генсек в параличе.

И. Бродский .

Отставные разведчики с возрастом становятся мнительными, им кажется, что они по-прежнему в центре внимания, – уже после войны никому не нужный шеф германской разведки Шелленберг при виде приближавшейся жены садовника понизил голос и прошептал собеседнику: «Французы всегда использовали пожилых женщин как агентов».

Начинающий разведчик обычно далек даже от мысли хорошо выпить и пожрать, он экономит народные деньги – и я, дурак, в первые годы заказывал что подешевле и все норовил поинтенсивнее вести беседу, побольше выведать информации, мешая агентам жевать и глотать, и в тот момент, когда они покойно отправляли в рот кусок бифштекса, полив его соусом анжу, и подносили бокал ко рту, вламывался скрипучим буфетом в музыкальное чавканье с планами подрыва бактериологической лаборатории в Портоне или создания нелегальной группы на Канарских островах.

Стыжусь, но из-за моей бестактной навязчивости граф Солсбери чуть не проглотил улитку вместе с раковиной и не умер, как любовница графа Лаперуза, подавившаяся портретом своего любовника, который она проглотила в момент экстаза, – сравнение, конечно, не выдерживает критики.

Прошли мучительные годы, прежде чем я понял, что во время трапезы пристойнее обсуждать актуальные проблемы погоды и вздыхать, что десять лет назад в это время было и теплее, и зеленее, и воздух чище, и люди добрее. А как насчет здоровья? Как ишиас, помешавший год назад вылететь в Дублин для того, чтобы выкопать портативную радиостанцию, запрятанную в тайник? Как печенька и селезенка? Кстати, не хотите гусиной печени, нет, нет, не паштета из нее, а целой, ничем не испорченной, экологически чистой *foi de gras*? Не барахлит ли сердце? Ведь в случае чего можно и тайно вывезти в страну, ради которой мы живем и боремся, и отдать в руки опытных советских академиков и профессоров – они не подведут (почему-то вспоминается «дело врачей»).

В первые разведывательные годы, сидя за столом с агентом, я не ел и не пил, вслушиваясь в его речь, стараясь запомнить каждое его золотое слово, дабы мотом воспроизвести на бумаге и отправить в Центр, – поразительно, но обычно вся эта информация отправлялась Москвою в корзину.

Тогда я начал легко выпивать, что вносило тревожно-драматические нотки в информацию, причем чем больше я выпивал, тем лучшие оценки получала моя информация в Центре, и неудивительно: пожаром пылали отношения внутри НАТО, на советских границах тучи ходили хмуро, ЦРУ и СИС вербовали налево и направо и плели заговоры против власти рабочих и крестьян, от такой информации Центр млел, она летела на самый верх, ибо вполне соответствовала образу мыслей владык страны.

И тогда уже на трезвую голову впервые посетила меня дерзкая идея: а почему бы не выпить бутылку коньяка в суровом одиночестве? Кому нужна встреча с агентом, если и так все ясно до слез? Зачем рыскать по городу, собирая отзывы на очередную эпохальную речь Генерального, если и без этого понятно, что она произвела на правительственные и парламентские круги неизгладимое впечатление?

Так начинают работать в одиночку.

Утро туманное, утро седое, кричит петух, обливание водой по методу Детки (ходи босиком и первым говори «здравствуйте!»), косилка ползет по щекам, чашка кофе и простая мысль: кому это все нужно? Мир разбух от информации, и пора платить деньги тем, кто ее уничтожает.

И все это из-за радио, телефона и телевидения, они сводят на нет шпионаж – а ведь было время, когда разведчик выезжал в Париж, чтобы определить точное местонахождение собора Парижской Богоматери и все новости собирал на рынке...

Дорогое мое правительство, как ты там поживаешь? Тебе не скучно? Взбодрись, пробегги добрым взглядом по скромной депеше о шотландско-валлийских отношениях и их неоднозначном влиянии на внешнюю политику Англии. Блестяще, правда? Теперь объясним генсеку местоположение Шотландии и что такое валлийцы. Он выслушает, мудро кивнет головой, а когда вернется со Старой, как геморрой всех вождей, площади домой, то расскажет жене, детям и внукам о таинственных Уэльсе и Шотландии, добавит за чаем, что в Шотландии родился Бернс, которого хорошо перевел Маршак, и определенно заметит, что всю эту ценную

информацию передал шифром один из тех скромных героев, которые умирают в одиночку.

Или вдруг генсек молвит: а почему бы нам, товарищи, не направить делегацию в Валлию, где живут, если не ошибаюсь, валлийцы?

Делегация – это хорошо, пьешь с ней много и, главное, бесплатно, что тоже очень важно и очень приятно. Правда, некоторые, вырвавшись за кордон из своей тюрьмы, так радовались, что портили ненароком платье королевы, путали министра с мажордомом, входили в гостиничную телефонную будку, думая, что это лифт, а циферблат – всего лишь кнопки.

Пьяные делегации – это ужасно, но гораздо ужаснее делегации трезвые.

Копенгаген.

Константин Устинович Черненко, ставший недавно кандидатом в члены ПБ и потому отправленный в капстрану (впервые в жизни) на съезд датских коммунистов.

Не пил ни грамма из-за болезни, прибыл с персональным врачом и охранниками и поселился в посольстве, где сразу запахло аптекой, что трудно вязалось со стабильными ароматами перегара.

В первое же утро после завтрака по мановению жезла помощника я, как положено, предстал перед Черненко и вкратце поведал об «агентурно-оперативной обстановке» в стране Андерсена, почтительно всматриваясь (даже вслушиваясь) в неподвижный круглый лик.

Был я до омерзения трезв и потому еще больше подчинен идеям верноподданничества, вкрадчив и лстив, но чуть не опрокинул стаканчик, когда на совершенно секретном совещании Константин Устинович сообщил о последних грандиозных достижениях в нашем сельском хозяйстве.

Но удержался, не выпил – и в тот же день неприятность: водитель машины, где восседали Черненко и посол, так заслушался беседой великих, что проехал на красный свет прямо под автобус, тот еле успел затормозить...

В тот же вечер убеждали Черненко поднять зарплату нищающим гражданам великой державы и в этих целях провели высокого гостя по улочкам, где располагались самые дорогие магазины.

Двигались группой человек в десять: шефы всех ведомств, партком, профком.

«Как же вы живете? – изумлялся потрясенный Константин Устинович, самолично увидев, что цена туфель выше зарплаты посла. – Как же живут датские трудящиеся?» – забота о них никогда не покидала наших лидеров.

Отбой.

Спокойной ночи, леди и джентльмены.

Помечтаем под кородрягу.

Хочется уехать к черту усесться на террасе отеля с видом или в саду с видом на нерентабельный но вполне живописный фиорд где-нибудь в Думбартон-Оксе вдыхая дымок сигариллы чужой⁵³ однако без всякого фобства и рискуя быть застигнутым раздетым скажу что обожаю западные клозеты утепленные вычищенные искусно какое кощунство теперь придется убеждать всех кто повыше а главное всех кто пониже что я хотел бы жить и умереть в Париже если б не было такой земли Москва как будто любовь к родине это чувство зависящее от качества лосьонов красоты улиц чистоты рубашек и марки вина кружится голова и вот втыкаю в галстук булавку бриллиантовую и как суперденди выряженный и начищенный до умопомрачения галантный и до безобразия напыщенный смочив щеки кельнской и закурив голландскую отхлебнув сельтерской и оторвавшись от шведского спускаюсь в бар английский в поисках счастья и виски ах этот поиск счастья до хорошего он не доводит синее-белое белое-синее необъяснимое мелькает и бродит по пустынным гостиним то из камина тонко проплачет то зашепчет откуда-то из выси какая запальчивость сколько свежести мысли где вы учились и в каких кругах извините выросли откуда все это вынесли ах недаром у вас редкие волосы.

Синее-белое.

⁵³ Конечно же, ближе родной говорок незабвенной московской пивной, и это – пижонства.



Забавы советской номенклатуры. Прототип, лиса, ответственный работник ЦК КПСС Ю. Хильчевский, посол Н. Егорычев. 1978 год, Дания

65-летие Черненко в Копенгагене, и не о выпивке речь, а о подарке, а проблема в том, чтобы наклонить чашу, но не пролить ни капли: вдруг отвергнет? сильные мира берут не у всех, а резидент по положению ближе к егерям, нежели к сановным охотникам.

В результате набор мелочей: пепельница с русалкой, термометр с варяжским кораблем, вазочка с видами Копенгагена и несколько гномов с красными симпатичными носами, именуемых в Скандинавии троллями.

И грянул праздничный день, и прибыла поутру шифровка с поздравлениями от Андропова (у шефа КГБ наверняка имелся список всех великих дат, от Пушкина до членов и кандидатов Политбюро), и переступил я в назначенное время порог кабинета, который от присутствия почти члена ПБ, казалось, раздвинулся в стенах.

Торжественно зачитал реляцию Председателя, блиставшую оригинальностью: «от души... на благо Родине... здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни», готовясь вручить сувениры и надеясь на отеческий поцелуй, о котором рассказывал бы внукам до конца дней.

Константин Устинович хитро улыбнулся и по-простецки вздохнул: «Эх, Юрий Владимирович! Злоупотребляет Юрий Владимирович своим служебным положением!» (Мол, использует служебную шифрсвязь!) – «А вот от меня... от нас... скромные сувениры... тролли...» – «Тролли?» Смятение и удивление на лице при виде красных носов и колпаков. «Это датские гномы, волшебники для внуков...» – растолковывал дурак. («Сейчас, сейчас притянет меня к груди... сейчас! А в Москве скажет Юрию Владимировичу, какой умный резидент сидит в Дании».)

Я чуть расслабил ноги, став пониже, чтобы ему легче было заключить меня в объятия, но черт побори! они любить умеют только мертвых!

Как хотелось быть ценным вождями, служить и поклоняться, чувствовать себя причастным к мудрым политическим деяниям! Особенно тем, кто порой вдруг обнаруживал остроумие или вдруг садился за фортепиано или выдавливал из себя пушкинский (а то и собственный!) стишок...

М-да, мы умели служить, этого у нас никто не отнимет, служить верно и яростно, а потом выпить – и обо всем забыть.

Снова пошло пятнами: дом рыбака и охотника на Сахалине, вечно пьяный хозяин, два года назад опрокинувший в море лодку с семьей, он вспарывает брюхо горбушам, заполняя марлю икрой, опускает в раствор соли, он бродит вокруг дома, собирая пустые бутылки, на которые и пьет: пятничный заезд, три переполненных автобуса с отдыхающими, уже в дрезину упившимися, они шумно вылезают и с ходу пьют остервенело, словно в последний раз, они, качаясь, танцуют, гремя «На диком берегу Иртыша», – и все это у таежного леса, объятого свежими и сочными запахами, рядом с прозрачной рекой, – полураздетые бабы изливаются в похабных частушках, хозяин уже спит мертвым сном, в воскресенье автобус отбывает, к среде хозяин просыпается и бродит, собирая бутылки. Цикл закончился.

Еще пятно по контрасту: чинно собираются на охоту румяные датские дяди в бриджах и высоких обтягивающих щиколотку рыжих ботинках со шнуровкой, черные лимузины,

торжественный развоз охотников по местам, глоток виски из плоской фляги с серебряным горлышком и в черной коже, сообщающей, как писали в прошлом веке, приятное тепло рукам, и егеря стучат, лупят палками по кустам, оттуда, словно тарелочки в тире, круто взмывают в небеса фазаны, – пиф-паф! ой-ой-ой! – пробитое тело замирает, резко тормозит и жалким комочком рушится на землю. Гости возвращаются к столу, за ними на вездеходе с прицепом следуют цветастые трупы фазанов, их раскладывают на земле в мистическое каре. Парад фазанов, ритуал священный, пьют не только аквавит, но и стародатский ликер, похожий на итальянский фернет бранка, горький настой из благовонных трав.

Иностранцы сраные, пижоны говяные, да разве так пьют?!

Что нам белесые варяги?! Скучны, как дохлая треска! Что Конотоп, что Копенгаген, все начинается на «к»! Люблю собачек я и кошек, их много в городе и вне, и вечно со своих подошв ножом соскабливаю «г». По пляжу побежишь за водкой, тебе тепло и хорошо. А рядом голые красотки лежат с распущенными жо. Сидим на озере, косые, и каждый – лоб и эрудит. И тихо спит советник синий на чьей-то огненной груди.

В добротном пьянстве важны сюжет и интрига, иначе оно вырождается в тупой алкоголизм: хочется увозить трех сестер в Москву, рубить вишневый сад, разыгрывать друзей по телефону от имени председателя КГБ.

Но все равно скручивает и душит тоска, мир рассыпается, люди исчезают, и остаешься совершенно один, не считая бутылки.

Выручает телефон – лучший друг человека и панацея от одиночества, – одна беда: ночью приятели спят, и приходится звонить туда, где еще не поздно – в Нью-Йорк, Лондон, Рио-де-Жанейро, Пекин.

Сюжеты, обрывки фраз, ухмылки, *allegro* та поп горро, прошлогодний снег, жизнь, *allegro vivace*, хохот («Как же ты полез по балкону в окно, ведь это – восьмой этаж!»), *andante fredo*, амиго, помнишь, как ты выдрал в отеле перо из чучела павлина, а потом в ресторане бросал в метрдотеля кусками жареной рыбы? Кто в сто долларовых ботинках «Ллойдс» бродил по воде вдоль морского берега, проверяя их на прочность? Кто изображал из себя президента США? Разве можно орать члену ЦК, что ты – русский коммунист и потому можешь путешествовать по миру без разрешения каких-то инстанций? Не стреляйте больше из газового пистолета, у меня до сих пор во рту – словно спалили куриные перья. Танцевали, пели под оркестр «как же это было? как же это было!» (Кикабидзе), а потом оказалось, что никакого оркестра в тот вечер в ресторане не было. Не сидите долго в ресторанных сортирах, хотя там хорошо спится: проклятые служители стучат в кабину и кричат «пора!», им все равно, народ испохабился, хочет взятки, норовит урвать, завтра в восемь, как всегда, на вокзале рядом с буфетом, где пьяницы хлещут водяру и запивают мадерой, в зале ожидания, где навалом, вповалку лежат тело за телом, где бабки в платках на тюках и младенцы режут на руках оглашенно, приляжем рядом, осторожнее, носом не ткнишь по ошибке в румяную пятку.

Это я, бедолага.

Я иду по вокзалу, и мне легко.

Я родился в мае, когда Телец уже перекрыт Близнецами, я легко запоминаю прочитанное, люблю общество и развлечения и вкусно поесть, имею хорошую деловую интуицию, люблю одеться комильфо, потому считаюсь богаче, чем есть на самом деле, я ревнив, обладаю врожденным чувством гармонии, ритма и цвета, из таких выходят превосходные должностные лица, служащие и лидеры в правительственных организациях и армии, гороскопы едины и в том, что я верный и надежный друг, а также могу быть доброй терпеливой няней и исцелителем, склонен к садоводству, имею отличное телосложение, но тем не менее подвержен болезням горла, носа и верхней части легких.

Твердую рукою, не квадратной, без холма Венеры, с короткими ногтями (наклонность к сердечным болезням, недомоганиям туловища и нижних частей тела), легко покрытой волосами, что указывает и на энергичность, и на флегматичность, пока еще твердую рукою я наливаю в пластмассовый стаканчик, прихваченный дома, и пью.

Неужели дурак?

Vivat!

И отдать концы после попойки. Как Шекспир.

Москва, 1974 – 1976

Герр доктор чертит адрес на конверте: «Готт штрафе Ингланд, Лондон, Фрэнсис Бэкон».

И. Бродский

Счастье начальственной столовой и ондатровой шапки вдохновило меня на новый подвиг: почему бы не написать кандидатскую диссертацию, не присоединиться к важным лысынам окружавших меня научных мужей и избавиться от комплекса неполноценности?

Зверь в облике этнопсихологии, запретной при Иосифе Виссарионовиче, считавшем, что национальный характер проявляется лишь в области культуры и т. п., уже бежал на ловца, тема была воистину золотой жилой, в советской официальной науке (то в психологии, то в этнографии) ее касались с опаской, в нашей разведке о национальном характере писали отрывочно и сугубо прагматически – так что мне выпало соединить несоединимое: Англию, психологию и КГБ.

Тема моя звучала «Особенности национального характера англичан и их использование в оперативной работе» – держитесь, леди и джентльмены! Почтенный сэръ Майкл взялся за ваши слабости и вскоре научит весь мир, как всех вас вербовать! Королева с ума сойдет, узнав, что ее подданных отныне любой дурак сможет привлечь к сотрудничеству с помощью простой методики предприимчивого подполковника.

Я начал читать различные труды⁵⁴ по национальному характеру и не на шутку увлекся: редко встречался писатель и в Англии, и в России, и в других странах, который не изрек бы несколько мыслей по поводу национального характера англичан, многие писали с блеском, причем противоречили и опровергали друг друга. Почему было бы не добавить в окрошку и щепоточку собственного видения, этнопсихология от этого не умерла бы, и вообще, как писал Тимофеев-Рессовский, «наука – баба веселая и не любит, чтобы с нею обращались с паучьей серьезностью».

Но главной целью, естественно, было получение ученой степени, и рецепт этого был до склероза прост: сначала подвести железную идеологическую базу, ошеломить библиографией (прочитать бы хоть один процент!), указать со слезой на пробелы, образовавшиеся в тяжком разведывательном труде из-за халатного пренебрежения наукой, а затем навешать на марксистско-ленинский скелет оперативные макароны и придать всей этой требухе практический характер, что, несомненно, подвигнет оперативный состав на вербовку нации лавочников во всех точках земного шара, и особенно в осином гнезде – Лондоне.

Мои дерзания, естественно, потребовали общения с архивами по Англии, и это привело в родной отдел к его новому шефу Дмитрию Якушкину, недавно прибывшему из Соединенных Штатов.

О Якушкине можно писать все что угодно, в зависимости от политических и личных симпатий, но трудно оспаривать незаурядность и колоритность его индивидуальности: высокий, аристократического вида интеллект, иногда наизусть цитировавший Льва Толстого, умница и превосходный собеседник, собиратель книг по истории (причем эмигрантских авторов, что в то время серьезно выпадало из общего уклада), казалось бы,

⁵⁴ Особенно заинтриговала меня «Сексуальная жизнь в Англии» доктора Айвана Блоха, чего стоит описание жизни Эммы Гамильтон: служанка в 12 лет, прочитавшая все аморальные романы, любовница какого-то прокуренного капитана, которой она стала ради получения работы ее родственником, потрясающая красавица, любовница, а потом жена сэра Уильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе, затанцовывавшего до изнеможения молодых женщин (ему было всего лишь 70), жизнь неаполитанского двора, описанная маркизом де Садом, и, наконец, бурный роман с адмиралом Нельсоном (его письмо: «Ты можешь не опасаться ни одной женщины в мире, кроме тебя никто ничего не значит, для меня ты – всё: я никого не могу сравнить со своею Эммой...»), его преждевременная смерть – дальше падение леди Гамильтон, разврат, долговая тюрьма и смерть от цирроза печени. Разве все это не имело отношения к оперативной работе?

истинный либерал и отец русской демократии, – но – бойтесь стереотипов! – у Дмитрия Ивановича все это причудливо сочеталось с жутким сталинизмом.

Еще до нового назначения, провожая сына в пионерский лагерь КГБ, среди пап и мам я встретил Виктора Грушко, он, застенчиво улыбаясь, сообщил, что недавно вернулся из Норвегии и назначен заместителем Якушкина, чему он был несказанно рад.

Однажды после бесед в отделе о загадках англосаксонской души (я даже проводил анкетирование об ее особенностях, хотя для большинства сотрудников английская психология была терра инкогнита по той причине, что они редко об этом задумывались) я заглянул к Якушкину, который совершенно неожиданно предложил мне должность своего заместителя – это было лестно, интересно и перспективно.

Бес попутал меня в очередной раз.

Вскоре я был проведен на беседу к Крючкову, не так давно назначенному Андроповым первым заместителем под обреченного шефа разведки Федора Мортина и курировавшему наш отдел. Брала меня как эксперта по Англии, призванного если не восстановить былую славу лондонской резидентуры, то, во всяком случае, подчистить пепелище, образовавшееся после массовой высылки в 1971 году ста пяти советских дипломатов.

Скандал 1971 года, обостривший до предела англо-советские отношения, вспыхнул после бегства на Запад сотрудника бывшего отдела «мокрых дел» Лялина, вроде бы и выдавшего асов КГБ и ГРУ⁵⁵. В московских высших сферах все возмущались наглостью англичан и сравнивали акцию со знаменитой в 20-х годах нотой Керзона.

На самом деле такая высылка уже давным-давно назрела: англичане сначала намекали, а потом уже прямо указывали на безудержный рост советских представительств, об этом гудели и в парламенте, и в прессе, но попробуйте остановить законы Паркинсона и выход советской бюрократии за границы столь любимого Отечества!

Ретивые МИД и прочие «штатские» учреждения не отставали от двух разведывательных служб и протезировали в Лондон лучших детишек истеблишмента, а резидентура КГБ, если бы ее вовремя не остановили, превратилась бы в солидное управление с отделами и собственной конюшней с золотой каретой для выездов резидента в Букингемский дворец на аудиенцию у королевы.

В то же время число англичан в Москве на фоне нашей славной дивизии выглядело мизерным (в отличие от США).

Ноша на меня легла ответственная: организовать разведывательную работу в Англии, причем действовать и через третьи страны, причислив Альбион к главному противнику – США.

Резидентурой после скандальных высылки руководил офицер безопасности, закаленный во внутренних боях латышский кадр (стрелок по духу), бдивший и высылавший за грехи (так, например, погорел советник К., не совсем погано отозвавшийся о Сахарове), но лишь в общих чертах представлявший и страну пребывания, и разведывательную работу.

Посему начать следовало с подбора резидента, но тут проблема уперлась в английское упрямство: мы представляли на выезд десятки выдающихся мастодонтов, но проклятые англичане, потеряв совесть, сбивали всех, кто имел зарубежный опыт, наши ответные меры и «подвешивания» на виле сбиравшихся в Московию британских сотрудников имели лишь малый эффект, время летело, реальных кандидатов не было, и Мортин, чувствуя, как уходит из-под него кресло, однажды запальчиво вскричал: «А почему бы не послать в Лондон самого Крючкова? Он не засвечен, ему наверняка дадут визу!»

Вскоре шефу отрубили голову и сделали советником при Председателе.

На трон возшел Крючков, незадолго перед этим мы отметили его 50-летие, таинство причащения совершали в основном счастливицы, трудившиеся под его крылом, благоговейно вошли мы в кабинет (с какими-то приятными, но недорогими подарками – у Крючкова была репутация аскета а-ля Кампанелла, не пившего и дорогих подарков не бравшего, эти слухи вместе с его тягой к театру все время упорно поддерживала свита, думается, не без подсказки

⁵⁵ На мой взгляд, все или почти все разведчики были известны британской контрразведке и до бегства Лялина, так что жест носил чисто политический характер.

шефа), впереди – Дмитрий Иванович (благородный орлиный профиль), затем Грушко (скромный и улыбчивый) и я (чтобы никого не обидеть – с физиономией, переходящей в кувшинное рыло). Крючков был суховато любезен и предложил нам шампанского, Якушкин молвил что-то прочувственное, Крючков дотронулся до шампанского губами, еще минута – и мы быстро ретировались, ибо на подходе у дверей суетились и другие хитрованы.

Якушкин имел страсть к высоким сферам и влиятельным знакомствам, что хорошо вписывалось в свежую линию на использование в работе крупных советских тузов (редакторов газет, академиков, ведущих дипломатов), временами наезжавших в Англию, это соответствовало политике Андропова – Крючкова, стремившихся втянуть в круг своих интересов как можно больше бонз из других ведомств и тем самым держать под контролем всех и вся.

Такие встречи обставлялись со сдержанной помпой, в кабинетах «Праги» или «Арагви», Дмитрий Иванович обыкновенно брал меня с собой, там мы ставили перед визави интересующие нас вопросы (особой фантазией они не отличались), сообщали в лондонскую резидентуру о грядущем приезде сиятельной особы и просили оказать содействие вплоть до оплаты встреч с англичанами.

Печально, но урожай, посеянный на этих вкусных ленчах, всходы давал слабые: отъезжавшие согласно кивали головами, а иногда даже горели энтузиазмом и прикидывали, кого из своих английских друзей превратить в родник животворной информации, но на этом дело, как правило, и кончалось, никто не шел на рожон, но и не отказывался – кому охота портить отношения с КГБ? Правда, звон от таких встреч всегда доходил до ушей Крючкова, который подавал все это Андропову как нетрадиционный вклад в великое дело.

Воцарение Крючкова на пэгэувском троне мы встретили со сдержанной радостью, ибо отныне разведка получала незримый высокий статус: Крючков замыкался на самого Председателя, будучи его верным клеветом, служба сразу поднялась над грешной землей, и затрепетали все, особенно конкурент МИД (Громыко еще не включили в ПБ). Кроме того, Крючков не свалился с утонувшей в борьбе со шпионами и диссидентами периферии, не походил на сомнительного вида двух первых зампредов Цвигуна и Цинева, подставленных, как два цербера, под Андропова доверяющим, но проверяющим Брежневым (один – дружок, другой – родственник), усмирлял контрреволюционный переворот в Венгрии в 1956 году (тогда либералы восторгались, как тонко Андропов подобрал прогрессивного Кадара, правда, забывали о загубленном Имре Наде), работал в международном отделе ЦК, отличался трудолюбием, цепкой памятью и вполне умещался в светлый образ шефа в глазах офицеров политической разведки, задававшей тон в Первом главном управлении (ПГУ).

Правда, на собраниях Крючков выступал, читая по бумажке, блеском идей не отличался (впрочем, тогда принято было выглядеть даже серее, чем были на самом деле) и внешне удивительно походил на бухгалтера – не хватало лишь деревянных счетов и нарукавников.

Что касается его непрофессионализма, то, на мой взгляд, для руководителя такого калибра совсем не обязательно разбираться в тайниках, явках и конспирации – для этого существуют заместители и аппарат.

Умело маневрируя меж «американской», «азиатской» и прочими «мафиями», сложившимися в ПГУ по региональному признаку, Крючков сделал ставку на Виктора Грушко, потянувшего за собой Геннадия Титова и «скандинавскую мафию», ставшую опорой Крючкова до августа 1991 года.

В счастливые времена отлучек Якушкина и Грушко я общался с шефом: носил бумаги на подпись, что-то согласовывал.

Однажды, сидя в кресле с поломанными колесиками, я с такой верноподданнической страстью рванулся к прямому телефону, что рухнул, гремя костями, вместе с креслом на пол, не выпустив, однако, трубки, – помнил о подвиге Матросова! «Что там случилось? Что за шум?» – «Все в порядке, Владимир Александрович!»

Он задал несколько вопросов, я бодро отвечал, дергаясь на полу под проклятым креслом, – вошедший в кабинет сотрудник в ужасе застыл, как будто увидел со мною на полу американскую агентессу.

Работать с Якушкиным было сравнительно легко, сложнее обстояло дело с личными

отношениями: авторитарностью его небо не обделило, даже в обед, раскрыв меню и зачитывая, как монолог Пимена, заказ официантке, он следил, чтобы и мы с Грушко не отклонялись от его выбора, и, когда я, осмелев, иногда заказывал навагу вместо бифштекса, в его строгих глазах сверкали недобрые искры.

Служебная машина привозила и увозила Якушкина вместе с Грушко (они жили недалеко друг от друга), однажды решили подвезти и меня (жил я в новом счастливом браке, но аж в Чертанове), машина тряслась по кочкам минут сорок, Дмитрий Иванович был суров, как Марс, и с тех пор меня больше не подвозили.

И все потому, что был я на вторых ролях и жил в Чертанове, где ни черта, где лишь тщета и нищета, и бродят только пьяные по грязному Чертанову...

О Сталине мудром, родном и любимом с Якушкиным я старался не говорить, однажды, правда, в ресторане имел неосторожность чуть усомниться, но Дмитрий Иванович взорвался, как фугас, и Грушко, больно наступая мне под столом на ногу, долго его успокаивал.

Однажды, в день высылки из СССР Солженицына, когда мы втроем, как обычно, державно двигались по двору в столовую, Якушкин заметил, что на днях Андропов интересовался у руководящего состава, какие шаги они предприняли бы в отношении Солженицына⁵⁶, и Дмитрий Иванович заметил, что поставил бы его к стенке (до сих пор представить этого не могу, видимо, ему нравилось выглядеть максималистом).

Я мягко возразил, что, мол, XX съезд и прочее, но был обозван то ли либералом, то ли еще хуже и на время попал в немилость – благо Якушкин быстро отходил, было в нем и декабристское благородство, уже после моей отставки, вернувшись из Штатов, он счел делом чести специально пригласить меня в ресторан, дабы обласкать.

Вскоре Дмитрий Иванович уехал стражем нашей крепости в Вашингтон, началась эра Грушко, плавно и уверенно пересевшего в то самое кресло, которое сыграло со мною злую шутку.

Рекордов в это время мы не поставили, хотя пытались сплотить на борьбу с коварным Альбионом всю разведку, но укрепили точку кадрами, попускали фальшивых фейерверков по линии активных мероприятий – при Крючкове они все больше входили в моду, видимо, Андропову нравилось выглядеть вершителем мировой истории.

Лондонская резидентура тем временем шуговала в Центр совершенно официальную информацию, уступавшую «Таймс» и другим серьезным газетам, но самое поразительное, что эта информация, хлынув нарастающим потоком, приобрела котировку ничуть не хуже, чем до разгрома в 1971 году, – вполне объяснимый парадокс: информационная служба уже задавала тон, в крупных точках имела своих представителей – отработчиков сырья, знавших, как писать и в каком стиле, чтобы нравилось в инстанциях, многие резиденты быстро усекли это нововведение Крючкова, и информация текла в основном без серьезной опоры на секретные источники. По этому поводу один из заместителей начальника разведки как-то заметил в полушутку: «Пожалуй, резидентуры только мешают работе Центра. Не закрыть ли их? Это будет и дешевле – ведь экономика должна быть экономной».

Естественно, разведка имела и агентуру в Англии, но капли ее вклада терялись в водопаде информации из газет.

Инстанции живо интересовались перипетиями в английских правительстве и политпартиях, взаимоотношениями Англии с США и НАТО, и с Африкой, и с Азией и, конечно же, позицией в отношении Советского Союза, однако лишь только в информации появлялись глубокие оценки положения в СССР, что, казалось бы, больше всего должно было волновать верхи, как все летело в корзину.

⁵⁶ Через полгода мы сдавали в архив дело когда-то крупного агента-англичанина, перешедшего затем на сторону врага, и обнаружили из прессы, что в Цюрихе ренегат встречался с Солженицыным – «Пауком». Как это использовать? Явились ребята из идеологической «пятерки» и предложили досадить «Пауку», раскрыв, что его новый дружок принадлежал к агентуре КГБ.

В результате я начертал письмо «Пауку» от имени диссидента – полковника КГБ, его почитателя и ненавистника Системы, с разоблачением англичанина, «пятерка», правда, сдержанно отнеслась к моему творению и поставила крест на операции.

Покоренный премудрейшим «либеральным» имиджем Андропова, в порядке здоровой инициативы я однажды отправил в перевод несколько статей советологов, кажется Эдварда Крэнкшоу и Виктора Зорзы, с анализом борьбы в Политбюро и передал материалы Крючкову для Андропова.

Вскоре они вернулись с размашистым: «Уничтожить!» Всматриваясь в андроповскую резолюцию, я вдруг понял, что он, как и все, включая Брежнева, панически боится подножки коллег: статья содержала едкую издевку над Суловым, кто знает, а вдруг поползли бы слухи, что председатель КГБ собирает компру на Главного Идеолога? На все ПБ? Что сказал бы генсек? Черт побери, действительно ужас! Возвращая статью, Крючков заметил, что такие материалы ему больше не нужны (сначала он нашел их интересными, иначе не стал бы докладывать).

Работать с Грушко было одно удовольствие, он не любил вмешиваться в оперативную текучку, просматривал лишь переписку с резидентурами, почти не правил документы, правда, очень тщательно готовил все, что текло наверх к Крючкову и дальше по восходящей – разумный стиль работы, избавлявший от суеты, вечного столпотворения в кабинете и сования носа во все дыры.

В козырных дамах нашего отдела ходила не спаленная Англия (от нее только и ждали неприятностей), не унылые скандинавские страны (кроме Норвегии, где была кое-какая агентура), не Австралия и Новая Зеландия (потом добавили Фиджи и Мальту), заброшенные, дохлые точки, приятные лишь для так называемых инспекционных командировок, а соседняя Финляндия, где, пользуясь особыми межправительственными отношениями, КГБ всегда снимал жирные пенки, оттеснив далеко в сторону МИД, и фактически занимался дипломатией, которую очень легко назвать, отдав дань моде, «политикой влияния».

Хватало тут, конечно, настоящей разведки, но мыльных пузырей было не меньше, финны легко шли на доверительные и прочие контакты, руководствуясь «особыми отношениями» между президентом и советским руководством, тем более что страна имела от СССР крупные экономические выгоды в обмен на эфемерные политические уступки типа «идеи Кекконена» о создании безъядерной зоны в Скандинавии, по сути дела блеф и иллюзия – кто бы стал выводить натовские базы из Дании и Норвегии?

Советским лидерам, испытывающим растущую международную изоляцию, просто необходимы были как самоутешение подобные лекарства, за них отваливали и лес, и нефть, и многое другое, совершенно ясно, кто выиграл в результате от «советского влияния» в Финляндии, бывшая глухая провинция обогнала Англию по уровню жизни, зато Россия корчится в нищете!

Финляндия напоминала огромный банкетный зал, в который валом катились советские вожди всех уровней, члены ПБ чувствовали там себя как дома, двери гостеприимства были широко открыты, ритуалы в саунах отработаны в деталях, меж парилкой и бассейном (или Финским заливом), за обильным столом решались важнейшие государственные вопросы, под приезд Брежнева на СБСЕ приобрели еще одну дачу, жизнь воистину была ключом...

Сколько умников выбивало там квартиры у размякших деятелей Моссовета, сколько народу погрело руки на сделках с финнами! Я сам, пробыв там однажды два дня и парясь в сауне торгпредства с зам. министра внутренних дел, получил от последнего визитную карточку, которой отпугивал ГАИ лет десять.

Но Финляндия, увы, не относилась к моему домену, а британские дела не радовали, хотя мы заручились помощью и других резидентур и в Москве времени зря не теряли и брали приезжих англичан в оборот.

Правда, так и не удалось найти светило на роль шефа резидентуры, англичане закаленных бойцов упорно не пускали, пришлось смириться с этим и держать шефами офицеров безопасности – контрразведчиков, с политикой, как правило, не друживших.

Пока мы страдали от агентурного безрыбья, английская пресса и особенно сотрудник МИ-5 Райт приписывали нам и бывшего премьер-министра Гарольда Вильсона, и шефа контрразведки Холлиса – такие агенты могли присниться лишь в розовом сне...

Тяжка была история резидентуры в 60 – 70-е годы, провалы измучили и подточили, и не покидает мысль, что среди нас действовал опытный английский агент (не Гордиевский,

попавший на английское направление лишь в начале 80-х), наверное, он спокойно ушел на пенсию и мирно доживает свой иск, подрезая розовые кусты на своей комфортабельной даче под Москвой.

Так и жил я спокойно, писал стихи и пьесы в выходные дни, ходил в ЦДЛ, иногда встречался с сыном, однажды проехал с ним, с отцом и сыном Тамары по «Золотому кольцу», жили суровой мужской компанией в гостиницах и палатке, отец был счастлив: он никогда не был ни в Ярославле, ни в Суздале, ни в Ростове Великом.

Я плыл по течению, радовался жизни, надеялся на лучшее.

Черт побери, а как еще можно жить?

Командировка в одной компании с Кимом Филби, который не любил чистить сковородки, но зато был первоклассным агентом

Ким едет к Еве – камикадзе!

А. Вознесенский «Возвращение Кима Филби»

Он умер в Москве 11 мая 1988 года.

Шумел, разрывался радиоэфир, газеты мира не скупилась на пространные статьи и некрологи – ведь вокруг имени аса советской разведки десятилетиями не утихали страсти, о нем выходили кинокартины, бестселлеры, монографии.

Вторая родина не баловала вниманием своего героя: скупые строчки о смерти в «Известиях» – так информируют о мелких землетрясениях, небольшие некрологи в «Красной звезде» и «Московской правде», без портрета, конечно, это не «Таймс» или «Фигаро». Безымянная группа товарищей, вечно скромные, невидимые товарищи.

Как-то удивительно правильно уравнивала нас смерть в той нежной Системе – и не важно, проник ли ты в самое сердце английской разведки, рискуя каждый день и ожидая провала, или же протирал всю жизнь штаны в руководящих кабинетах ПГУ или ЦК, – важно, что ты Номенклатура, тогда даже гроб положен поуютнее и посолиднее, и орденов погуще, чем у закордонного агента, и некролог соответственно пожирнее и покрупнее, с подписями членов правительства, а то и Политбюро.

Прощание в ведомственном клубе, конечно, без предварительного объявления в печати, впрочем, иностранная пресса не отрезана, благодаря наступившей гласности.

Впрочем, много ли знали в СССР о Киме Филби? Сначала сообщение в 1963 году, что некий гражданин Великобритании попросил в СССР политического убежища, дело понятное: не выдержал человек трущоб, безработицы и духовного распада буржуазного общества, порвал с печальным прошлым и уехал в страну светлого будущего. С годами в печать проникали лишь малые крупинки правды, вдруг народ не так подумает? не так поймет? Беда с этим народом, одна беда!

Да и Ким Филби плохо вписывался в идеальный образ положительного героя – разведчика, которым кормили страну десятилетиями, не из трудовой семьи – отец сначала верно служил британской короне в Индии, где 1 января 1912 года и родился Ким, а потом стал известным ученым-арабистом, получил титул сэра, обожал путешествовать и к концу жизни принял мусульманство.

И не только по происхождению, но и по другим параметрам мало подходил Филби под общепринятые стандарты, слишком много грешно-человеческого было в его натуре: и приверженность к шотландскому виски и недожаренным бифштексам, и романы, и четыре брака, и разводы, и любовь к свободе – сомнительное качество, когда работаешь на царство осознанной необходимости. Не стрелял он из пистолета без промаха, не прыгал с парашютом, не терпел спорта, не владел самбо и, наверное, и недели не продержался бы в нашем разведывательном ведомстве – тут же вышибли бы!

Зато он в избытке обладал мужеством и верой в ослепительную Утопию, посетившую его в привилегированном Кембридже, куда он поступил из не менее знаменитой частной школы Вестминстер, времена студенчества пали на годы мирового экономического кризиса, на

безработицу и нищету, кембриджский вольный воздух клубился от революционных идей, в колледжах шумели политические баталии, там Филби и увлекся марксизмом, хотя в компартию никогда не вступал.

Сейчас Система рухнула, идеи обанкротились, и еще долго мы, бывшие коммунисты, будем лупить современной палкой по спине ушедшего прошлого и развеивать ненавистные прахи, еще долго мы будем восстанавливать истину и винить в предрасположенности к сталинскому коммунизму Шоу, Уэллса, Барбюса и Фейхтвангера, Рамсея Макдональда и лейбористскую партию, французских социалистов, Милюкова, Бердяева и легионы других, еще долго мы будем надрываться и клеймить, вырывать людей и события из контекста совсем иного времени и иной психологии.

Ну а что, если представить, что в тридцатые капитализм выглядел действительно жутко? Или, мягко говоря, непрезентабельно? Если представить, что перед чудищем фашизма неведомая Россия, умело сокрытая от западных очей, выдвинулась многим чуть ли не спасителем мира от неминуемого краха? Что там интеллектуалы Барбюс, Шоу и Мальро! Что там левые лейбористы! – британский шпион Сидней Рейли в личном письме жарко писал своему другу Брюсу Локкарту, тоже честно боровшемуся с большевиками: «Я считаю, что, пока эта система содержит практические и конструктивные идеи большей социальной справедливости, она должна постепенно завоевывать весь мир».

Кровопускания Вождя народов и все ужасы последующих нелегких лет не раз порождали у Филби боль и сомнения. Вот что он написал об этом уже в Москве: «Когда стало ясно, что в Советском Союзе дела идут очень плохо, у меня оставалось три пути. Во-первых, совершенно бросить политику. Это было невозможно. Конечно, были у меня и интересы, и желания помимо политики, но только политика придавала им смысл и значение. Во-вторых, я мог продолжить политическую деятельность на совершенно иной основе. Но куда было податься? Политика Болдуина – Чемберлена оценивалась мною точно так же, как и сейчас: она была глупой. Я видел путь обидевшегося изгоя... и мог возмущаться и Движением, и Богом, которые подвели МЕНЯ. Ужасная судьба, как бы она ни была привлекательна! И третий путь – это вера в то, что революция переживет искажения, допущенные личностями. Этот курс я и избрал, полагаясь частично на разум, частично на инстинкт. Г. Грин в книге «Тайный агент» рисует сцену, когда героя спрашивают, лучше ли его вожди, чем другие. «Конечно нет, – отвечает он. – Но я предпочитаю людей, которых они ведут». – «Значит, бедных – правы они или нет?» – «А чем это хуже моей страны – права она или нет? Вы выбираете свою сторону раз и навсегда, это может оказаться и неверная сторона. Только история сможет это доказать».

«Это может оказаться и неверная сторона» – не случайно Филби остановился на этой цитате. Разные мысли, видимо, приходили ему в голову в Москве, в разгар триумфов развитого социализма.

Свою судьбу с советской разведкой он связал в 1933 году, когда заканчивал Кембридж, на Филби уже тогда имели виды, но требовалось «отмыть» левую репутацию, подмоченную прокоммунистическими симпатиями и романтической поездкой в Австрию, где юный Ким помогал спасать социалистов от преследований правительства Дольфуса, а заодно и вывез в Англию еврейку-коммунистку Литци Кольман, сделав ее женой.

Вскоре Филби по заданию разведки стал членом англо-германского общества дружбы, помогал издавать профашистский бюллетень и временами наезжал в Берлин для получения интервью у нацистских бонз. Образ юного германофила, отличавшегося умеренно консервативными взглядами, вполне отвечал чаяниям части тогдашнего истеблишмента, искавшего точки соприкосновения с фюрером и вскоре заключившего мюнхенские соглашения.

В феврале 1937 года в качестве корреспондента «Таймс» Филби уехал в Испанию, прямо в пекло гражданской войны, и не к республиканцам, а в войска генерала Франко. Профессия журналиста – сущий клад для работы разведчика, образованный англичанин с покладистым общительным характером регулярно передавал репортажи и даже удостоился «Красного креста за военные заслуги» от Франко.

В английскую разведку Филби удалось поступить в 1940 году – помогли и происхождение, и связи, – сначала дерзал он на испано-португальском направлении, затем ему добавили Северную Африку и Италию, а в 1944 году назначили начальником секции по борьбе

против СССР и коммунизма – можно представить ликование в кабинетах на Лубянке.

С началом войны советская разведка, имевшая в то время, наверное, лучший в истории России заграничный агентурный аппарат (это и неудивительно: ведь к нам тянулись многие антифашисты), переживала, как и вся страна, глубокий кризис. Кадры разведки были беспощадно репрессированы, и, самое главное, из-за закрытия посольств оказалась парализованной связь с Центром из Германии и оккупированных стран.

Гестапо запеленговало и подавило нелегальные резидентуры, последовали аресты в Бельгии и во Франции и в самой Германии, где осталась без надежной связи известная «Красная капелла», выжила еле-еле лишь нелегальная резидентура военной разведки в Швейцарии, хотя немцы и пытались протянуть туда свои щупальца.

В Англии же, естественно, имелась надежная связь через посольство, да и англичанам удалось расколоть некоторые германские шифры – так что Филби не ограничивался лишь информацией об английской политике.

«К началу 1942 года слабая струйка перехватываемых радиogramм абвера превратилась в поток», – писал Филби.

Но как повлияла информация Филби на решения Сталина? Известно, что она сыграла роль при сражении на Курской дуге, а как в остальных случаях? Что докладывалось, а что сочли пустышкой или даже «дезой»?

Величайшая драма и агента и разведчика: им почти всегда неведомы конечные результаты труда – информация перемалывается в бюрократическом механизме, один начальник пропустит, другой отвергнет, третий отретуширует до полной противоположности, на самом веру тоже колдуют византийские хитрецы, обожающие похлопать Хозяина по голенищу и подложить на стол то, что ему по душе и что показывает в глазах всех остальных членов правительства всю гениальность его внешней и внутренней политики.

Этот «человеческий фактор» свойственен и демократиям, но в особенности тоталитаризму. Как однажды признался великий кормчий Мао Генри Киссинджеру: «Лишь только секретные службы узнают, чего от них хотят, как сообщения сыплются, словно снежные хлопья».

В августе 1945 года Филби чуть не провалился из-за попытки сотрудника резидентуры в Стамбуле Волкова получить убежище у англичан взамен за информацию, свидетельствующую о проникновении в английскую разведку и Форин Оффис советской агентуры. Филби повезло, именно ему поручил и это дело, вскоре Волкова вывезли в Москву и быстро прикончили.

Озноб бежит по коже, но на войне как на войне, либо ты, либо тебя – Филби и впоследствии раскрыл многие операции, особенно в Восточной Европе.

В 1947 году Филби назначили резидентом СИС в Турции, где английская разведка добывала информацию об СССР и Балканских странах, направляла агентуру в Армению, Одессу, Николаев, Новороссийск.

Дела шли отменно, руководство СИС радовалось успехам Филби, в 1949 году его карьера пошла в гору: назначен на пост представителя английской разведки при ЦРУ и ФБР в Вашингтоне – по своему значению должность не меньше заместителя начальника СИС. Правда, в тогдашнем НКВД гордость успехами Филби носила по-советски странный характер: листая его дело, я наткнулся на заключение по всей знаменитой «пятерке», составленное, кажется, году в 1948 и подписанное тогдашним начальником отдела некой Модржинской, затем преуспевшей на академической ниве. После тщательного и тенденциозного анализа был вынесен вердикт: вся «пятерка» суть подставы англичан, дезинформаторы и провокаторы.

Правда, делу хода по неясной причине не дали, связь с агентами не порвали и, как в добрые тридцатые годы, не направили в Англию боевиков, дабы стереть с лица земли предателей.

Бывший заместитель Абакумова генерал Райхман, с которым я общался уже в годы перестройки, до конца жизни был уверен, что «пятерка» – провокаторы.

Все больше разгоралась «холодная война», все драматичнее становилось противостояние между СССР и бывшими союзниками. Острая борьба за сферы влияния бушевала и в Восточной Европе, и в Китае, и в Корее, англо-американский альянс играл доминирующую роль в международной политике, и Филби, находясь в самой кузнице принятия решений,

получал информацию, как говорят англичане, прямо из зубов лошади.

Что такое работа агента, осевшего в стане противника? Одна рутина и потому изматывает больше, чем любая авантюра. Жить вроде бы тихо и спокойно, играть свою роль с коллегами, с женой, с детьми, не выходить из образа, вечно проверяться и бдить, иногда топтать по улице в дождь с секретными документами в портфеле или красться к тайнику (кто знает, не окажется ли на месте встречи группа захвата? не тянется ли «хвост»? не произошло ли предательство?), немислимый стресс – такова жизнь Филби: игра с огнем под покровом темноты.

В 1951 году, когда англичане взяли на подозрение заведующего отделом Форин Оффиса Маклина, от Филби в Центр полетел тревожный сигнал, и вскоре Маклин и его коллега Берджесс бежали из Англии и объявились в СССР. Сразу же возникли вопросы: кто же предупредил советских агентов? откуда утечка? кто «третий человек»?

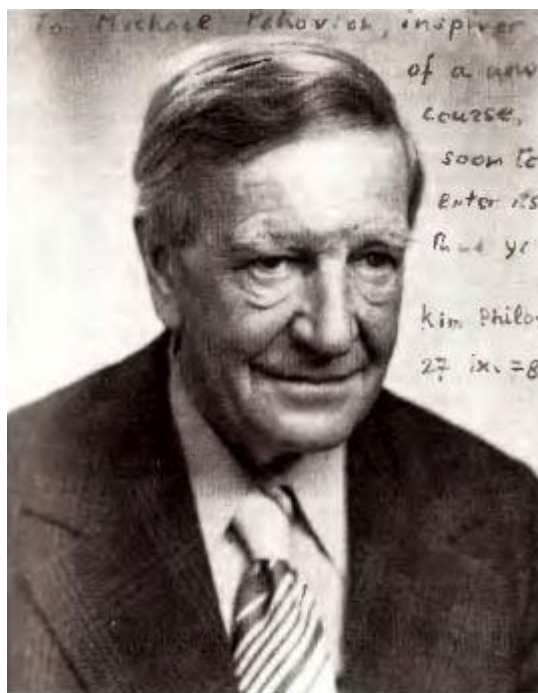
На Филби вышли без особого труда (он дружил с обоими в Кембридже, Берджесс даже жил у него дома в Вашингтоне), отозвали в Лондон и подвергли суровым допросам. Можно только позавидовать его мужеству и самообладанию: он не только не признался, но сумел на время отвести от себя подозрения и уйти в отставку с приличной пенсией.

Увольнение Филби не прошло незамеченным, вся история постепенно раскручивалась и, главное, приобрела политическую окраску, дав козырные карты лейбористской оппозиции, не упускавшей случая, чтобы щелкнуть по носу своих оппонентов.

И в 1955 году после публикации «белой книги» о деле Берджесса – Маклина в парламенте разразился оглушительный скандал о «третьем человеке» – Киме Филби, он попал в эпицентр невиданного паблсити, пресса разрывала его на части...

Тогдашний премьер-министр Макмиллан, спасая честь мундира спецслужб, официально заявил, что не располагает доказательствами о причастности Филби к делу. Бедный Мак! Через несколько лет лейбористы все же сбили его с пьедестала, и снова делом о советском шпионаже, на этот раз раздутым: связью военного министра Профьюмо с проституткой Килер, которая – трепещите! – интимно общалась иногда с помощником военно-морского атташе Е. Ивановым.

Филби выстоял в борьбе нервов, блистательно сыграл роль оскорбленной невинности, возмущенной клеветой прессы и подлостью коллег.



Ким Филби

В 1956 году, не без подсказки друзей Филби (человек он был светский и не избегал лондонских салонов), уважаемый еженедельник «Обсервер» предложил ему место в Бейруте, где он и писал благополучно в газету несколько лет, не теряя контактов с тамошней резидентурой СИС, – англичане так и не могли до конца поверить, что питомец истеблишмента

может работать на Советы. Так продолжалось до января 1963 года, когда его выдал кагэбист-перебежчик.

Филби перебрался в Советский Союз, где раньше никогда не был, увидел своими глазами нашу жизнь и, наверное, не на шутку удивился. Открылась новая страница в эпопее Филби, менее романтическая, окрашенная всеми цветами нашего живописного быта и суровыми порядками секретной службы.

Ковер гостеприимства расстилали железные руки, на всякий случай повесившие плотный занавес секретности под предлогом, что разъяренные английские спецслужбы могут отомстить «кроту», многие годы подгрызавшему самые корни государства.

Нелегко привыкал Филби к новой жизни, многое раздражало его, нехватку друзей и живого воздуха ему пытались компенсировать развлечениями, поездками по стране, выписали ему английские газеты, за которыми он конспиративно ходил на главпочтамт, выделили и трехкомнатную квартиру недалеко от Патриарших, в старом доме, окруженном запущенными типично московскими дворами (давняя архитектура «коробок» и помпезные кирпичные строения номенклатуры вызывали у него неподдельный ужас), в общем, по меркам простого советского человека, жил он вполне прилично, правда, без собственной дачи, без автомашин, без личного водителя и прочего, в отличие от многих его боссов, спустившихся с партийных небес.

Неприхотлив был Филби, не жаждал ни собственности, ни роскоши – вполне хватало ему тихого уюта центра Москвы, заботливой женской руки, кухоньки с замысловатыми специями, соусами и горчицами, пластинки Шопена на старом проигрывателе⁵⁷.

Библиотеку свою он без особых трудов получил из Лондона, английские власти, блюдя священные законы собственности, не ставили палки в колеса и, кстати, свободно пускали в Москву его родственников.

На полках стояли внушительные фолианты в сафьяне, не читать которые в начале этого века считалось так же неприлично, как разрезать рыбу столовым ножом: «История» Маколея, Босвелл о докторе Джонсоне, «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона, Томас Карлейль, Ренан, Геродот, Плутарх, Тацит, совсем забытые сегодня английские романисты XIX века Треллоп, Кингсли, Хоуп. К современным беллетристам Филби относился снисходительно, правда, ценил своего друга и бывшего коллегу Грэма Грина (он всегда навещал его, будучи в Москве), детективы, особенно о разведке, не читал – они вгоняли его в сон.

Жизнь в Москве постепенно входила в свою неумолимую колею.

Пришла любовь – Руфа, сотрудница научного института, красивая темноглазая женщина, ставшая его женой.

С женами у Филби было непросто: с первой брак был фактически фиктивным и они вскоре разошлись, вторая жена Эйлин умерла, родив ему несколько детей, третья – Элеонора разошлась с ним вскоре после его побега в Москву.

Что говорить – задохнулся бы без Руфы Ким от одиночества, он любил ее, верил ей до конца дней.

Вскоре решил он подвести итоги и написать мемуары – сложность невеликая с его легким пером и типично английским, горьковатым юмором – думал, наверное, что как в доброй старой Англии: год работы – и книга выходит в свет. Не тут-то было!

Не так это было просто в стране, где всегда на страже армии штатных и нештатных

⁵⁷ Мне это особенно нравилось в нем, и не потому, что я не люблю мягкую мебель и вместо автомашины предпочитаю телегу, просто у любого комфорта должны быть пределы, у нас же, увы, часто все тонет в заботах о ненасытном материальном благополучии, и человек крутится и страдает от них, и жизнь пролетает мимо.

Как утешают слова Чарльза Лэмба: «Ты пишешь, что лишился сладости жизни. Сначала я посчитал, что ты недоволен высокой ценой на сахар, но боюсь, ты имел в виду иное. О, Роберт, я не знаю, что ты называешь сладостью! Мед, розы и фиалки еще есть на земле. Солнце и луна еще царствуют в небе, и светила поменьше тоже оттуда мило мигают. Еда и выпивка, дивные пейзажи и чудные запахи, прогулки по лесу, весна и осень, глупость и раскаяние, ссоры и примирение – все это и составляет сладость. Хорошее настроение и добрый характер, друзья здесь, любящие тебя, и друзья там, скупающие по тебе, – это все твое, и все это сладость жизни».

идеологов, а тут еще признания в шпионаже в пользу вечно окруженной недругами державы! где это видано? где это слыхано? Какая разведка? Нет у нас разведки! Как у кота Бегемота: «Сижу, ничего не делаю, починяю примус!»

И все же книгу он написал, но далась она трудно: редакторские ножницы кастрировали рукопись беспощадно.

И все же по тогдашним стандартам книга вышла быстро: в 1968 году в Лондоне, с предисловием маститого Грэма Грина, взорвалась сенсацией и несколько раз переиздавалась. Почему в Лондоне? Да потому, что пробивали книгу как «активное мероприятие», разоблачавшее британские спецслужбы, иначе кто бы дал санкцию? Ким сумел сохранить в книге некую объективность и не опустился до уровня партийной печати, умевшей гоняться за ведьмами. Но, конечно, он не написал и четверти того, что хотел, а жаль...

Казалось бы, любой истинный патриот Отечества тут же повелел бы перевести книгу на русский, – ведь не в Англии же искать почитателей! – переводите, чтобы видели граждане, какие герои трудятся за кордоном, чтобы гордились, чтобы военно-патриотически воспитывались. Но тоталитаризм не просто туп, хотя и обладает поразительной, совершенно уникальной способностью подрезать сук, на котором сидит, доводить свои и без того скудные духовные силы до полного нуля.

Забота о чистоте мозгов своего народа, который не следовало отвлекать от доения коров, токарных работ и выполнения плана и тем более наводить на мысли о разведывательной работе в мирное время (с войной, слава Богу, хоть немного было ясно, благодаря Штирлицу), задержала перевод на годы.

Поговаривали, что скромный человек в кепке, Торквемада застоя Суслов, к тому же опасался «подрыва позиций английской компартии» и вроде бы английский генсек ему пожаловался, что дело Филби бросает тень на коммунистов – и действительно: Филби, в сущности, работал на Коминтерн.

Только через десять лет появилась книга в русском переводе, вышла в Воениздате, на ужасной бумаге, без слишком вольного предисловия Г. Грина, без эпилога – да и этот вариант протиснуть через бюрократические рогатки стоило огромной энергии и нервов. «Моя молчаливая война», естественно, на прилавки книжных магазинов не попала – законы дефицита охватывали не только икру и сервелат, но и литературу о шпионаже, – разлетелась по солидным ведомствам: ЦК, КГБ, МО etc. Впрочем, рецензий или обсуждения в печати не последовало – тема запретная, словно в песок все ушло.

Можно представить себе ярость Солженицына или Шаламова, которые, создавая свои труды, прекрасно понимали, с кем борются и что ненавидят, они стискивали зубы, когда их жахали по голове и конфисковали рукописи, но они знали, за что!

Гораздо сложнее представить бессильную ярость человека, с юности связавшего себя с Идеей и с разведкой – частью Системы, написавшего книгу и ожидавшего благодарных оваций, – и вдруг вместо этого мурьжат, спускают на тормозах, режут на части. Железный каток прошелся по Филби, почувствовал он на себе, что такое смрадное болото.

За годы московской жизни Филби русифицировался, выучил слово «блат», понял, о чем можно говорить вслух и о чем нельзя, и даже полюбил сигареты «Дымок», напоминавшие ему по крепости любимые французские «Голуаз». С легкой иронией относился к гала-представлениям наших тогдашних богов, отмахивался от звона пропаганды, хотя и не кричал на каждом углу о своих настроениях!

Став заправилой антианглийской деятельности на всей нашей планете, я решил опереться на блестящий опыт прошлого, на мудрые советы Маклина, Блейка и Филби. Помимо всего прочего, к этим легендарным фигурам я испытывал человеческий интерес и пиетет, много знал о них не только по западным публикациям, но и по агентурным делам, которые заполучил при работе над диссертацией об английском национальном характере. От встречи с Маклином меня отговорили, сославшись на его кислое отношение к КГБ, с Блейком мы однажды пообедали в «Арагви», но он настраивался на научную работу в Институте мировой экономики и международных отношений – оставался Филби, закрепленный за управлением «К», которым тогда ведал Олег Калугин.

Познакомились мы в ресторане на его дне рождения первого января, на церемонию эту

сбирались некоторые из тех, кому довелось прикоснуться к его деятельности в окопах на Западе, но больше отцы-благодетели, курировавшие его на второй родине.

Конечно, к 1974 году Ким уже серьезно оторвался и от политики, и от оперативных дел, но глубинные знания делали его полезным советчиком, тем более что он прилежно слушал Би-би-си и получал английские газеты.

Филби скучал, он жаждал деятельности, но она так и не наступила: сначала его «доили» по прибытии из Бейрута, а потом охраняли, опасаясь «экссов» мстительной британской разведки, а на самом деле изолировали от нежелательных контактов.

Да и что за работа в уютной московской квартире? Ким, допуская свой провал и побег в СССР, представлял свою жизнь совсем иначе: утром машина у подъезда, ровно в девять – служебный кабинет на Лубянке, телефонные звонки, срочные телеграммы – равный среди равных, почему бы агенту доверять не меньше, чем кадровому сотруднику? Ведь такой агент, как Филби, стоит десяти отечественных лбов по своей преданности.

Но агентам уготовлена иная судьба, держат их на привязи и только внешне обращаются как с равными. В спецслужбах, наших и иных, развито чувство снисходительного отношения к агентам, особенно иностранцам, им не доверяют при всей внешней любезности, а иногда в душе презирают, как предателей. Агенты чувствуют это и переживают: не случайно Филби однажды вдруг прорвало: «Что ты деликатничаешь? Думаешь, я не знаю, что я – агент, который находится на связи? Всего лишь агент!»

У Филби я бывал довольно часто, и не только о политике и разведке лились беседы за бутылкой виски, говорили о любви, о жизни, о предательстве, он угощал меня сигарами, и вся обстановка весьма напоминала клубную библиотеку в Лондоне, куда переходят из зала пить кофе с портом.

Оба мы, как профессионалы, исходили из того, что квартира Кима прослушивается хотя бы по вечной традиции чекизма: «доверяй, но проверяй», естественно, об этом помалкивали, однако в меру рассказывали анекдоты о Брежневе и деликатно критиковали правительство.

Однажды, во время дискуссии о Солженицыне, я попытался подсластить пилюлю и перевалить вину за его высылку на узколобую тайную полицию. В ответ Ким возмутился и закричал: «Неправда, ты тоже несешь за это ответственность! И я! Все мы несем ответственность!»

Идею создать при нем небольшой ликбез для молодых сотрудников, нацеленных на Англию, Филби принял на «ура», вскоре на конспиративной квартире и состоялся первый семинар, молодежь сначала стеснялась и задавала асу корректные вопросы, а потом, когда начался легкий фуршет (дабы молодые разведчики реальнее представляли тяжкие условия заграницы), сердца и головы растаяли, начался непринужденный разговор.

В 1976 году перед отъездом в Данию я добился выделения некоторых сумм для снабжения Филби нужными ему товарами, и не потому, что Филби испытывал лишения, – просто человек, привыкший к оксфордскому мармеладу или горчице «мэль» и не видевший их лет пятнадцать, по-детски радуется, когда разворачивает пакет, не говоря уже о фланелевых брюках – принадлежности туалета любого уважаемого джентльмена.

Через дипломатическую почту мы обменивались иногда полуконспиративными шутливыми письмами, выборки из переписки звучат просто как диалоги из светских комедий:

Ким . «Мой дорогой Майкл! Прекрасное зрелище явилось на днях перед нашими глазами: вошел Виктор с огромным пакетом, в котором находились крупный запас мармелада, не говоря о шафране, горчице «мэль» и чудесной почтовой бумаге с вензелем и монограммой «К». Кеннеди? Кинг-Конг? Или, может быть...

Мы очень благодарны, как всегда, за все эти подарки, и лимонная кислота будет напоминать мне остроту наших бесед».

Майкл . «...Здесь довольно спокойно: никто не отрезал голову нашей скучной русалке, никаких террористических актов, высылки или арестов. Наша Руритания последние 6 месяцев председательствовала в ЕЭС и стала центром Европы. Будьте уверены, что Руритания забьется отныне в рыданиях из-за дефицита мармелада. (Знал ли бедный Маггеридж о Вашей

обезоруживающей страсти к мармеладу? Это материал для хорошего романа.)⁵⁸».

Ким . «...Я храню для Вас одну из специальных сигар – Фиделиссимо. Прием на «острове Свободы»⁵⁹ был более чем радушным, нас всюду сопровождали толпы людей. Очень приятно, конечно, но не совсем наша чашка чаю. В Москве прошел медицинское обследование. Легкие чисты, как свист, а печень выглядела просто прекрасно. Таким образом, Вы видите, чего можно достигнуть (почти) пятидесятилетней диетой на алкоголе и табаке».

Майкл . «Ваш портрет⁶⁰ в рамке серебряного цвета висит прямо над прилавком, недалеко от портретов богов. В случае насильственного налета на мое помещение он будет вещественным доказательством для объявления меня персоной нон грата».

Ким . «Роуландсона⁶¹ я еще не видел. Наш друг Виктор, с присущей нам всем профессиональной осторожностью, передал его в запечатанном коричневом пакете. К сожалению, по дому бродит теща, и я не знаю, как она будет реагировать на эротику. Будьте уверены, что я не сожгу эту книгу и не верну ее, но, если наступят черные дни и инфляция съест мою пенсию, я продам ее на черном рынке около почтамта».

Майкл . «Продавайте Роуландсона не целиком, а по отдельным картинкам. Если Вам удастся вставить их в рамки и организовать выставку, то денег хватит не только на нас всех, но и на реставрацию всех мест, связанных с Роуландсоном в Англии».

Ким . «Дорогой Майкл! Я позорно запоздал с благодарностью за новый поток чудес к Новому году. Замененные джинсы оказались впору, очки тоже. Не говоря уже о «Хейг, Харпер и К°», «Максвелл Хаус», соевом соусе, горчице и прочих вещах. Наконец, Вы решили джинсовую проблему, которая мучила многих математиков в последние годы. Жене теперь остается лишь потерять несколько кило, набранных во время поездок в Болгарию и Венгрию. Вы пишете, что старые можно оставить для Вашего секретаря. О'кей – если Вы представите ее, дабы я мог убедиться, что они ей действительно подходят. Несомненно, что я буду с ней не особенно проворен – мне уже 70, но таков стиль моей работы».

Майкл . «Я рад, что Вы довольны деятельностью нашего магазина. Вершиной ее, конечно, явился заказ очков для Вашей жены. Спасибо за хорошие шутки. Сейчас завершаю коллекционирование Хоупа, и меня уже не удивят имена Руперта из Хенцау или Рудольфа Рассендилла, хотя я еще не нашел тома о Руритании и Черном Майкле»⁶².

Ким . «Если мне не изменяет память (это сейчас часто происходит), Черный Майкл фигурирует в «Пленнике Зенды» – первой из книг о Рассендилле. Спасибо за «туборг» – он вызвал воспоминания об утренних часах, проведенных в баре «Нормандия» в Бейруте. Единственная беда – это то, что жена не может влезть в вельветовые джинсы. Я полагаю, что они были предназначены для другой девушки, как в том случае с мужчиной, который написал письма своей любовнице и незамужней тете, а затем положил их в разные конверты».

Майкл . «Я никогда не предполагал, что Вы такого плохого мнения обо мне, чтобы ставить под вопрос способность определять женские размеры на глаз. Особенно когда дело касается хороших женских фигур. Спасибо за Ваше послание. Сравнение с Грэмом Грином

⁵⁸ Малькольм Маггеридж во время войны работал вместе с Кимом, потом стал крупным публицистом, много трудился на телевидении.

⁵⁹ Под чужой фамилией Кима с женой направили отдохнуть на Кубу, посадив на торговое судно.

⁶⁰ Я повесил портрет Филби с его собственноручными пожеланиями успехов точке в своем кабинете, недалеко от портрета Ленина – посторонние из «чистых», иногда заходившие ко мне, терялись, увидев этого явного иностранца. Предполагали, наверное, что это какой-нибудь большевик-инородец, датский коммунист или коминтерновец.

⁶¹ Роуландсон Томас – английский живописец XIX века, блестящий автор фривольных, комедийно-эротических гравюр, не рассматривайте его картины долго: потеряете веру в любовь.

⁶² Это все ныне забытые романисты прошлого века, в которых меня пытался втравить Ким.

сделало меня ленивым снобом, и только падение руританского правительства привело в чувство».

Ким . «Возможно, Вы слышали о капитальном ремонте, который мы перенесли в 1979 году. Как говорят, страдая от похмелья: «Больше никогда!» Мы были поражены историей с бедной Тамарой, оказавшейся отрезанной от мира в Варнемюнде, – несомненно, вокруг ее поезда были волки – и вашими невероятными усилиями по спасению своей супруги. Вот так нужно проводить отпуск!..Итак, Старый Контрабандист⁶³, я не знаю, облегчит ли этот длинный список Ваши тяжкие личные решения или вызовет сердечный приступ. Я слышал, что Вы возвращаетесь. Вам придется привыкнуть к виду одетых девушек. Если Вы читали «Остров пингвинов» Франса, то вспомните, что мужчины-пингины проявляли интерес к тем женщинам-пингинкам, которые были достаточно бесстыдны, чтобы носить одежду».

Майкл . «Небольшая просьба. Я горд, что Вы посвятили меня в рыцари, дав титул Черного Майкла Руритании. Попросите Олега сменить мое скучное «007» на эту роскошную пиратскую кличку. Должно быть, Вы знаете, что меня, как и всех нас, мутит от цифр».

Ким . «Олег переехал в точку севернее нас, ходят слухи, что Виктор Пантелеевич тоже уйдет, и даже Геннадий нервничает. Я думаю, хотя мне не следует этого писать, что его босс – это сукин сын, которому следует занимать место мелкого клерка в деревне, в трех часах езды от Верхоянска на грузовике по разбитой дороге. Однако каждая большая организация должна иметь свою долю дураков. Се ля ви!»

Эти строчки – уже вопль, Олег – это Калугин, переброшенный, а точнее, выброшенный в Ленинград, с уходом шефа менялся и весь персонал, работавший с Филби, не ясно, какого именно сукиного сына имел он в виду, выбор в КГБ достаточно широк, впрочем, важно не это, а ярость Кима – о, Верхоянск и тряска на грузовике по разбитой дороге!

После отставки я лишь переговаривался с Кимом по телефону, зная, что на наш контакт посмотрят косо, считая, что я его поддерживаю «в личных целях», Ким это тоже, по-моему, понимал, он все чаще болел.

Первый инсульт.

Скучал ли он по Англии? Он был англичанином до кончиков ногтей, с уходом имперского поколения таких уже почти не осталось: детство в колониальной Индии, энциклопедическая закваска Вестминстера и Кембриджа, война и разведка, разведка и война.

А дальше – тишина, как говорил принц Гамлет.

Новокунцевское кладбище.

Словно о Филби написал Руперт Брук:

Лишь это вспомните, узнав, что я убит:
Стал некий уголок, средь поля, на чужбине
Навеки Англией. Подумайте: отныне
Та нежная земля нежнейший прах таит.
А был он Англией взлелеян; облик стройный
И чувства тонкие она дала ему...

Был ли он предателем? Для одних – да, для других – нет.

Начальник охраны римского императора Себастиан тайно сочувствовал христианам и шпионил в их пользу, за что и был распят римлянами, а затем причислен христианами к лику святых.

Ким Филби уже в юности возненавидел капитализм и перешел Рубикон, он твердо шел к цели, не жаждал ни денег, ни славы, останься Филби рыцарем истеблишмента – и разведку бы мог возглавить, и н парламент войти, и не курил бы «Дымок» на квартирке у Патриарших прудов, кушая дефицитную колбасу, принесенную из спецбуфета КГБ, а, наверное, процветал бы в особняке в Челси, отдыхал на французской Ривьере, катался на «роллс-ройсе» – правда,

⁶³ Для неискушенных: «Старый контрабандист» – сорт виски, хуже, конечно, чем кородряга.

думаю, такие бредовые мечты ему и в голову не приходили.

Чернорабочие разведки тех времен (существуют и паркетные разведчики) о себе не заботились, они рисковали, служили преданно, верили в добро, заставляли себя верить: не могли отказаться от своей мечты, не осознавая еще, что она давно высосала из них всю кровь.

Дания, 1976 – 1980

Осрик. С возвратом в Данию, принц. Поздравляю вас.

Гамлет. Благодарю покорно.

У. Шекспир

К своей будущей судьбе я относился фатально⁶⁴, тем паче что все заграничные точки были укомплектованы резидентами и вакансии в ближайшее время не светили. Работа по Англии после топких болот АСУ вначале взбодрила, но пыл вскоре остыл.

Я форсировал диссертацию, которая казалась все более дурацкой и ненужной для, возможно, существующей души, в кабинет к Грушко все чаще заходили руководители других отделов (его близость к Крючкову становилась заметной), тогда принято было пропускать по вискарю, отмечать на работе праздники и дни рождения, благо, что дань из-за бугра поступала бесперебойно. В город мы выезжали редко и варились в своем бетонно-стеклянном склепе в Ясенева, нагружаясь портом и озоном.

Иногда рутину нарушали загранпоездки, связанные с глобальными задачами: я посетил Голландию, а попутно и Бельгию с Люксембургом, обтопал и музей Ван-Гога, и домик Франца Хальса, взглянул даже на брейгелевскую «Сумасшедшую Грету» в Антверпене (собственно, затем я и приезжал! – шутка в духе маразматика-чекиста в спортивных брюках, конспиративно подмигивающего красным глазом соседу по этажу), побывал я и в Швейцарии, воображая себя Алленом Даллесом, ведущим тайные переговоры с антигитлеровскими генералами.

Все это на миг воспламеняло тлевшие угли и заставляло забыть и о мертвых идеалах, и о странных, как будто специально подобранных тупых физиономиях вождей (одна надежда – умница Андропов! – думал я тогда, хотя зря он терзает диссидентов...), и о косных пустопорожних речах, и о трупно-холодной длани бюрократизма, сжимавшего горло разведки, – я все же любил тогда свою пиратскую профессию, я гордился своей причастностью к касте избранных, наверное, не меньше масонов ложи розенкрейцеров.

Иногда для координации усилий и для решения кадровых проблем приходилось выезжать в МИД, над которым в разведке КГБ посмеивались: и впрямь комично, что большинство дипломатов не встречались с иностранцами, а гнали всю информацию на основе газет (сравнительно скромные представительские прожирали послы, а остальным не доставалось).

В те годы особую неприязнь у Крюčkова вызывал посол в Англии Луньков, человек с характером, иногда наступавший на хвост КГБ, все мидовские телеграммы после прихода Андропова в ПБ мы читали и возмущались попытками посла зазвать любой ценой Брежнева в Лондон («Вчера встречался с премьер-министром Хьюмом, тот интересовался здоровьем Леонида Ильича и видами на урожай»).

Иногда меня приглашали в ЦК то провести беседу об Англии с отъезжающей туда периферийной делегацией (обычные аморфно-серые партийные дяди и тети, неопишимо похожие друг на друга), то просветить какого-нибудь коммунистического деятеля из страны Содружества о способах поддержания конспиративной связи и получения от нас денег.

Деньгами для призрака, вдоволь побродившего по миру, занимался специально

⁶⁴ – Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? – спросила Алиса.

– А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.

– Мне все равно... – сказала Алиса.

– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот.

Льюис Кэрролл.

выделенный сотрудник, он сам и ездил за «табаком» в международный отдел ЦК – такую незатейливую кличку получил золотой телец, – затем мы все распределяли по странам, снабжали не только компартии Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, но и некоторые афро-азиатские страны Содружества, имевшие представительства в Лондоне.

Жизнь в Ясеневе катилась своим размеренноумеренным чередом: автобус в Москву и обратно в определенное время, – прохожие с любопытством посматривали на скопившихся на остановках по-за-граничному одетых товарищей с атташе-кейсами. В ПГУ одевались как положено чиновникам, начальство блюло порядок, однажды Крючков, любивший прошествовать пешком по лесу от кольцевой, где его оставляло стремительное авто, засек на проходной человека в бороде и джинсах и сделал ему внушение. Последний, оказавшийся слесарем в нашем дворце и сроду не видевший Повелителя Шпионов, в ответ послал его очень далеко, преступника, естественно, задержали, но помиловали.

Работа Центра протекала за чтением депеш в резидентуры и из резидентур, за беседами с посетителями из разных подразделений и из-за границы, шли оперативные совещания, политучеба в рабочее время, ибо в шесть уже уходили автобусы, и так каждый унывный день.

За огромными окнами небольшого кабинета расстилались леса и поля, и в Ясеневе я испытывал тоску по Москве: пир природы на работе сменялся безобразными коробками, пустынными улицами дома в Чертанове, запущенными витринами, редкими унылыми прохожими с авоськами – все это придавливало, как свинцовая туча, и иногда хотелось бросить все эти пейзажи, бежать от них куда-нибудь в центр города, где толпы людей, старинные особнячки, знаменитые театры и галереи.

Но тут ударил колокол и призвал горн: у резидента в Дании внезапно умерла жена, предстояла его замена, выбор пал на меня (брат резидента из другого отдела Грушко не хотел, у нас и так «чужаки» уже перехватили в точках достаточно теплых мест), и вскоре я уже листал датские дела и проходил через все инстанции.

Визу мне запросили заранее, хотя датчане редко отказывали, особенно советникам (два моих предшественника тоже прошли через лондонскую резидентуру и прекрасно известны были как разведчики), выезжал я без особой радости: от этого древа я уже вкусил, хотелось неизведанного, правда, я успокаивал себя тем, что, будучи хозяином, я смогу выкроить массу времени и вволю заняться Литературой.

Снова соблазнил дьявол, снова несло меня по течению, какие скорости, какие сосны! Пути крошатся, наступают, пятятся, как кошки, мне под фары катятся, визжа, царапают колеса. А я их фарами глотаю, огнем моторным прожигаю, рулеткою крутится руль... Нет, я не умер! Я – живу! Я выжимаю сотни, а голос сзади просит: «Куда ты мчишь бессовестно, ошеломленный скоростью?» Затормозить? Педали стали вязкими, и только зеркальце горит улыбкой дьявольской, смешались в карусельный круг пруды и рощи, сгорели зданья на ветру – сплошная площадь. А голос сзади: «Подожди, ты гонишь очень! Пора с безумием машин покончить. Остановись. Взгляни вокруг. Сегодня осень». Мальчишка вдохновенно гонит через дорогу обруч...

Итак, проводы в ресторане⁶⁵ (кажется, тогда Крючков в очередной раз ввел на них запрет, чтобы, как обычно, не напивались до чертиков и не совершали ЧП, руководство любило тешить себя запретами, например, после ухода на Запад кого-то из предателей запрещали выходить из служебного здания с портфелями или требовали обязательно их раскрывать), элегические речи, добрые пожелания, прощание на Белорусском, успокаивающий стук колес и, наконец, копенгагенский вокзал: на перроне стояли резидент и рядом Гордиевский со светлой улыбкой на устах.

По сравнению с моим первым заездом доблестная линия политической разведки

65

Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан.

И. Бродский

деградировала: на американском фронте стояло безнадежное затишье, реальных агентов вообще не было, зато те датчане, которых в свое время мы считали обыкновенными дипломатическими связями (и мысли не было их вербовать), получили таинственные клички и стали в духе андропова-крючковой показухи «доверительными связями» и «связями влияния».

Линию политической разведки в Дании возглавлял уже два года Гордиевский, он же заместитель резидента, в наш отдел его взяли из управления, занимавшегося нелегальной разведкой. Грушко и остальные ценили его как грамотного (так любили квалифицировать в служебных характеристиках, словно только что вылезли из лаптей) и эрудированного сотрудника, хотя весьма сомневались в его орг-способностях и особенно в оперативной хватке: серьезных вербовок на его боевом счету не было – ужасно! хотя в Дании ему удалось законтачить какого-то левака-негра (это считалось третьим сортом), то ли из Мозамбика, то ли из Занзибара, – интересно, подвесили ли его на крюк за гениталии по сигналу Гордиевского или перевербовали на англичан? Есть зловещий привкус в том, что сам затягиваешь в сети, а потом выдаешь противнику, впрочем, в войне разведок правила хорошего тона как-то не прививаются, каждая семья счастлива по-своему, как у Льва Толстого.

Линия научно-технической разведки выглядела вполне прилично, линия контрразведки же, как обычно, не бросалась на спецслужбы, а предпочитала ворошить советскую колонию. К счастью, уже прикрыли представительство отдела «мокрых дел», которое уже давно перекалфицировалось с убийств на «мероприятия на случай войны», причем нее выглядело заскорузло и комично.

Странно, что Гордиевский не добрался до этих планов, они потрясли бы лишний раз мир: в день «Х» взлетали на воздух мосты, перекрывалось водоснабжение, останавливались электростанции, кого-то травили, кого-то убивали, как в страшных фильмах... – и все мифическая туфта!

В тот же вечер резидент представил меня послу Егорычеву, бывшему секретарю МГК, отбывавшему ссылку после критики состояния ПВО Москвы (в идеальности оно же мы убедились, когда Руст приземлился на Красную площадь), посол был в меру любезен и настроен на деловое сотрудничество, я уже заранее был расположен к нему как к пострадавшему за правду.

От меня не укрылись сдержанность и настороженность посла, хотя никто в КГБ и словом не обмолвился, что я должен присматривать за опальным вельможей, видимо, считали, что, если Егорычев начнет сколачивать диверсионную группу для свержения незабвенного Леонида Ильича или поведет злостную антипартийную пропаганду на собраниях, я и без напоминаний возьму его за бока.

Через несколько месяцев после моего восхождения на престол из Центра прибыла телеграмма, в которой мне предписывалось вылететь в столицу «в связи с возникшей оперативной необходимостью». Вызов не застал меня врасплох, ибо перед отъездом мы договорились через некоторое время обсудить все дела тет-а-тет в спокойной обстановке ясеневских кабинетов.

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что причиной вызова был проданный мной перед отъездом «Москвич-8», который был перепродан по двойной цене, более того, мой дилер обвинялся в убийстве, что, собственно, и послужило основанием для раскрытия продажной стоимости машины.

В Москве стояла жара, дама с немывыми волосами и с сигареткой в зубах, которая вела мой допрос в районной прокуратуре, либо жила раньше в пустыне Гоби, либо использовала смешанный с дымом кабинетный зной как средство выколачивания показаний: пот с нас обоих лил градом, естественно, она видела во мне злейшего врага – советника посольства, зажавшегося на западных харчах (о КГБ она не знала), и, конечно же, спекулянта. Оценочная стоимость моего «Москвича» в магазине была три тысячи, мне же дилер дал на три тысячи больше с учетом запчастей. Следовательно, не щадя себя, выбивала из меня истину, дело закончилось очной ставкой с дилером в Бутырке (мой первый визит в советское пенитенциарное заведение, впереди еще было Лефортово, какое будет следующее – предполагать не берусь), подсудимый оказался приличным человеком и тут же прояснил

истину.

Во всей этой истории меня поразило внешнее законопослушание трусливой системки: подумать только! тратить деньги на командировку резидента и легко передавать его в руки правосудия – где же вы, «хваленое доверие», прославленная «корпоративность» разведки?! И это меня, перевидавшего многие тысячи долларов и агентуре, и коммунистам! Уж своих-то приближенных, свою номенклатуру оградили бы сотней заборов от прокуратуры, которую в КГБ всегда считали чистой формальностью. Тем не менее возвратился я в Копенгаген в хорошем настроении, в результате мне даже понравилось, что меня, как простого смертного, подвергли допросам – разве это не свидетельствовало о равенстве в советской демократии?

Ах, как хорошо быть резидентом! Не хуже, чем генералом! Этого не чувствуешь лишь дома, где жена называет тебя уменьшительными именами, требует пылесосить и даже порою устраивает легкий скандал, забыв о твоём величии и видя в тебе рядового мужа, а не сановного супруга.

Черный «мерседес» с автоматическим управлением, здание посольства за оградой, движение от машины к зданию, дежурный, увидев на экране телевизора державную фигуру, нервно нажимает на кнопку дистанционного управления железной калиткой, она покорно жужжит, ожидая прикосновения властной руки – и вот вестибюль посольства и раздача рукопожатий, словно ты – член Политбюро во время визита на ВДНХ и вокруг ошалевший от любви народ.

Подъем в служебный кабинет по деревянной старомодной лестнице сопровождается принятием различных глобальных решений: кому-то нужно срочно вырвать зуб и он отпрашивается, вчера наловили в море рыбки – не угодно ли по-товарищески? когда лучше назначить бюро? – это секретарь парткома, завхоз шепчет конспиративно, что подобрал наконец в мебельном магазине хороший кожаный диван, офицер безопасности докладывает, что в кооперативный магазин завезли тонкие французские вина, которые порекомендовал опытный резидент.

Кабинет убран и провентилирован, на стене – портрет Ильича в последние годы жизни, не ходульный, а тот, на котором он смотрит исподлобья трагическим взглядом, сбоку портрет Кима Филби, призванный вдохновлять дружину на ратные подвиги, в углу подержанный сейф, на столе еженедельник, в котором расписан каждый день и час, лупа (не для исследования а-ля Шерлок Холмс следов убийц, а для чтения фотопленки или мелкого текста), конечно же, груда карандашей и ручек для мудрейших резолюций, рядом шкафчик со справочниками и приемник «Шарп»⁶⁶.

Кабинет убирало доверенное лицо, все в посольстве знали, что это кабинет шефа КГБ, и никто не смел войти туда без осторожного стука или без предупредительного телефонного звонка.

Все руководители совучреждений свидетельствовали там свое почтение и приходили «посоветоваться», посла обычно я посещал сам, хотя он, будучи по природе демократом ленинского толка, иногда гоже захаживал в святая святых.

Туда я иногда затягивал и генсека коммунистической партии Дании, вручал ему деньги из ЦК КПСС, получал расписку – все это с тостами за солидарность трудящихся и за дальнейшие успехи страны Советов.

Рабочий день резидента уныло-бюрократичен.

Усевшись в кресло, я начинал с датских газет, тут же шифровальщик, всунув предварительно голову (вдруг в кабинете гости из чужаков), притаскивал телеграммы из Центра, их я листал чуть снисходительно – ведь к Центру отношение как у полководца на

⁶⁶ Должен признаться, что Вальтер Шелленберг, шеф германской разведки, намного меня переплюнул: «Огромная, прекрасно меблированная комната, покрытая толстым роскошным ковром... письменный стол красного дерева, напоминающий маленькую крепость. В него заделаны два автомата, которые могут изрешетить всю комнату пулями. Они нацелены на посетителя и двигались за ним во время приближения к моему столу. В случае необходимости нужно лишь нажать на кнопку – и оба автомата стреляли одновременно. Кроме того, имелась другая кнопка, с помощью которой я мог вызвать охрану для окружения здания и блокирования всех выходов».

передовой к Генеральному штабу (что там они понимают, не нюхая порохового воздуха?), ЦУ чрезвычайного характера бывали редко.

Под телеграммы являлись на утренний обмен идеями заместители (их трое, поменьше, чем у Предсовмина, но все равно греет душу), иногда краткое совещание оперсостава с обсуждением, как говаривали большевики, текущего момента, затем переход в кабинет посла на обзор прессы, там каждый сверчок знал свой шесток и никто не бухался нагло в кожаное кресло, в котором обычно сидел резидент.

Отношение в совколонии к КГБ, естественно, почтительно-трусливое, все считали, что КГБ не только прослушивал каждую тетю Маню и следил за всеми, но и вершил местную историю, – миф удобный, культ разведки придумали гениальные люди, и никому не приходило в голову, что резидент с утра иногда мотался с женой на пригородный рынок, где в два раза дешевле помидоры.

Обзор прессы, прерываемый пронизательными репликами посла, длился около часа, затем возвращение в свою крепость и утверждение оперативных мероприятий (порядок тут, как у Ежова, без визы резидента шага не ступить), вызовы на ковер подчиненных, активная умственная работа.

В час дня – обеденный перерыв, иногда дома, иногда в ресторане с каким-нибудь членом парламента, обычно в ресторанчиках у канала – «Золотая фортуна» и «Круг», с видами на правительственные здания, что не позволяло остынуть оперативной страсти.

Исполненный глубокого смысла разговор, интенсифицированный коньячком, задумчивое возвращение пешком в посольство с заходом в книжные и прочие магазины, снова деревянная лестница, портрет строгого Ильича, изысканная работа опытным пером над информационной телеграммой в Центр – исполнен долг, завещанный Крючковым...

Засиживаться после шести я не любил, хотя обычно перед отправкой дипломатической почты обрушивался неизбежный совковый аврал: кто-то не успевал дописать документы заранее, все ждали до последнего и вываливали целую кучу. Большинство трудяг после шести тянулось в кооперативный магазин, что в клубе, где бывало и кино, и самодеятельность, кое-кто млел с удочкой на берегу (верняк: две-три трески за час) или совершал семейный променад по набережной, насыщая легкие йодом.



Очень хотелось быть Штирлицем, но не дозрел. Кинопроба, 1983 год, г. Москва

Мой англофильский снобизм сменился симпатиями к Копенгагену: полюбил я бродить по центру, нестерпимо уютному и домашнему, мимо невзрачных протестантских церквушек, по закоулкам с книжными лавками, порой замирал в шоке у порновитрин, где бородатые дяди страстно возились с козами, шагал по пешеходке Строгет на Ратушную площадь, попутно съев пару сосисок-пельсеров под умиротворяющее пиво. Знаменитый парк Тиволи казался мне тесным, и я предпочитал загородный парк, куда добирались по набережной, любуясь капризным морем, по вечерам оно было особенно красиво, и хотелось все бросить и просто пожить в отеле прямо на берегу, забыть о Центре, об агентуре и шифровках, пить с утра молоко с круглыми булочками, намазанными джемом, пожирать овсянку, стараясь, чтобы она не

вытекала изо рта, и, конечно же, завершать эту идиллию дурманящим кофе, после которого хочется любить, дружить и писать романы под заботливым оком Софьи Андреевны...

Мы часто выезжали в неприметный Эльсинор, где, как оказалось, принцем никогда и не пахло (он дерзал в Ютландии), однажды прямо во дворе замка мы смотрели «Гамлета» в исполнении английской труппы, спектакль был вял, предусмотрительные организаторы раздали пластиковые плащи на случай дождя – и действительно, в тот момент, когда Гамлет убил Полония, с неба обрушился ливень.

Недалеко от Эльсинора прямо на морском берегу примостилась художественная галерея Луизиана, около нее трепыхались и дрожали на ветру абстрактные построения Кальдера, возлежали у берега на зеленой траве статуи Генри Мура, напоминавшие великанов из другого мира, в кустах запрятались скульптуры Майоля – прекрасные мысли о том, что только искусство, вынесенное из помещения на стены домов и площади, становится близким народу, расцветали там с новой силой.

Друзья мои, Данией нужно наслаждаться, как жизнью, а не заниматься там шпионажем! Впрочем, шпионаж – это изощренная форма наслаждения (причем оплаченная!), огромное удовольствие, сопряженное с сознанием благородного служения Родине, с остротой и горечью чувств, я тоже отдал дань тому, но лучше театр на дому...

Центр постоянно лупцевал нас за запустение по американской линии (частично это объясняли тем, что Гордиевский знал лишь датский и немецкий и не мог возглавить эту линию – представляю дикий хохот в английской МИ-6, на которую он работал), даже обыкновенные контакты с американцами резидентуре давались тяжело, на приемы к нам главный противник являлся редко, а к себе нас почти не приглашал.

Правда, иногда случались на нашей улице праздники: американцы приходили на просмотры фильмов с последующей выпивкой, закреплявшей восторги от фильма. Однажды мы затеяли грандиозный ленч с целой группой американцев на советском корабле, стоявшем на причале в Копенгагене, потрясли главного противника русской кухни и водопадами водки, рассчитывая хотя бы иметь общее представление о посольстве, отделенном от нашего кладбищем, – разве не было в этом глубокого смысла?

Зазывали мы американцев на волейбол, они приходили, играли, выпивали пива и, поблагодарив, исчезали, а на контакт в городе не шли, организовали мы и футбол, сражались на поле в соседнем парке, американская команда в основном состояла из юных морских пехотинцев-охранников, наша же немногочисленная молодежь была изрядно разбавлена и прокисшим вином: по полю носились солидные дипломаты, в том числе и покорный слуга, пыхтевший как паровоз. Тогда и произошло эпохальное событие: я забил американцам единственный гол с классической подачи офицера безопасности (знал, кому подавать!). Чекистская честность заставляет сказать, что мяч случайно долбанул меня в ногу и отскочил в сетку ворот, болельщики орали, как обезумевший хор («Славься, славься, русский царь!»), я неспешно побегал еще минуты три, приходя в себя, гордо сошел с поля, принимая горячие поздравления (о, любовь народа!), и присоединился к болельщикам, испытывая чувства юных лет, когда в Куйбышеве во время войны в Корею вместе с толпой стоял у карты военных действий, висящей под стеклом в центре города, на ней флажками каждый день обозначали линию фронта, и все ликовали, когда наши корейцы и наши китайцы, сметая врага, пошли на юг и захватили Сеул.

Кроме зажавшихся американцев, которые не желали вербоваться, к счастью, существовал и дипломатический корпус – спасительный клапан, как писал Ильич, – там порою мы орудовали лихо, хотя Центр не поощрял работу по нецивилизованным неназовским странам: не уклоняйтесь, товарищи, от решения основных задач, не увлекайтесь разной шантрапой, когда под носом главный противник.

Сидя в Москве, я не ощущал, какое количество циркулярных заданий рассылается по всем резидентурам, нам вменялось и работать по Социалистическому Интернационалу, и по Китаю, предписывалось освещать проблемы, которые явно были не по нашим зубам, но чем черт не шутит? вот какой-то датчанин сгонял в Северную Корею и вынес оттуда некие общие впечатления – и информация с гулькин нос летела не куда-нибудь, а в Инстанцию.

Иногда в Копенгагене случались сборища НАТО, наезжали генералы, американские и

прочие лидеры, тогда наша провинциальная точка оживала, навверх неслись срочные телеграммы и на задний план отступали и заседания Северного Совета, и особые позиции датского правительства – тут мы умели подсутиться под клиентом и яростно доили корову.

Как ни парадоксально, но без всякой агентуры мы вполне и даже с избытком удовлетворяли интерес Центра к датской политике. Впрочем, что тут парадоксального? Много ли надо знать о Дании? Интересы Страны Советов не так уж там велики, другое дело, что и посол, и резидент стремились преувеличить значение страны (и свое собственное). Любая политическая информация уязвима, и приходит на ум Набоков: «Франция того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась. Этот политический деятель жаждал сближения, а тот – увеличить свой престиж. Кто-то замышлял, и кто-то к чему-то стремился. Слоном – мир... получался каким-то собранием ограниченных, безъюрных, безликих, отвлеченных драчунов».

Но не информационным валом прикрывалась наша полуголая резидентура, и не планами, сулящими превратить Данию в оплот советской разведки, – волчок крутанул я тот же, что и предшественник, – активные мероприятия: датчане вещали с высоких трибун о рациональных зернах в советской внешней политике, чаще всего без нашей подсказки, но, поскольку мы все-таки с ними контактировали, то и их речи приписывали себе и своему влиянию, и летели it Центр бравурные отчеты, вливавшиеся в общемировой поток, они искусно обрамлялись и с достоинством преподносились в ЦК и Политбюро.

Время от времени в Данию наезжали партийные делегации, ценившие местную компартию за лояльность и манипулировавшие ею в пропагандистских целях, главным образом в Стране Советов, где каждый гражданин, читая «Правду», быстро осознавал, какую непобедимую силу имела КПСС на Западе.

Мое отношение к западным коммунистам прошло через многие веселые и печальные стадии, сначала я ими восхищался – ведь они боролись за идею в нелегких условиях и не купались, как наши боссы, в привилегиях, один деятель ЦК меня однажды предупреждал: «Помни, что западные коммунисты – это не настоящие коммунисты, как мы с тобой!»

Встречал я и фанатиков, влюбленных в идею и не замечавших, как она воплощается в жизнь, – они вызывали уважение лишь тогда, когда сами были бескорыстны, не тянулись к роскоши и власти.

Руководители датской компартии верно служили КПСС, хотя и среди них были чистые души. Система умела развращать: их умело спаивали, холили в роскошных санаториях, подбрасывали валюту и подарки, бесплатно учили и лечили. Один замзав международным отделом на узкой сходке в нашем посольстве, сияя румянцем, поднял тост: «За коммунистов, которые всегда хорошие люди!» Все выпили, и кое-кто даже облобызался.

Увы, но хорошими людьми могут быть и нацисты – разве Гитлер не любил кошек и детей и не насвистывал наизусть Вагнера? Зловещий политик может быть отличным человеком, а светоч свободы и демократии – скупердяем и круглым дураком, посему политического деятеля стоит оценивать по его политике, а не по порядочности, честности, душевным беседам в кругу друзей и добрым намерениям.

Наши партийные делегации, как правило, возглавляли дуботолки, однако аппарат ЦК, особенно международный отдел, всегда удивлял неординарностью мышления, относительной терпимостью и подспудно реформаторскими настроениями – горбачевская перестройка набухла и зрела в недрах еще со времен «оттепели», «шестидесятники» в партии таились и не высывались, словно масонская ложа.

Особо мне импонировал тогдашний замзавотдела Виталий Шапошников, регулярно приезжавший и Данию, здоровяк и бывший боксер, прошедший в партии огонь и воду, о Крючкове он снисходительно говорил «Володя», любил слушать крамольные песни Высоцкого, а однажды в своем кабинете я зачитал ему собственные стихи, за которые тут же полагалось сорвать погоны и надолго благоустроить меня во владимирском центре. «Ничего стихи», – буркнул он, но на следующий день словно об этом забыл. (Наверное, и забыл.)

Уже тогда КПСС начала заигрывать с западными социал-демократами, начиналось все гладко, с проблем разоружения, но с приходом Картера на наших лидеров обрушились «права человека», никто, естественно, не ожидал, что договоры на СБСЕ и Хельсинки вдруг

приобретут неприятный привкус (за что боролись, на то и напоролись, дураки!), вдохнут новую жизнь в «диссидентов» и антисоветские центры, – наши вожди всегда легко относились к собственным обещаниям, тем более что вопрос был «мелкий».

Сотрудничество с социал-демократами постепенно стало важной чертой работы ЦК КПСС с целью, естественно, использовать это для укрепления комдвижения. Социал-демократическая партия Дании пока оставалась в стороне, хотя лидер СДПД Д. Йоргенсен не забывал об экономической стороне прав человека (елей на сердце советских лидеров, заботившихся о благосостоянии трудящихся всего мира), я не раз обсуждал с приезжавшими сотрудниками ЦК возможность установления официальных контактов с датскими социал-демократами (к послу в ЦК относились кисло).

Идея вскоре стала материальной силой, превратившись в бумагу с добавлением, что датчане с удовольствием примут приглашение в Москву, однако реакция мозгового центра мудрейшей партии была непростой: да, мы заинтересованы в визите датчан, но инициатива должна исходить от них, если они попросятся в Москву, то мы их просьбу уважим. Весело звучит: мы вас пригласим, если вы к нам попроситесь, типичная перестраховка бюрократов на случай провала визита.

К тому времени я уже хорошо освоил вершины аппаратного прохиндейства: не помчался в штаб-квартиру социал-демократов, чтобы с подкупающей простотой убедить их написать заявление в ЦК КПСС с просьбой о приглашении, а, ничтоже сумняшеся, сам шуганул в Москву шифровку, что СДПД «хочет и просит».

Немножко сделал Историю.

Вскоре прибыло официальное приглашение, делегация вылетела в Москву и – какой пассаж! – оставила о себе весьма паскудное впечатление из-за наглых нападков на КПСС по правам человека, так что лавров на моей голове не прибавилось.

Не менее эпохальны были и мои встречи с симпатичными правительственными чиновниками, которым по тезисам Москвы я прояснял взгляды на международную политику, – так ведет слепого поводырь, особенно стыдно было оправдывать развертывание ракет «СС-20» в Европе, что, кстати, дало Западу великолепные козыри. Боясь запомнить расплывчатую ахинею, столь знакомую по нашей печати, я зачитывал грандтезисы прямо по бумажке (опасаясь уронить ее в черепаховый суп), милые собеседники терпеливо выслушивали и покачивали головами (таки напрашивается лермонтовское: «Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал»), это называлось «активным мероприятием» и шло в копилку КГБ.

Если бы не эта чертова перестройка, то уверен, что КГБ приспособил бы и всех послов, и весь МИД под «активные мероприятия». Интересно, под каким соусом подавались труды Брежнева в английском издательстве Максвелла? А перевод «Правды» на английский язык, дабы весь мир постигал истину из правдивых уст, а не в грязном изложении буржуазных газет?

Шла работа и по самой хлопотной линии: контрразведка и безопасность советской колонии – тут мы трепет не наводили и вели себя скромно, тщательно проверяя все «стуки», исходившие в основном от честных граждан, стремившихся устранить соперников и просто тех, чьи физиономии не нравились.

Наш консул и мой зам по КР Михаил Федосеев, ветеран войны и ас разведки, отличался благородным и демократическим характером, читал Маяковского со сцены клуба и смотрел сквозь пальцы на мелкие грешки (вроде подпитки портного-поляка несколькими бутылками виски, дабы купить дубленку по дешевке, или слишком бурного романа с зав-канцелярии посольства), мы понимали, что живем в бедной России и для большинства командировка за границу – как дар Божий на многие годы вперед и до гробовой доски.

Суровый Центр не дремал, и пара грозных снарядов до нас долетела: однажды потребовали отправить на родину специалиста, утаившего, что его дядя во время войны помогал фашистам в Прибалтике, другим преступником оказался симпатичный сотрудник торгпредства, якобы переспавший много лет назад с иностранкой в благодатной Швейцарии, небось часто купался в воспоминаниях об этой феерии, не подозревая, что рано или поздно настигнет его карающая рука органов.

Обычно отзывали по принятому тогда стандарту: из Москвы виновникам прилетала телеграмма с просьбой вылететь на срочное совещание.

Однако в Дании традиции тотальной слежки за своими никогда не существовало, хотя иногда появлялись любители зажечь бочку с порохом, как, например, наш сотрудник, человек избалованный положением и с характером, вошел в конфликт с послем из-за нежелания последнего купить то ли ковер, то ли кресло для его представительской квартиры, к этому добавилась стычка на совещании (как известно, публичные конфликты стоят сотни борений наедине, даже если соперники душат друг друга, брызжа благородной слюной).

Битва бульдогов под ковром ожесточалась, и вскоре товарищ по оружию принес мне кипу материалов на лицо, близкое к послу, набросано туда было много горящих поленьев, и, главное, варганил он это месиво не самолично, а руками агентуры (естественно, советский агент в рот смотрел своему куратору и, как правило, очень талантливо приспособливал свою «компру» под услышанную «общую линию»).

Мои уговоры прекратить всю эту возню и заняться делом, т. е. искать новых Филби в западных спецслужбах, до крайности обострили наши отношения, пожалуй, впервые в жизни я столкнулся с порочным кругом, который трудно разорвать: липовые «компры» поддержать я не мог, но и отвергнуть их полностью было опасно, ибо о деле товарищ грозил сообщить частным образом в Центр и там умельцы тут же создали бы образ укрывателя преступников, пособника и дилетанта.

Пришлось прокомментировать «компру» обычным бюрократическим способом («нами принимаются меры», «о ходе дела будем информировать»), но вскоре меня спас от этой склоки случай: борец за правое дело выехал в отпуск (там он, естественно, точил кинжал), а в это время сбежал на Запад связанный с ним агент – я тут же порекомендовал Москве не возвращать товарища в резидентуру, уберечь его от возможных провокаций.

Во имя правого дела все средства хороши, в конце концов, мы же вполне интеллигентные люди и работаем в белых перчатках...

И все же какая суета!

Но жизнь уходила именно на чепуху, и в минуты философских размышлений с томиком Николая Федорова (нам, чекистам, и это не чуждо!), где черным по белому написано, что миссия человека на этой земле – воскресить предков, а не бегать на встречи с агентами и на рынки, я вновь понимал всю бездарность своего существования.

И, наверное, спился бы или обворовал бы казну (кстати, уже позже, после моих выступлений о передаче денег ЦК КПСС датским коммунистам, из многих уст я слышал: «Вот дурак! Зачем отдал сотни тысяч долларов им? Лучше бы взял себе!»), если бы пе жгущая амбиция заняться литературой.

То ли от хороших хлебов, то ли от отчаяния, но в Дании у меня наступила своего рода болдинская осень: началось все с пацифистской и законспирированной поэмы о войнах между Алой и Белой розами, намекавшей на грядущую ядерную схватку, затем родилась поэма под многозначительным названием «Гойя. Капричос», где водили странные хороводы ведьмы, вороны, летучие мыши и глупый испанский король – вылитый Леонид Ильич; досталось и мученикам догмата, и рыцарям, пирующим на костях замученных, и самому себе – «инквизитору, который плачет, когда рубит головы».

Неожиданно появилась страсть к балладам, которые хотелось петь на углах, в плаще и с кинжалом, в стиле бродячих менестрелей, искусства гитарной игры я, увы, не постиг, Высоцким себя не считал, но баллад тридцать отмахал, естественно, с кукишем в кармане («В одной далекой стороне, в одной молельне, висели уши на стене для развлечения» – так маскировал я брови Брежнева).

Свои творения я широко афишировал и среди тузов совколонии, и среди подчиненных, и послу читал, и важным визитерам – то ли одни порядочные люди окружали меня (вот ужас-то! кто же тогда я?), то ли считали меня ловким провокатором, с которым лучше не связываться, то ли стучали слишком осторожно и все оседало в деле, но никаких видимых последствий я не ощущал.

Неужели стихи были просто беззубыми? или у слушателей не развито было ассоциативное мышление? Ужасно!

Летом во время школьных каникул приезжал сын, освоивший гитару и – о счастье! – полюбивший мои баллады (поэзию он презирал, но для меня делал исключение). Тогда мы

впервые сблизилась, хотя ни Катя, ни я никогда не делали драму из развода, поддерживали в сыне уважение друг к другу, да и сами оставались друзьями.

Развалившись на диване и прижавшись друг к другу, мы горланили под его аккомпанемент: «Два туриста шли себе – веселая компания, шагали важно по земле под названием Дания. Там датский бекон, датский жир, во всех витринах датский сыр, но жить крестьянам нелегко – едят лишь хлеб и молоко. А свиньи, властные, как львы, урвали экспорт всей страны и, плюнув на рабочий люд, бифштексы жареные жрут. Один турист шагал хмельной, другой трезвел и злился, шагали по земле одной, где Андерсен родился. Тот самый старый Андерсен, Андерсен, Андерсен; грустноватый сказочник Андерсен... Но вдруг предстал пред ними дом, где жил тот Андерсен-пижон. «Как мал домишко, друг мой Джон, и жалок, как ночной притон». А Джон ответил: «Друг мой Джек, не знал ведь Андерсен-поэт своей посмертной славы шквал и дом себе не подобрал. Сидел в лачуге целый день, писал там сказки для детей, любил, смеялся, пил, страдал, но, что великим был, не знал. Вот герр Альфонсо – наш мясник, давно уж знает, что велик, он особняк роскошный снял, к нему дощечку заказал и на дощечке написал, что он давно великим стал. И все коровы, как одна, ему мычат: «Му-му, уррра!» И в стенгазету «Друг телят» статьи хвалебные строчат. Но так бывает только тут, где на телят, увы, плюют, где датский бекон, датский жир, во всех витринах датский сыр, где жить крестьянам нелегко: едят лишь хлеб да молоко. Но разве в хлебе смысл, старик, когда не знаешь, что велик? И так живешь себе, старик, совсем не зная, что велик...»

Последние строчки сын пел особенно нежно, обратив свой лик ко мне, и теплом наполнялась душа, и совсем ненавистным становился КГБ, и хотелось построить дом в Переделкине, недалеко от Ахмадулиной, бродить по дорожкам, раскланиваясь с гениями, принимать Ганса Магнуса Энцесбергера и Апдайка, выступать на вечерах и по телевидению...

По уик-эндам мы все вместе (кроме Саши приезжал и Боря – сын Тамары) отправлялись в курортные Гилеляй и Тисвиляй, грелись на пляжах, зарываясь в чистый песок, иногда ночевали в кемпингах, как-то вместе с четой Гордиевских провели несколько превосходных дней на берегу моря в деревянном отеле на острове Фюн.

С Олегом Гордиевским, естественно, я общался постоянно, но, как ни странно для английского агента (или, наоборот, именно поэтому), он не навязывал мне свою дружбу и держал дистанцию, начиная с вежливого «Михаил Петрович», несмотря на предложения брудершафта, – жизнь он вел размеренную, бегал по утрам, играл в бадминтон, всячески лелеял свое здоровье, видимо, предвкушая долгие счастливые годы в Англии на прекрасной пенсии от правительства Ее Величества.

Мне казалось, что он тоже мне симпатизировал, и я не придавал никакого значения словам его жены, сказанным как-то в момент обострения их отношений: «Он совсем не открытый человек, не думайте, что он искренен с вами!»

Впрочем, в жизни так много лицемеров, что можно сойти с ума, если каждый раз прикидывать, кто искренен, а кто лжет.

Иногда мы сходились в разных компаниях, я был горазд на капустники, мой коллега хорошо пел, сдержанно бражничал с нами и Олег Антонович. «Играй, пока играет, играй себе пока то Окуджаву-пьяницу, то Баха-дурака. Играй! Какая разница? Зарплата есть пока... Пусть Гордиевский-кисочка нас судит, как Дантон, его жена форсистая, а сам он... миль пардон! Читает нам нотации и учит, как нам жить. Ему бы диссертацию вначале защитить!»

Последний удар был прямо в сердце, ибо я и солист были кандидатами наук, Гордиевскому я только и твердил, что с его головой можно в мгновение ока защититься в Институте им. Андропова, он, видимо, предпочитал Оксфорд.

Гордиевский вел себя безупречно: всегда докладывал о своих передвижениях, не влезал ни в какие интриги, был подчеркнута вежлив и исполнительен, ютов тут же, как вымуштрованный конь, забить своим золотым копытом и рвануться исполнять святой приказ резидента. К тому же еще скромн, как истинный коммунист: собирался повесить его по должности – он только руками замахал: «Нет, пет!», предлагал место в партийном бюро (престиж!)– «Нет, нет, Михаил Петрович, достаточно, что я веду семинар для жен дипсостава!» (жены обливались слезами умиления, узнав от него о фрейдизме и сексологии), да и где это видано, чтобы заместитель-фаворит входил к шефу не уверенно открыв ногою дверь, а всунув

предварительно голому: «Извините, не помешаю?»

К Гордиевскому многие относились отрицательно (посол со скепсисом, военный резидент с ненавистью), однако эти оценки плавали в виде туманных облаков: «высокомерный», «считает себя слишком умным», «себе на уме», я этих ужасных пороков в нем не замечал, да и пороки ли это? разве большинство людей не считают себя умными? или у всех души нараспашку?

Гордиевский между тем был вполне демократичен, выезжал с простыми советскими людьми к датским врачам, где выступал как толмач (все-таки первый секретарь, шишка в посольстве!), да и в близких знакомых у него ходили не посол или резидент, а какие-то второразрядные журналистишки, не допущенные в высший свет.

За несколько месяцев до возвращения в стольный град Гордиевский меня совершенно изумил: явился в резидентуру и скорбно заявил, что собрался разводиться, ибо жаждет детей, которым можно будет передать наследство (насчет последнего, каюсь, я не понял, представляя мой капитал, но, наверное, он имел в виду свой счет в лондонском банке), его тогдашняя жена, наша сотрудница – редкость в учреждении, где в отличие от ЦРУ женщин любят, но на работу берут редко, – мне импонировала, однако аргумент насчет детей звучал искренне и убедительно, хотя я попросил его еще раз подумать и не сжигать мосты с ходу.

Откровение Гордиевского меня подкупило: не всякий будет делиться с резидентом своим сокровенным, с риском быть отправленным на родину досрочно, честность любят все, и я написал письмо Виктору Грушко об этом печальном событии с предложением оставить Гордиевского в отделе, но не повышать в должности, как я предлагал ранее, – ведь развод, словно грязное пятно, портит чекистскую биографию, если новая избранница не дочка члена ПБ или члена коллегии КГБ.

Удивительно, что английская разведка, на которую с 1974 года трудился Гордиевский, не встала горой против развода, ибо в той ситуации без наличия Мохнатой Руки (возможно, она была у англичан) разведенный Гордиевский был обречен на длительное прозябание в самом затхлом углу просторного ПГУ и, уж конечно, отсутствовала даже призрачная перспектива, что его, скандинава со слабым английским языком, направят в Лондон.

В оценке Гордиевского я пытаюсь точно воссоздать свои ощущения того периода, естественно, тогда я не мог предполагать, что он играет со мною, как Гильденстерн и Розенкранц вместе взятые, – тут хочется схватиться за голову и взречься словами Гамлета: «Черт возьми! Или вы думаете, что на мне легче играть, чем на дудке? Назовите меня каким угодно инструментом, хоть вы и можете меня расстроить, но не можете играть на мне».

В августе 1978 года грянула телеграмма об инфаркте отца, я тут же вылетел в Москву и прямо с аэродрома поехал в главный кагэбэвский госпиталь на Пехотном, где, как старый чекист, он и лежал. Плох был отец, совсем плох, мы недолго поговорили, на следующий день он потерял сознание и уже не приходил в себя, я сидел у кровати, держал его руку, он пожимал мне ее в ответ, прощаясь навсегда, – через час после моего ухода он умер, мне до сих пор кажется, что, если бы я не убрал свою руку и не ушел, все было бы хорошо...

Смерть отца я переживал тяжело: мы прожили имеете почти всю жизнь, мать умерла рано, он не счел возможным жениться, пока я не закончил институт и не встал на самостоятельную стезю. Человек он был добрый, любил и умел мастерить, чувствовал хорошо природу и всегда оживал в лесу, радуясь деревьям и цветам, вырезал из коряг чудных человечков, которые все вместе составляли хор – в нем каждый имел свою биографию.

В ЧК он попал случайно, к работе относился без пиетета, читал классику, любил музыку, был очень осторожен в высказываниях, ушел на пенсию, лишь стукнуло 50, и меня всеми силами удерживал от перехода из МИДа в КГБ.

О деяниях своих отец почти ничего не рассказывал, прорывались лишь скупые штрихи: имел отношение к антоновскому восстанию на Тамбовщине, к делу Рамзина (Промпартия), был на обыске в квартире Троцкого, и жена его кричала: «Кого вы обыскиваете? Вождя революции!», занимался меньшевиками – к счастью, он был «винтиком» и крупного положения не занимал, иначе его, конечно бы, не только посадили, но и расстреляли.

Однажды, зайдя к отцу в управление контрразведки в Куйбышеве, я увидел, как по коридору вели арестованного. «Кого сейчас провели?» – спросил я отца. «Один солдат создал в

роте антисоветскую организацию. Очень серьезное дело».

Уже после смерти Сталина я не раз изливал на него праведный гнев по поводу карательной организации, отбивался он вяло, утверждал, что никогда не симпатизировал Сталину, идеалы коммунизма тоже, в отличие от меня, не защищал. После отставки он устроился в Комитет стандартов, жил скромно, дачи себе не выстроил, машины не приобрел, – наверное, у всего этого поколения отбили охоту к материальным благам.

Большие грехи лежат, наверное, на отце. Я чту его память, я люблю его, это был мой отец, воспитавший и любивший меня. И странным, полумистическим мотивом звенят корявые строчки, которые я писал ему в сорок втором: «Ты там, ты там во мгле ночной, в землянке и в огне, но знаю я, что ты, родной, все думаешь о мне».

Прощались с отцом в известном всем чекистам морге на Пехотном, затем Хованское кладбище, три залпа в воздух, гимн – и все было кончено.

Забрав шестнадцатилетнего Сашку, я махнул в Сочи, где у меня было достаточно времени, чтобы подумать и подвести итоги – смерть близких заставляет собирать камни.

Итак, мне стукнуло уже сорок четыре года, в великое дело коммунизма я не верил, правительство считал сборищем властолюбцев-маразматиков, не питал иллюзий по отношению к КГБ, выполнявшему функции душителя. Правда, разведка в моих глазах выглядела иначе, я надеялся, что ее выделяют из раздутого монстра, однако угнетали показуха и бюрократизм в разведке, когда шла переписка между отделами, находящимися в одном коридоре, словоблудие и подхалимаж, бесконечные согласования и перестраховки – наверное, долгая работа в одном ведомстве неизбежно рождает скепсис.

Мое разочарование касалось и информации, которой вертели, как хотели, я ни в грош не ставил активные мероприятия, в основном имевшие резонанс лишь внутри ведомства, хотя сам не без энергии участвовал в этом бурном процессе, я чувствовал себя обыкновенным циником и карьеристом.

Я разочаровался в разведке как в форме человеческой деятельности, я не уверен в своей правоте, но я прошел в разведке через все круги, я вербовал, работал с агентурой, следил, соблазнял, меня самого вербовали. Я встречался и с нелегалами, и вынимал из тайников, я проверял агентов и участвовал в контрнаблюдении.

Черт побери, не я один потерял пиетет к разведке: кто не помнит язвительную сатиру бывшего разведчика Грэма Грина в «Нашем человеке в Гаване» или Сомерсета Моэма: «Работа агента секретной службы, в сущности, скучна. Большая часть того, чем он занимается, совершенно не нужна ни ему, ни людям».

Но не только дела политические и служебные терзали меня: я ощущал на себе разлагающее влияние пусть малой, но власти (любая колония – это наша страна в миниатюре, и резидент если не царь, то член Политбюро): уже подчиненные вязали мне веревками коробки перед выездом в Москву, уже водитель привозил мне домой заказы из нашего сельпо, я уже считал это в порядке вещей, я привыкал к тому, что мне почти не возражали, – все это нравилось, но заставляло задумываться.

Наконец, я скучал по Москве, по друзьям, по нормальному общению, так существовать было невыносимо, и – который раз! – хотелось начать новую жизнь.

Проклятая литература!

Впрочем, все эти страдания души я наверняка перенес бы, ходил бы пузо вперед и в глазенки начальничьи заглядывал, носом по ветру крутил бы, вынюхивая, какой подстилкой выгоднее лечь! и эполеты генеральские примеривал бы перед зеркалом, и к гостям на октябрьские праздники выплывал бы в мундире, и радовался бы до слез, и отдал бы в этой счастливой кондиции преспокойно концы, хвост заячий, если бы не работа Судьбы, это она, мудрая, все поняла и почувствовала, но тогда только накапливала себя во мне, примеривалась и не спешила подталкивать...

После смерти отца я и начал слезно просить Грушко побыстрее отозвать меня из надоевшей Дании в родные пенаты, сначала он удивился – обычно резиденты сидели по пять-шесть лет и отнюдь не стремились домой, – но потом внял моим аргументам и пообещал через год вернуть меня на родину.

Я вылетел в резидентуру и продолжил раскручивать там маховик. Однажды я

познакомился с английским дипломатом Питером, тут же запросил Центр и получил ответ: Питер – опытный волк английской разведки, работавший долго в Западной Германии, а ныне резидент на Данию, Швецию, Норвегию – англичане не отличались американским размахом.

Контакты резидентов с резидентами – дело рутинное и приятное, но Питер вцепился в меня, как клещ, тогда я не обратил на это особого внимания, объяснив его интерес неповторимостью собственной личности.

Мы особо и не скрывали свою принадлежность к могучим службам, встречались дома семьями (у него был прелестный особнячок в саду с рододендронами), я подарил ему «Былое и думы» на английском, после этого он стал величать меня генералом Дубельтом, а я его – полковником Лоуренсом.

Однажды мы мирно ленчевали, когда он, указав на занудного вида красноносого типа, топтавшегося к бару, сказал, что это его коллега, и попросил разрешения пригласить его к столу. Я не выказал энтузиазма, помня, как меня пытались вербовать, взяв с двух боков в лондонском пабе, видимо, это английский стиль, но, когда мы вышли на улицу, красноносый подошел к нам, ласково улыбаясь, пришлось познакомиться, и тут он протянул в подарок книгу о Тургеневе, купленную якобы по просьбе Питера к моему дню рождения.

Явно, что налицо был заговор, я раздул ноздри, шумно отказался от подарка, молвив, что «От незнакомцев подарки не принимаю!», обругал Питера за бесцеремонность, и долго мы кружили по площади рядом с рестораном «Королевский сад», он умолял меня не сердиться, убеждал, что у типа вовсе не красный нос и вообще он нежный человек и семьянин, а я вспыльчивый чудак, не понимающий британской души.

Но душу я понимал и о Питере регулярно отчитывался в Центр, хотя зацепки для его вербовки отсутствовали, он был интересен как профессионал, любопытны были его вопросы и методы моего изучения, особенно он напирал на политические взгляды, я порою подыгрывал ему и мягко подчеркивал свой нонконформизм.

Один почтенный мастодонт на заре моей разведывательной юности изрек такую заповедь: если хочешь преуспеть в разведке и не желаешь, чтобы тебя вышибли из страны, играй немного в поддавки, дай контрразведке пищу для твоей разработки, не держись мрачно-советской линии, дыхни иногда диссидентством – тогда и иностранцы не будут мчаться от тебя, как от бешеной собаки, и спецслужбы не выбросят, надеясь завербовать (этот мудрый совет я оценил уже после высылки из Англии, где от правильной линии я не отходил ни на йоту, даже чуть перегибал в силу своих большевистских взглядов – вот и доигрался!).

Вскоре симпатичный Питер, увлекавшийся орнитологией (вариант Джорджа Смайли из романов Ле Карре), убыл в Осло, оттуда он иногда мне звонил, мы все договаривались о пылких рандеву в Копенгагене до самого моего отъезда.

В Москве я забыл о своем английском приятеле, и только после бегства Гордиевского до меня дошло: ба! значит, Питер раскручивал меня по наводке Олега Антоновича! интересно, какой подарочек из ящика Пандоры мне собирались преподнести? Тайна интригует меня до сих пор, упрямы все-таки англичане, не слезали с меня, молодцы!

Жизнь продолжалась не работой единой, а летом вообще становилась курортной: морские купания рано утром, интенсивный волейбол раз в неделю, броски на катере или на парусной яхте в море, где запросто за пару часов можно поймать до 50 штук трески, что не только приятно, но и укрепляет семейный бюджет, регулярная охота в старом имении.

Датчане умеют жить, у них нет жажды заколачивать деньги с утра до поздней ночи ради трех машин, двух коттеджей и возможности пожить в самом дорогом отеле мира, для датчан качество жизни, или, как говорят они, квалитет, это не только зарплата и собственность, но размеренность, экологически чистые пища, воздух и море, зеленые полянки и старые дубы Клампенборга, это состояние тела и души, когда всего в меру и можно посидеть на желтом песке среди обнаженных нимфеток, глаза на разноцветные яхты, снующие по глади волн.

Волчок жизни крутился спокойно, порою, словно залетные птицы, появлялись именитые гости: издали книгу Айтматова, и он прибыл, молодой и уверенный в себе джигит, имели мы легкий ужин в кабаре, где я узнал, что все написанное надо пропускать через сердце, нагрнулся редактор «Правды» Афанасьев, честивший в хвост и гриву старых идиотов в правительстве (но не в Политбюро), посол сокрушался по поводу его невоздержанности на слово, намекая, что

подвластной мне службе не следует тут же стучать в Москву (после ужина я экспрессивно зачитал редактору стих с душком, а заодно осудил за известную статейку об опере, поставленной Ю. Любимовым в Милане, «Это человек с двойным дном!» – отрезал Афанасьев), прибыл Светланов с оркестром, чему предшествовала срочная телеграмма из Центра о том, что он планирует побег на Запад и мне следует принять меры (типичный трюк Центра, перекладывавшего ответственность, какие такие меры я мог принять? Окружить мускулистыми ребятами, которые ухватили бы его под белые руки и стащили бы со сцены?), сами почему-то в Москве не приняли, выпустили со всей кофлой, а нам расхлебывать! Система гнила на глазах и уже переставала пугать.

Облагодетельствовал Данию Громыко с огромной свитой, я попытался было по указанию свыше доложить ему о всех перипетиях датской политики, но его помощник Макаров до хозяина меня не допустил («Устали, отдыхают с женой...»), пришлось мне поведать о датских делах его первому заместителю, который, как большинство мидовцев, политическую информацию КГБ не воспринимал, а больше интересовался подпольной деятельностью спецслужб.

Впервые попал я и за стол датско-советских переговоров, – о, это был не обмен блистательных мнений и идей! – Громыко говорил настолько бесцветно и обтекаемо, что ухватить суть было невозможно: о миролюбии СССР, о дружбе между народами, об опасности НАТО, причем все на диком серьезе, без улыбки, словно речь шла об апокалипсисе. Антураж между тем времени зря не терял, не вылезал из роскошного отеля «Royal», где у делегации был открытый счет, покрывавший и изысканнейшие коньяки, и омары, и улитки, и гусиную печенку.

Не забыл Данию и мой шеф Виктор Грушко, встретил я его, как положено, по-царски, с броском на благодатную Ютландию, где отягощенную думами голову необыкновенно прочищает морской ветер, вкусили мы и культуры, посетив модернистский театр с совершенно неясной пьесой, актеры встречали каждого в дверях по одежке и с юмором: «Прошу вас, джентльмены!» (мы оба – важные, в темных костюмах и галстуках, на фоне разноперых разночинцев-датчан), впрочем, после первого акта, совершенно измучившись, ушли в ресторан близ театра.

Грушко захватил на праздничный ужин ко мне домой поэта Долматовского, летевшего с ним в самолете, которому и попросил зачитать мои гениальные поэмы, что я с вдохновением и проделал.

Мэтр, однако, восторгов не исторг (а мог бы, с учетом хлебосольства хозяев и их светлых улыбок), проворчал, что такого модернизма у него хватает и в литинституте, а заодно обругал и сюрреалистические картины Провоторова из андерграунда, висевшие на стене. Я не остался в долгу и заметил, что его стихи меня тоже не воспаляют, разговор начал раскаляться, но дипломатичный Грушко ловко загасил костер и увел нас с нив культуры на нейтральные темы.

Вертелся волчок, свеча горела на столе, я рвался в Москву, где все было широко и привольно и не так тесно, как в советской колонии, трудно жить одной большой семьей, как в фаланстере Фурье, и слышать свое собственное эхо, отлетающее от стен.

Осенью 1979 года, когда я прибыл в отпуск, Грушко предупредил, что меня должен вызвать Крючков, причем он дал понять, что дело коснется моего нового назначения.

Вскоре я уже переступил порог державного кабинета, где кроме, как всегда, суховатого и делового шефа застал Михаила Котова, старого волка, изрядно потрудившегося в Хельсинки и Праге, начальники Управления «Р», своего рода штаба при шефе разведки.

Кратко расспросив о делах, Крючков предложил мне место начальника отдела⁶⁷ в этом славном управлении, объяснив, что нужен человек с научным уклоном (это я-то!), а у меня за плечами кандидатская, Котов добавил, что отдел занимается оперативной деятельностью всей разведки, просматривая ее насквозь по всем горизонталям и вертикалям.

⁶⁷ – И как оно сюда попало без моего ведома? – спросила Алиса, сняла с головы загадочный предмет и положила к себе на колени, чтобы получше разглядеть. Это была золотая корона.

Я не зарыдал от счастья и, видимо, выглядел как человек, который вместо ресторана случайно попал в морг, – поэтому Котов пояснил, что отдел генеральский, т. е. мне следовало возрадоваться по поводу повышения в должности. Тут я зашевелился, преодолевая отвращение к штабной работе, поблагодарил шефа за доверие и попросил дать время на раздумье.

Далее состоялось обсуждение этой идеи в кругу Виктора Грушко и Геннадия Титова, помощника Крючкова, друзья-коллеги не скрывали, что подали ее отцу родному в надежде меня облагодетельствовать, чего мне еще надо? Конечно, жалко уходить из родного отдела, но не возвращаться же мне на прежнее место зама, где и не светит эполетами?

Я прекрасно знал, что Грушко в фаворе и скоро станет заместителем начальника разведки, я знал о тандеме Грушко – Титов и предполагал, что последний займет место своего друга, но все равно было обидно, что меня оттесняют от родного отдела⁶⁸.

Лети, мой челн, по лону волн! – я дал согласие, и мы договорились о моем возвращении на родину весной 1980 года.

Новая должность виделась мне как показушная суета под начальником разведки, призванная обеспечить его идеями и свежими предложениями, создававшими видимость стремления к совершенству.

Последние месяцы я передавал дела, заодно совершил вместе с женою автомобильный вояж в Стокгольм, до смерти перепугав шведов, учувших во мне врага почище, чем под Полтавой, хотя меня больше интересовали дом писательницы Сельмы Лагерлеф, создавшей Нильса с дикими гусями, упсальский орган и художественные галереи.

По дорогам я плутал отчаянно, с трудом ориентируясь по карте, на хвосте моего черного «мерседеса» висело несколько машин, путаясь на маршруте, я крутил, менял направление, часто останавливался, бесконечно соприкасаясь с озверевшей наружкой, которая в конце концов в пароксизме вендетты проколола мне ночью на стоянке все четыре колеса – и правильно сделала!

Швецию я проехал с запада на восток, в сравнении с Данией она казалась и более цивилизованной, и менее уютной – куда ей было до датской провинции: суровый серый Скаген, бесконечные, как в Сахаре, пески Рёмё, где с ног сбивал ветер и приходилось не идти, а падать вперед, сомкнув глаза и чувствуя, как впиваются в тело, как хлещут острые песчинки, любил я переезжать с острова на остров на пароме, не бежал неприхотливых пивных – кро, где подавали по-простецки только что изловленную рыбу с отварной картошкой, гладкость дорог, любимые Галич, Высоцкий и Окуджава из магнитофона – праздник души, и играет в башке, никак не срифмуется «Мы, веселые дети диссента» с речкой «Брентой», с «конвентом», с «резидентом» и с «президентом». Дания, любовь моя!

И, наконец, март 1980 года и прощальный бал в посольстве в честь отъезда столь уважаемого и почитаемого, за столиками собрано золото колонии, прочувственные речи с намеками, чтобы в Москве на верхах не забывал о маленькой Дании (слухи о генеральском назначении проникали быстро), в дело пошла Первая Гитара, вместе с которой полились в ошеломленный зал строчки последней баллады – шумел-гудел банкетный зал, когда Любимов уезжал, и каждый тосты выдавал в большом объеме, болтали каждый как умел, жевали каждый что хотел, а я сидел, не пил, не ел и был в загоне. Ведь у меня сплошные передрыги: крючок я на рыбалке в нос всадил, жена рванье купила на удсалге, и мне советник справку зарубил...

Народ, привыкший к казенщине, был несколько шокирован вольностями, но аппетиту это не повредило, на следующий день меня проводили по протоколу – окончился кусок жизни.

В Москве я долго проходил инстанции перед коллегией, которая только и обладала высочайшим правом назначить начальника отдела, часто сидел и пил кофе у Грушко, однажды нас пригласил Гордиевский, у которого родилась дочка от нового брака, жена его еще лежала в роддоме, стол с азербайджанскими изысками приготовила ее мама, поведавшая нам о заслугах чекиста-мужа, Гордиевский демонстрировал свои картины – он любил и понимал живопись, –

⁶⁸ – А ты могла бы не так напирать? – спросила сидевшая рядом с ней Соня. – Я едва дышу.

– Ничего не могу поделать, – виновато сказала Алиса. – Я расту.

Льюис Кэрролл .

как всегда был дистанционно корректен.

Мы посидели часа два (внизу ждала служебная машина) и отбыли по домам – Грушко никогда не горел особыми симпатиями к Гордиевскому, хотя и ценил его, Титов же, сменивший Грушко уже в 1981 году, вообще его не выносил на дух – так что восхождение Гордиевского в лондонского шефа – это игра судьбы, результат безрыбья в отделе и, конечно же, умелых ударов англичан, выбивавших из Англии или не допускавших туда любых конкурентов своему агенту.



Рисунок Кати Любимовой

Гордиевский тогда изучал английский, писал пособие о Дании, иногда заскакивал ко мне поболтать и получить мудрый совет по Англии, я рекомендовал ему прочитать рассказы Сомерсета Моэма о секретной службе, вскоре, одолев «Стирку мистера Харрингтона», он восхитился этим трудом.

Какой парадокс! какая комедия! – давать рекомендации по Англии английскому шпиону!

Вскоре я приступил к отправлению новых функций. Действительность превзошла даже мои худшие ожидания: отдел был мал, состоял из бывших резидентов и прочих больших людей, самолюбивых и капризных, и, главное, вся деятельность выглядела не просто бесполезной, но унизительно глупой – оставалось лишь пить кофе, обсуждать кадровые сплетни (любимая тема всех!) и смотреть угасавшим взглядом на разверзшиеся внизу бесконечные леса.

Сейчас на авансцену из угольных глубин выползают моя личная жизнь и развод с Тamarой, которой сравнительно недавно писал: «Любимая, страшна бумага, черней чумы и горше яда, и коль любовь впитает в строки, уже обратно не воротит. Но после жизни быстротечной, когда-нибудь в метели вечной, клянусь, черкну комочком снежным, что я любил тебя так нежно...».

Черкну ли? Раз обещал, то черкну.

Но тогда дело шло к разрыву.

Колокол ударил, я пошел к Грушко и заявил о разводе и намерениях жениться на другой, он изумился (впрочем, не менее, чем другие) и даже чуть расстроился (ведь он рекомендовал меня Крючкову, к тому же уже на подписи был приказ о назначении его на пост замнача разведки, вдруг?), отослал меня докладывать по инстанциям, тут же этой радостной местью я огорошил Котова, который философски заметил: «Ничего не понимаю, я тоже влюблялся, но зачем разводиться?» (Котов нравился дамам, он всегда был до умопомрачения элегантен и красив: высокий, худощавый, с большими серыми глазами, аккуратный пробор сиял стрелой), затем побежал к другому генералу, который со свойственной ему тупостью начал уговаривать меня не совершать опрометчивого шага и даже заметил, что моему сыну будет стыдно за меня (вот уж куда залез, доходяга! вспомнил бы лучше, на какие деньги он покупал шмотки жене, когда приезжал в Данию!), далее я двинулся к Титову и попросил по дружбе устроить мне

аудиенцию у Крючкова, что он по дружбе сделал чересчур оперативно.

Владимир Александрович руки мне не подал, на стул не указал, мрачновато оторвал глаза от бумаг (казалось, что я собирался жениться на его супруге) и выслушал мои объяснения: я извинился, что подвел его, – ведь он утвердил меня, тогда морально чистого, на коллегии, теперь же опять заорут, что в ПГУ царят Содом и Гоморра и идейно-воспитательна я работа на низком уровне.

Наступила тягостная пауза, затем, с трудом сдерживая гнев, шеф молвил грозно: «Это вам так не пройдет!»⁶⁹

Я чувствовал себя как Витте перед императором и заявил, что готов подать в отставку, – думаю, что он воспринял это как блеф.

Не буду кривить душой: я действительно чувствовал свою вину перед Крючковым, незадолго до этого мой коллега, запланированный на высокую должность, перед назначением раскрыл Владимиру Александровичу душу и объявил, что намерен разводиться, – в результате духовник его не только простил, но и назначил, правда, он так и не развелся.

Я вернулся в кабинет и занялся делом: начал приводить в порядок служебные бумаги, между делом принимая коллег, выражавших свое сочувствие, я же был радостен и, как истинный истерик, полон оптимизма.

Через несколько дней меня вызвали в кабинет шефа по кадрам, где сидел и партайгеноссе внешней разведки – назовем твердокаменных Сталактит и Сталагмит.

Сталактит был деловит и сразу же запустил меня в ЦВЭК (врачебная комиссия), дабы уволить с честью по состоянию здоровья и не давать пищу вышестоящим моралистам. Увы, как назло, я оказался до омерзения здоров и даже пригоден для несения службы в невыносимых условиях тропических стран. Один приятель предложил лечь в чекистский госпиталь на Пехотном, где знакомый доктор представил бы меня полной развалиной, однако после гимнов моему здоровью такой виртуозный гамбит показался мне рискованным.

Партийный Сталагмит оказался гибче – ясно, что не моя судьба волновала их, а что скажет княгиня Мария Алексеевна в виде андроповских замов С. Цвигуна и Г. Цинева, не упускавших случая, чтобы нагадить Крючкову, – и предложил замять скандал: то есть не разводиться, за что меня с легким порицанием по партийной линии переведут на престижную (но не генеральскую) должность, где я отлежусь на дне, допустим, в Институт разведки имени великого Андропова..

Предложение Сталагмита меня ужаснуло: я представил себя с голым задом посередине разбитых горшков, в полном вакууме, читавшим подрастающим поколениям шпионов некую абракадабру⁷⁰ – все это навевало мысли о несчастных, которые либо вешаются на собственных подтяжках в клозете, либо впадают в многолетний запой с отдыхом на Канатчиковой даче.

Нет! Рука Судьбы уже безраздельно владела мною.

Своими планами я поделился с сыном, который уже учился в институте международных отношений, и предупредил, что ничего хорошего по окончании института его не ожидает (так оно и вышло: попытались заткнуть его в дыру, а в результате дали свободное распределение, опять Рука Судьбы, вынесший его на радио, а затем во «Взгляд»), но он реагировал бодро:

69

Раз-два, раз-два!
Горит трава,
Взы-взы – стрижает меч.
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч!

Льюис Кэрролл .

⁷⁰ Были у нас еще Рифы – Древней Греции и Древнего Рима, Грязноописание и Мать-и-мачеха. И еще мимические опыты, мимиком у нас был старый угорь, он приходил раз в неделю. Он же учил нас Тригонометрии, Физиономии...

Льюис Кэрролл .

«Уходи из этого КГБ! Неужели ты не проживешь на огромную пенсию в двести рублей?!» – не зря я пичкал его Замятинным и Солженицыным!

Стояло лето 1980 года, по полупустой Москве разъезжали олимпийские автобусы, а моя история, словно телега со сломанными колесами, застряла где то на большой дороге между ПГУ и КГБ, я ожидал решения не без трепета: вдруг лишат пенсии?

Я предполагал, что на свет вылезут и захороненные до поры до времени «компры», свои не совсем ортодоксальные взгляды я не скрывал, при особой ненависти меня вполне можно было выбросить без всякой пенсии, впрочем, это не страшило, я уже ощущал себя знаменитым драматургом, принимавшим на сцене цветы от поклонниц.

Наступил сентябрь, но высокое начальство безмолвствовало, а тут подвернулась блестящая возможность провести бархатный сезон в Пицунде.

Я начертил рапорт Крючкову с просьбой об отпуске (таков был ритуал для начальников отдела), и уже через два дня меня призвал партийный Сталагмит и поинтересовался, в каком составе я намерен совершить свой южный вояж.

Услышав, что я отбываю... с подругою? с любовницей?! – он изобразил на лице такое уныние, словно я принес ему весть о кончине всего парткома КГБ. «Ты делаешь ошибку! – сказал он назидательно. – Ты пожалеешь об этом!»

Я в ответ заметил, что английский король Эдуард Восьмой ради любимой женщины пожертвовал даже короной – эта история вдохновляла меня, разве генеральские погоны хуже короны?

Вернулся я через месяц и с удивлением узнал, что уже уволен по статье о служебном несоответствии (наконец-то поняли, что дурак, – скорость потрясающая! обычно на пенсию отправляют со скоростью черепахи), отправлен в запас с пенсией, но (о страшная месть Крючкова!) лишен привилегий при оплате коммунальных услуг, вычищен из резерва КГБ, брошен в рядовой армейский военкомат подальше от славного жандармского корпуса. Коня, коня, полцарства за коня!

Выстрел наконец прогремел, все было кончено, я остался жив и весел, кони понесли дальше.

Командировка в Гренландию, где автор топил льды своею палящей любовью, ел мясо нерп, моржей, тюленей и белых медведей, полюбил карточную систему на выпивку и увидел живую писающую гренландку

Кто под звездой счастливою рожден,
Гордится славой, титулом и властью.
А я судьбой скромнее награжден,
И для меня любовь – источник счастья.

У. Шекспир

3.9.79 . Я начинаю думать о тебе рано-рано, с самого утра, когда бреюсь, думаю, когда отжимаюсь от пола и прыгаю вверх, и вот сейчас снова думаю, двигаясь со всей оравой на кофе, сервированный нам, талейранам, за час до завтрака, то есть я всего лишь хочу сказать, что начал думать о тебе ровно в шесть тридцать утра, пожалуй, я единственный в мире человек, который думает о тебе в Гренландии, этой шумной мыслью я объят и за столом, и разбрасывая «гуд морнинги», ее перебивает лишь предвкушение торосов и айсбергов, еще не явившихся глазу.

Начиналось с того, что, расставшись с тобой (и думая о тебе), я прибыл на место сборища в аэропорту Каструп и был принят догоподобным шефом протокола за австралийского посла (не подумай, что я шел под руку с кенгурю).

Потом активно знакомилась, интересуясь качеством проливных дождей в обоих полушариях, потом долго летели, чуть злоупотребляя первым классом (две бутылки доброго

бордо, моего друга), потом взошли на корабль и выслушивали приветствия капитана, славного парня со щербинкой в зубах, с гордостью демонстрировавшего фотографии своих маленьких дочек.

Итак, кое-что о высокочтимой компании.

Пакистанский посол, лысый трезвенник (что отвратительно), постоянно твердящий, что жизнь его на земле лишь несущественная деталь перед счастьем после смерти.

Австралийский посол – нечто розовое, лоснящееся, круглое, как у макаки, напоминает Мышь-Соню у Кэрролла в исполнении художника Джона Тенниела, списавшего ее с ручного вомбата Данте Габриэля Россетти.

Жена его бледна, тускла, как окошко в темнице сырой, и ее унылый длинный нос окружен бугристой кожей, усеянной черными точками, – так пропадает вера в вечную женственность.

Бельгийский посол, седой, импозантный жизнелюб, участник Сопrotивления, нормальный пьющий человек.

Канадский советник, очень утомленный и призрачный, странно, что я не забыл о нем упомянуть.

Немецкий советник с женой – предусмотрительные жмоты, которые боятся остаться без еды и питья, а потому все время тащат что-то со стола в свою нору.

И Дог с женой.

А я думаю о тебе.

Информация для размышления: по гренладскому сухому закону полагается 72 единицы в месяц на нос (бутылка вина–6, виски–24), жить можно, хотя плохо.

Первая встреча с живым гренландцем, у него от эскимосского синдрома бегают глаза, он – муниципальный советник и носит белую водолазку (похож на совписателя в ресторане ЦДЛ, не хватает лишь кожаной куртки), разговор пуст, как воздух.

Корабль наш называется «Диско», и мы пройдем вдоль западного берега материка Гренландия, что, честно говоря, полная чепуха по сравнению с твоими плечами, обнятыми моею мужественной рукой.

Плывем, за окном холодная, прозрачная, синяя красота. Хочется жениться на гренландке и подохнуть, моя милая.

Человечество поразительно едино в своих забавах, и на гренландских скалах, как на Орлиных у Агурских водопадов, начертаны имена жаждущих остаться в памяти на вечную память.

Не гложет высоколобая дискуссия: подталкивал ли Запад Гитлера к нападению на Союз или нет? Почему-то все ругают не Чемберлена, виновного за Мюнхен, а невиноватого сэра Уинстона, все орут. Гомо (так назовем пакистанца) замечает, что я – human, то бишь похож на человека, – комплимент советскому дипломату, всегда застегнутому на все пуговицы, включая самые нижние.

4.9.79 . Черт побери, какая сильная качка, просто пятнадцать человек на сундук мертвеца, – и-го-го и бутылка рома! Курю с утра сигары, обвевая Гомо, и сожалею вслух, что я не буддист, а правоверный коммунист, за что и гореть мне голубым пламенем в аду, пока Гомо будет наслаждаться собственными превращениями из летучей мыши в сахарный тростник.

За бортом плывут совсем обнаженные скалы, за ними горы, покрытые снегом.

Порт Холстенборг, на берегу лупоглазят тупыми мордами туземцы, на нас смотрят с вожделенным интересом, словно мы в пробковых шлемах и привезли бочки с виски, весь городок разбросан по скалам.

Визит в школу, где девочки выделывают одежду из звериных шкур. О, брюки из шкуры белого медведя, мечта моей жизни, ты любила бы меня в них как сорок тысяч братьев!

Пробежка по магазинам града Холстенборга. Обидно, что даже здесь, у черта на куличках, все забито товарами, а между тем в родных пенатах... почему?

Оказывается, запрещено ввозить собак (я, конечно, уложил в чемодан десяток дворняг), и не из антисобачьих соображений, а просто чтобы не подпортить породу знаменитого гренландского шпица.

Сколько воды вокруг, какое круглое солнце! Идем на всех парусах. Люблю тебя.

В обед отведал кусок сырого дельфина с солью, пища убийц-охотников, очень

напоминающая угря.

Небольшая сенсация: мадам Дога, превосходная старушка в морщинистых складках, обогнавших даже мои несравненные брыдла, увидела в море живого моржа, призывно закричала, все мы возликовали и нацелились в зверя (или рыбу?) биноклями.

Вдруг начал ревновать тебя (видимо, к моржу). Море вздулось мгновенно, пошли девятые валы, сейчас они обрушатся на корабль и подомнут под себя всю Гренландию.

На ужин – креветки и оленье мясо (кстати, вчера в пику Антону Павловичу на ужин поджарили чаек, солоноватых, но сносных).

Продолжал мелкие распри с Гомо, доказывая все преимущества атеистического коммунизма, он отмахивался от меня, как от мухи, настаивая на том, что человек всего лишь пришелец в этом мире и жизнь его – лишь малый этап существования в вечности. А как насчет переустройства мира на нравственно чистых коммунистических принципах? Не желаете? Подобно Льву Толстому предпочитаете есть рисовые котлетки, творить добро, злу не потакать, но и не противиться? А как же военный режим в Пакистане? за что казнили Бхутто? почему голоден пакистанский люд? К топору нужно звать Пакистан, батенька. (Думал все время о тебе.)

В дискуссию вошел немецкий советник Курт, обеспокоенный советской военной угрозой (его я быстро утешил), затем встряла австралийская посллица Энн, недовольная правами человека в СССР, а я, как учили, размахивал мечом и срубал им головы.

После ужина в лучах незаходящего солнца (вот уж белые ночи!) появился город Эгедсминне, в порту стояли толпы юношей и девушек в разноцветных куртках, наши дипломаты оживились, думая, что народ высыпал их встречать как посланцев западной цивилизации, но оказалось, увы, что удостоилась встречи гандбольная команда Гренландии, следовавшая вместе с нами.

Осмотр города, узнаем с грустью, что традиции рыболова-охотника предоставлять гостю на ночь жену ушли в прошлое.

Аккуратно приклеились к скалам, словно игрушечные, цветные домики, дремлют на белых камнях шпичи, то бишь лайки – основной транспорт зимой (катаются, гады, аж в Канаду!), они раскрывают лениво глаза, протяжно, назойливо воют и снова, устав от солнца, слепливают свои зенки.

5.9.79 . Прозрачное утро. Проснувшись в пять утра (еще не думал о тебе), неожиданно для самого себя высунул взлохмаченную голову в иллюминатор и увидел – о, счастье! – первый в жизни айсберг, явившийся словно с картины прогрессивного и передового Рокуэлла Кента, выскочил на палубу, едва натянув штаны, и защелкал аппаратом, как будто расставался с айсбергом на всю жизнь. Однако другие айсберги возревновали и выплыли один за другим, высоченные айсберги – ледяные горы, айсберги– ледяные холмы и айсбергыта-ледышки, бегущие как утята за мамой.

Торжественно бросили якорь в гавани Годхавна, а к городку добрались на катере – разноцветье домов на скалах, над ними холодно-голубое небо, под ними темно-зеленое море с дядями-айсбергами, заглядывающими прямо в окна домов.

Приказано нам хлебнуть науки и подняться в лабораторию по изучению ионосферы, затем деревянная протестантская церковь, прием у мэра, грустного чукчи, торжественное фотографирование в компании лаек, они начинают озверело лаять, что, впрочем, они и обязаны делать, если родились лайками.

Мэр раскрыл глаза на страну: индустриализацию гренландцы не жалуют, нефть завозят из Дании, классов нет, промышленность и земля – государственные, просто Страна Советов, народ честный, воров нет, но зато встречается сифилис, который, говорят, предотвращает рак, и это неплохо. Правда, от «сухого закона», оказывается, развиваются агрессивные инстинкты, разрываются сосуды и аорты, кровь пробивает сердце и мозги бедного эскимоса.

Вернувшись на борт, бельгийский посол задумался, выпил лишь стакан вина за обедом и грустно заткнул бутылку пробкой, Гомо вдруг проникся ко мне и подарил книгу о нирване.

И тут вошли мы в заросли айсбергов, со всех сторон окружали они нас, Рокуэлл Кент совсем сошел с колес и рассовал свои картины по всем волнам.

Фьорд города Якобсхавн (тут, милая, родился великий датско-гренландский полярный

исследователь Кнуд Расмуссен, так и тянет рассказать его боевую биографию, но почему-то все сбивается перо на самого себя, почему так?), идем по фьорду, прилипли домики к скалам, прилипли собаки к скалам, и мне хочется прилипнуть к твоему сердцу, – тонкий и протяжный смех лаек, жарящихся на солнце, косоглазая девица вдруг присела пописать прямо на улочке, и не стыдно, а мы смотрим, едим форель, и я защищаю однопартийную систему, впрочем, всю жизнь приходится ее, любимую, защищать.

6.9.79 . Достигли крайней точки – города Уманак, плавимся в солнечном зареве и уже привыкли к серебристым айсбергам и скалам, к бирюзово-голубым-серо-буро-малиновым меняющимся тонам моря, и я уже ничем не люблюю и лишь скучаю по тебе.

Только растворился я, словно сахарный песок, в этих мыслях, как вынули нас из корабля и покатали к рафинэ-мэру, окруженному нерафинированными гренландцами, – зашла мужская беседа о свинцовых и цинковых рудниках и о том, что если раньше выбивали китов, то теперь изживают моржей. Тут австралийский посол, напоминающий в этот день не мышшь, а скворца, который вот-вот запоет, толкнул прочувственный спич, всех умилил благодарностями за «предоставленные возможности», мы вернулись на «Диско» и отчалили, а мэр с мэрией махали нам с берега руками, а супруга посла, довольная мужчиной речью, распространила среди нас вырезку статьи из газеты под названием «Жена австралийского посла рассказывает, как спаслась от страха», это очень важно – спастись от страха и потом об этом рассказать всему миру.

Но грянул белый, как обычно, вечер, потянулись из камбуза волшебные запахи (что ныне там? тушеные айсберги?), мужчины заспешили по коридорам, дамы залюбовались своими отражениями в стеклянных дверях, и все двинулись на праздник Нептуна. Ритуал включал стояние на одном колене перед священной кадкой со льдом и водой из Северного Ледовитого, из которой поливали на благородные головы, радость не знала границ, и датчане, взяв за ноги медсестру, аккуратно опустили ее головою вниз и слегка макнули.

Мне тоже окропили голову, чтобы я не думал о тебе, Таня.

7.9.79 . Сегодня ты гуляла по моему сну, и я заскучал, когда тебя не оказалось рядом, и снова рухнул в сон, чтобы тебя увидеть, но увидел свой служебный кабинет и чью-то мрачную противную рожу.

Завтрак протекал вяло, а после вывезли нас снова в Якобсхавн, в долину (холодный труп лежал в долине той, в груди его, дымясь, темнела рана... и все из-за тебя!), она усеяна камнями, из которых великий скульптор Ветер создал шедевры, тут и потрясные горы, и по соседству фьорд, и уже совершенно пресловутые айсберги, и вьется по горам бархатнозеленая трава, бежит вверх по белым камням, и если приблизить к ней лицо, как к твоим губам, то можно рассмотреть в глубине ягоды черники.

Датчане и гренландцы. Проблема. Вроде и в голову не придет, что одни – колонизаторы, а другие – бедные индейцы, которые летом ловят рыбу и делают детей, а зимой рыбу не ловят. В раскосых глазах туземцев нет-нет да мелькнут недоверие и опаска, политика тут под датским контролем, но рано или поздно, товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, и воспрянет ото сна великая Гренландия, и подружится с великим и самым добрым соседом – Советским Союзом!

За ужином много шутили, и призрачный канадец, у которого оказались такие рытвины и ухабы на лице, словно по нему прошелся огонь войны, признался, что вчера намешал джина с черным ликером и видел на палубе ночью пьяного бельгийского посла, воющего на луну в компании двух датчан. Интересно, кого видел бельгийский посол.

Кто-то рассказал анекдот об арабе, для которого девушка – это по долгу, мальчик – для удовольствия, а дыня – для экстаза, немец вспомнил девушку, присевшую на улочке, а жена Дога, нашедшая вчера останки моржа, показала всем очередной трофей: два помятых гриба.

Что ты делаешь сейчас?

Проснулся в полночь от стука в дверь (стоянка в Эгедсминне, голоса взошедших на борт пассажиров), закутал свою наготу в пуховое одеяло, открыл и увидел юную гренландку, смутившуюся, словно перед ней стоял не Аполлон в тоге, а голый слон. Она ошиблась дверью, идея избавления от рака с помощью сифилиса провалилась.

8.9.79. Мы уже в Эгедсминне, на пристани торгуют мясом моржей, а нас везут на

уникальную креветочную фабрику. Вокруг высятся горы самых крупных в мире креветок, их хочется всех посолить и поперчить и надраться под песни Высоцкого...

Но очень не хочется чистить, а это целая процедура: на креветку с обеих сторон налегают валики (честь изобретения принадлежит гренландскому Ньютону-рыбаку, однажды задумчиво наступившему грубым сапогом на креветку, что привело к ее вылезанию из панциря), панцирь остается, холодный труп следует по конвейеру, где его дочищают хлопотливые женские руки, – далее все летит в автоматы, фасовку и заморозку.

В Эгедсминне, моя дорогая, между прочим, расположена штаб-квартира инуитов, требующих объединить эскимосов всего мира, как соединяют пролетариев всех стран, давай поедим к ним, купим домик на скале, заведем лаек, я буду ловить рыбу и бить нерп и спокойно умру от скуки на 72 единицы в месяц (три бутылки виски, какой мизер!).

Ужин на борту, воют и лают лайки, я люблю тебя, и волны стучат: и все бессмысленно, и все бессмысленно, и все бессмысленно без тебя, Таня.

9.9.79 . Сегодня последний день, вчера была прощальная пьянка, и я имел там спич: пожаловался, что мне, коммунисту, не давали выступать и лишили одного из важнейших прав человека, похвалил датский МИД за то, что он организовал нам такое жаркое солнце, и все во имя пропаганды (о, остроумие партшколы!), отметил, что сегодня в воскресенье день тускл, как акулий суп, но в выходные даже волшебники не работают (общий смех, переходящий в хохот), далее превознес достижения Гренландии (чтобы и в следующий раз пригласили), порадовался, что никого из нас не избили, не искусали и не съели (beaten, bitten, eaten – куда до таких рифм Хлебникову!), правда, дипломаты – народ несъедобный (громовой хохот).

Когда спичевал, каюсь, о тебе не думал, потом все напились и я признался Дугу как представителю социалистического правительства Дании, что вся группа – полное гээ, ибо все они несоциалисты, а что представляет из себя несоциалист, вечно думающий об обогащении, всем известно. Дог кивал головой.

А сейчас я вышел на палубу и встретил фантастически пьяного бельгийского посла, который еще и не ложился.

– Боже мой! – я даже обнял его, так он качался, – как же так? Вы и не спали?

– Майк, – он тоже обнял меня, чтобы удержаться, – знаешь, что говорила мне покойная мама? «Не торопись спать, сынок, у тебя для этого еще будет масса времени!» Вам ясно, Майк? Ясно. Я скоро увижу тебя.

Сауна. Большой бассейн и ресторанные столики.

Темный лес и моя машина, и ты рядом, и грозит пальцем лесник в зеленой куртке с капюшоном.

Клампенборгские дубы, ты на велосипеде, портативная палатка на поляне – и плевать на бойскаутов, собирающих колокольчики!

Ведь все бессмысленно, ведь все бессмысленно без тебя.

Москва, 1980– 1991

Один поток сметает их следы,
их колбы – доннер веттер! – мысли, узы...
И дай им Бог успеть спросить «куда?»
и услышать, что вслед им крикнут Музы.

И. Бродский

Не нужно было представляться, Гена, я и так узнал твой голос в то летнее утро 1990 года, нет, пожалуй, не сам голос, а интонацию, принятую на самых верхах обаятельнейшего учреждения, с которым я имел счастье расстаться осенью 1980. Привет, привет, десять лет не говорили, время летит, дети растут, внуки не отстают – секунд двадцать вылетело на эти приятности, – затем ты выдержал паузу и весьма значительно сообщил мне, что обстановка в стране сложная, нужны консолидация и взаимопонимание в этот критический момент и посему

ты хочешь срочно⁷¹ со мною повстречаться.

Несколько ошарашенный, но бодрый, я взглянул на часы: был конец августа 1990 года, стрелки тянулись к обеду, и халява за счет КГБ подоспела весьма кстати, – позвольте уже не занюханную консквартиру, где дежурный чай с суховатыми бубликами, а любезный сердцу «Националь», прекрасный в шестидесятые, когда туда еще входили без взятки или обмеривающего взгляда, получали бульон в чашке с пирожком и кое-что еще.

Ты обещал перезвонить (понятно, без подключения службы кабинет и не приснится, да и доложить, наверное, нужно по инстанции, что, мол, от контакта ренегат не ушел, будем ковать железо), что и сделал: итак, прямо у рокового входа ровно в 13.00, до встречи, друг!

Не скажу, чтобы я обомлел от страха, но насторожился и прикинул все свои недавние прегрешения перед службой: первый выстрел прозвучал в феврале 1989 года, когда я принес в «Московские новости» статью «От войны разведок к сотрудничеству», где провел крамольную мысль о сокращении и КГБ и ЦРУ, мешавших растаять льдам недоверия, и весьма пренебрежительно сравнил спецслужбы с бегущими по кругу зверушками и птичками Льюиса Кэрролла, которые на вопрос «кто победил?» хором отвечали «мы победили!».

В редакции меня долго обнюхивали, как провокатора, и хотели, чтобы я подписал статью как сотрудник КГБ, но я поосторожничал и предпочел укрыться под «кандидат исторических наук»: КГБ тогда казался мощной скалой и перо и хвост трепетали перед возможными последствиями.

В начале 1990 года я запустил в толстом журнале шпионский бурлеск о борьбе КГБ и ЦРУ, приспособив его к театру абсурда, тайная война выглядела там настолько идиотски, что КГБ было просто неприлично принимать все это всерьез – бурлеск вскоре поставили в Душанбе (!), бастионе свободной мысли. В мае 1990 года я снова допустил несколько неуважительных выпадов в статье о Киме Филби, часть которых пришлось снять по повелению кагэбэвской цензуры.

В июне 1990 года во время круиза с американцами я случайно раскрыл «Красную звезду» и прочитал несколько гнусных строк по поводу генерала Олега Калугина, покотившего целую бочку на КГБ.

С Олегом Даниловичем я ранее общался и на работе, и на квартире Кима Филби, более того, когда после скандальной отставки я начал пробивать свои пьесы и явился в Ленинград для завоевания местных подмоетков, Калугин не уклонился от встреч со мной, как многие тузы, и даже свел с Товстоноговым, Лебедевым, Дворецким, правда, почему-то никто из них не оценил мою гениальность и пьесами не восхитился.

Однажды я случайно встретил Калугина в метро, он поведал, что отозван со своего поста в Ленинграде (все-таки первый заместитель начальника Управления КГБ, один из хозяев города с черной «Волгой» и редким тогда радиотелефоном), который и он сам считал почетной ссылкой, и трудоустроен в каком-то ведомстве. На этом мы и распрощались.

Выступление Калугина вдохновило меня, оно было смелым и острым, вскоре его лишили эполет, и тогда в «Московских новостях» я выступил в его поддержку, а заодно в знак протеста отказался от знака «Почетный сотрудник госбезопасности» – очень хотелось швырнуть его кому-нибудь в удивленную физиономию или, в крайнем случае, к ногам, но технически это было трудноисполнимо.

Так что прегрешений перед службой у меня поднабралось, к тому же мой крамольный роман «И ад следовал за ним» – с какой сладостью я представлял, Гена, что все вы узнаете себя! – уже приняли в «Огоньке» и поставили на начало сентября, что-то, а этот журнал Крючков держал на особом крючке, а нечто написанное против его службы, да еще с примесью сатиры, да к тому же бывшим сотрудником, уже наверняка было перефотографировано вездесущей агентурой и изучено дотошными стукача-ми-аналитиками.

⁷¹ И что это у них за страсть – поднять сумбур, скакать во весь опор, хлопотать, все делать опрометью, точно пожар, трон рушится, царская фамилия гибнет, – и все это без всякой нужды! Поэзия жандармов, драматические упражнения сыщиков, роскошная постановка для доказательства верноподданнического усердия...

Зачем же я вдруг тебе понадобился, старый друг Гена? Вспомнить о далеких временах в Англии, когда ты еще играл на гитаре? Просто выпить? Или извиниться, что десять лет ты мне не звонил?

Я пораскинул мозгами и решил, что, очевидно, ты окажешь на меня прессинг – головы в России уже не рубили, морды еще били, и все больше входило в моду демократическое увещевание.

Конечно, Гена, я внимательно следил, как Крючков тянул тебя и Витю, двух своих фаворитов, к ослепительным пикам власти, так что быстро усек я, вяло роптавший пенсионер, откуда вырвалось у тебя столь спешное желание повидаться со старым коллегой и даже чуть-чуть приятелем, если вообще могут быть приятели в нашей божественной организации. Впрочем, отношения наши всегда были ровными и даже теплыми, помнишь, как шли на встречу, когда я передавал тебе агента перед отъездом из Англии?

Мы не виделись с октября 1980 года, когда я пошел по кабинетам прощаться с товарищами по оружию, сочувственно жавшими мне руку и принимавшими мое веселое настроение за позу киплингковского Макферсона, пустившегося в пляс перед повешением, попрощался я и с Крючковым, он был сух, на миг оторвался от бумаг, потер свою озабоченную мыслями голову, спросил, чем я буду заниматься, и, узнав о моих драматургических планах, попросил присылать ему пьесы (сначала я решил, что из любви к драматическому искусству, и только потом понял, что это была просьба Бенкендорфа).

Много воды утекло под мостами, и, пожалуй, я расскажу тебе о приключениях отставника, брошенного в бурные воды новой жизни, о, грехи мои! Сегодня, как на пиво, тянет на сонеты Бродского о Марии Стюарт: «Число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру три, четыре, десять, двадцать, двадцать пять. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать...».

Большого урона, конечно, КГБ не нанести, в кадрах на Лубянке у меня долго допытывались о причинах развода (хотя я лишь кувыркался в волнах Судьбы), сунули что-то подписать и объявили о том, что отныне я состою в резерве наших доблестных вооруженных сил, т.е. в случае войны не забросят меня на парашюте в ставку американского главнокомандующего, и даже не работать мне в новом «Смерше»– «Смерть шпионам!», сажая шпионов, а заодно и отечественных рокеров, посетителей «Макдональдса» и валютных магазинов, вычистили меня из элитного резерва КГБ, растворили в миллионах...

Если бы Крючков и ты, Гена, знали, как я радовался, выпав из нашей тошнотворной трехзначной аббревиатуры, – все-таки в разведке мы не чувствовали себя жандармами, а на пенсии... там всех стригут под одну гребенку, и не объяснить львиноподобной волчице в ЖЭКе, что ты не выдирали ногти у ее бабушки.

Военкомат принял меня настороженно (что за птица? за что его выгнали? неужели такое натворил, что даже в резерв свой не посмели взять?!), особенно после того, как я простодушно сообщил о своем боевом опыте работы в разведке (лицо военкома окаменело, в то время на эти темы говорить не полагалось) и пожелал, чтобы меня использовали в будущем по линии ГРУ. Когда я промолвил «ГРУ», военком быстро перевел разговор на другую тему, решив, видимо, что я провокатор КГБ, и зачислил меня в состав танковых войск (танков у нас было так много, что их не жалели).

Через год неожиданно вызвали на сборы (было мне под пятьдесят), в танк, правда, не засунули, но посадили за военный перевод и попытались привить некоторые знания тактики (основное: в танке нельзя пукать). Занятия проходили в новом здании ИМО под руководством капитана, группа состояла из молодых людей, и появление отставного полковника (грозный орел среди цыплят) вызвало любопытство – впрочем, относились ко мне снисходительно, как к нагрешившему старцу. Апогеем учебы явились стрельбы из пистолетов, боевые телодвижения с автоматом, когда прикладом нужно было в очередной раз размозжить скулу противника, прыганье с танка и крутая пьянка после полевых игр, замешанная на портвейне.

Бывшему резиденту и советнику посольства полезно было встряхнуться, Гена, и понять, что воинская повинность для него не исключение, в стране все равны и им может небрежно помыкать старлей и даже прапорщик, вполне справедливо называть его «мудаком», если он лепит мимо мишени или не в состоянии мгновенно оторвать толстое пузо от земли, –

номенклатура развращает, Гена, человек отвыкает от живой жизни, становится беспомощен, как дитя, и даже забывает, каким образом звонить по телефону-автомату.

Все это семечки, Гена, но – доннер веттер! – приходят мысли о жизни и смерти (особенно когда нужно пылесосить или сдавать в прачечную белье – ужасное дело, между прочим, ибо нужно класть метками вверх, и ты путаешь, и тебя отчитывает медведица-приемщица, как ни на что не годного дурака), к пенсионному ритму привыкать нелегко, некоторые с ходу дают дуба...

В минуты отчаяния еще хорошо помыть посуду, протереть письменный стол, взять бюст Дианы и вымыть его с мылом – он становится белоснежным и призывным, как купчихи Кустодиева, неплохо еще склеить кресло, чтобы не лезли в голову плохие мысли, включить магнитофон и послушать собственные стихи, озвученные бардом-сыном на гитаре.

Белые деревья, синяя пороша, дорога уходит все дальше и дальше и покажется чуть попозже гораздо ярче, чем раньше. Но уже никогда не возвратиться к оставленным дюнам и морю, не остановиться у мола, не зачерпнуть пригоршню синего песка, пытаюсь рассмотреть свою песчинку в массе взаимодействующих, злодействующих и прелюбодействующих песчаных величин. Сколько нас развелось! Какая толчея! Каждый кричит, утверждая себя в этой массе песка. Страх охватывает меня от предчувствия холода, как от созерцания кладбищенских плит. Будто уже лежу обглоданный, вымороженный, выпотрошенный, растасканный по крохам, и захлебнулся, и ничего не может поделаться мой стих. Синее-белое, белое-синее, невозполнимое, невозвратимое. Вот и город встречает фанфарами, фалангами машин и шепотов неясных, автомобильные фары горят, как раненые тюльпаны, освещая будущее, которое всегда прекрасно, постепенно сердце становится на место. Как это говорится? Легко на сердце от песни. Надо просмотреть прессу, не забыть позвонить и извиниться, что не раздавить клопа на стене, лечь в десять, распланировать весь месяц, положить в холодильник мясо. Уже тревожные черные линии очерчивают людей и предметы, вот и ушло мое синее, вот и ушло мое белое, мое самое первое, запретное, самое заветное, детское и самое зрелое, невыносимое, синее-белое, белое-синее.

Кое-кто из приличных коллег (большинство отвернулось) помогли мне делать рефераты на иностранные книжонки в Институте научной информации по общественным наукам, писал я и «тезисы-статьи» для кагэбзского отдела в АПН, вершившего активные мероприятия, – там упросил поставить меня на партийный учет, не хотелось идти к старикам в ЖЭК.

Если сказать честно, Гена, то я был счастлив: писал, верил, что рано или поздно пробьюсь, бумаги не жалел, упирал на пьесы (всегда любил запах кулис), много тогда вышло из-под пера всякой дряни.

Но писать в наше время может любой дурак – вот попробуй опубликовать или поставить! Сколько было выдано телефонных звонков, как заискивающе звучал мой голос, сколько было обито ступеней, сколько ждал в коридорах, как негодовал, когда обещали принять, но вдруг убежали на какое-то важное совещание.

Не забыть юного дебила из Министерства культуры, который, хихикая, объяснял, как следует писать и что именно, или писак из «Современной драматургии», которые даже в 1989 году в отзыве на пьесу мычали, что я искажаю жизнь советских дипломатов, – сейчас небось вся эта шваль кроет всю коммунистов и поет осанну демократии, а ведь она ничуть не лучше, а гораздо хуже кагэбзских борцов с диссидентами: те хоть выполняли приказы и не рядились в тоги интеллигентов.

Минкультуры СССР и РСФСР, Управление московских театров – вершители судеб драматургов – туда входил я робко, с дрожанием в коленках, с сувенирами в виде скромных канцтоваров.

Сколько стыда испытывал я, когда всучал сувениры, как я мучился и краснел, будто совсем другой человек когда-то передавал иностранцам сотни тысяч долларов, – почему легко давать взятки, если работаешь в разведке, и так сложно, если ты писатель, у которого через сердце прошла трещина мира? Давал, что ли, мало?

Впрочем, всегда полезно взглянуть на себя глазами затурканных, низкооплачиваемых чиновников: мог ли вызвать у них симпатии старый разьевшийся воробей, славно поживший за границей? Служил царю-батюшке – КПСС – КГБ верой и правдой и вдруг порешил писать

пьесы! Ах ты, сукин сын, Тютчевым себя вообразил, тот тоже в Мюнхене сочинял. Да к тому же еще пишет с диссидентским душком, явный провокатор: дай ему ход – и снимут с должности или в заграничную командировку не выпустят.

Мотали меня искусно, кормили щедро обещаниями, отфутболивали, перепасовывали из рук в руки, обнадеживали, подводили, снова обнадеживали, четыре года таранов головой, четыре года утерянных иллюзий, страшная мысль о собственной никчемности, кризис веры в себя – порой подступало к горлу: к черту! уйти на службу в какой-нибудь отдел кадров, швейцаром, вахтером в Высшую партийную школу (там, правда, предпочитали генералов).

Судьба не только карает, Гена, она играет нами, своими детьми, она и жестока, и добра, и совершенно глуха, и слышит каждый вздох, – и тут внезапная удача: политическую пьесу (о, Зубков и Боровик) «Убийство на экспорт» взял Михаил Веснин, главный режиссер Московского областного драматического театра, пусть не «Комеди Франсез» или МХАТ, но свершилось!

Премьера состоялась в конце 1984 года, и не где-нибудь в мытищинском клубе, а в вакантном здании филиала Малого театра, зал был забит прыщавыми пэтэушниками, в первые ряды я усадил празднично одетый бомонд из МИДа, разведки и ЦК, они дружно аплодировали, окупая бесплатные билеты, чуть не падая от смущения, я выходил кланяться, все поздравляли с успехом, которого не было. И все же я чувствовал себя, словно высунул голову из навозной жижи и увидел солнце.

Даже кое-какая пресса откликнулась: «Пьеса московского драматурга (!)... написана, как говорится, по горячим следам... эта история могла произойти и в Азии, и... когда революционное руководство объявляет о национализации собственности транснациональных корпораций... от взрыва подложенной ЦРУ бомбы... в президентское кресло садится американский ставленник... автор хорошо знает фактический материал... Дик Смит, выросший в среде, пропитанной атмосферой насилия» – смешно и мило, все-таки в веселое время мы жили!

Мой старый друг Игорь Крылов особо не деликатничал: «...что-то в проруби мелькает, что-то там болтается. И не мог понять я точно, слыша взрывы и пальбу, то ли это был цветочек, то ль иное что-нибудь».

Я ответил хлестко, в духе «Правды»: «Для агентов ЦРУ, для завистников, копящих злость, эта пьеса – как говно по лицу или в задницу рыба кость!»

За этот выпад был наказан весьма элегантно: «Ты всех потрясешь, милый, новаторством и отвагой: раньше писали – чернилами и, в основном, на бумаге». Видимо, сомневаясь, что я не пойму намек, мой друг повернул кинжал в ране еще раз, поставив постскрипtum: «Это очень интересно: чем свои ты пишешь пьесы?»

Попадало и похлеще, – друзья меня любили, – сокурсник-вапповец Женя Клименко, помогавший пробивать пьесу: «Мир не видал таких кретинов, как суперспай М. П. Любимов! Тебя заела в Ялте скука – лакаешь водочный коктейль, а обещал работать, сука, как драматург и как кобель!»

Но на этом дело не закончилось, «Убийство на экспорт» взяли на радио, причем главные роли исполняли корифеи: М. Державин, Н. Вилькина, Н. Волков, А. Ильин, В. Никулин, слушала вся страна, особенно в парикмахерских, дивная запись, до сих пор, выпив бутылочку, я разваливаюсь на тахте, вывезенной еще папой из побежденной Германии, и слушаю самозабвенно свою пьесу.

Народ откликнулся живо, например, из далекого Свердловска: «Вы подарили в конце года минувшего большую радость. Театру Любимова (наконец!!!) дана дорога в эфир. Это вселяет оптимизм. Любимов – выдающийся художник...» – Юрия Петровича от этого не убавилось.

Малый успех породил новый вулкан энергии, и я попер дальше, а тут перестройка, новые надежды, но...

Мой шпионский бурлеск «Легенда о легенде» никто не брал из страха (там пахло пародией не только на ЦРУ, но и на органы), не вызвала восторгов мелодрама «Кемпинг» (драматург Григорий Горин, добрый человек, прочитал пьесу прямо за ленчем в ресторане – я гипнотизировал его, услужливо подливал вино, боялся, что он обнимет меня и прольет вино мне на брюки, однако Горин устоял, брюки не испортил и сухо заметил, что у многих

драматургов действие происходит в гостинице), другой потрясный опус «Дипломатическая история» (в финале советский посол хватал бомбу, заложенную западными террористами в посольство, – что там Жанна д'Арк, восходящая на костер! – часовой механизм тикал на весь зал, перекрывая патриотический монолог) отбивали во всех театрах, опасаясь связываться с косным МИДом, в отчаянии я инсценировал «Мы» Замятина, соединив его с Оруэллом (их еще не печатали), пьеса разошлась по театрам, начались переговоры, а тут, черт побери, стали печатать все подряд и «Мы» растворилась в целом шквале ранее запретной литературы.



На Лубянке за любимым занятием

И все же... и все же прекрасно жить надеждой, прекрасно верить в себя и, выпив утром чашку кофе, думать о своем предназначении, и важно садиться за стол, прикидывая, что в будущем, пожалуй, стоит перенять опыт Хемингуэя, работавшего стоя и опустив ноги в таз с водой.

Так и текла жизнь, Гена, со своими взлетами, падениями и перепадами, постепенно разменяли квартиру, вступил я уже официально в брак новый⁷², летом выезжал на машине с Таней в Прибалтику, а потом мы подружились с Галей и Валерой Кисловыми, он служил под моим началом в Дании, катали по всему СССР вместе, они оба оказались людьми симпатичными и порядочными, Валерий был одним из немногих коллег, не страшившимся контактов с отверженным.

А знаешь, Гена, все-таки ужасно, все трусые и трясутся из-за своей карьеры. Боже, сколько я слышал витиеватых разговоров по телефону, сколько уклончивых ответов, сколько опущенных глаз я видел, сколько каменных харь! О, если бы это были враги, увы, это были бывшие товарищи по щиту и мечу!

Иногда брал в поездки сына, крутившегося в институте, и даже его собаку – старого Джека, – без которой Саша не желал ехать, показал Джеку прекрасные места, благодарна мне, наверное, за это его собачья душа.

Сын наяривал на гитаре мои вирши: «Надоели герои и роботы, лупит в бубен оглохший шаман. В голове – словно ухнул мне в голову озверевший свинцовый жакан. Как устал я от сонного гула, от вздымающих воздух трибун, как мне хочется сесть и подумать и хотя бы вздохнуть на ходу. Пусть ржавеют шикарные пушки и снарядов нейтронных запас, пускай девушки в юбочках узких вечно любят и мучают нас! Чтобы пламя в коснеющем мраке

⁷² Неужели дурак?

поглотило трезвон и вранье, чтоб твой голос задумчиво-мягкий мне рассказывал что-то свое...»

Саша на глазах взрослел, учился прилежно, но без энтузиазма, процветал в институте как диск-жокей, иногда попадал в драки, а однажды больно толкнул какого-то майора, который шел не по своей стороне ему навстречу, – потом вызволяли из отделения милиции.

Больше всего я боялся, что Саша захочет работать в МИДе или в КГБ, – понятно, что туда его не призвали, и он устроился на радио, иногда ездил по стране. («В городе одно двухэтажное здание, в котором я и живу на койке номер сорок один. Уборная одна на восемнадцать комнат, один телевизор, один чайник и одна газовая плита. Нещадно орут дети. Механизатор с танкистом Витей вечером выпили шесть бутылок водки. Воняло невыносимо, т. к. душа нет и бани тоже».) «Взглядом» тогда и не пахло.

Любим мы говорить о детях, правда? Видимо, стареем или просто уж такие, что все о детях да о жене.

Почему так грустно жить, Гена?⁷³

Давай, брат, хлебнем кородряги и покалякаем, как принято на Руси, о бабах.

Командировка в гарем Джакомо Казановы, забитый фригидными гуриями, трахальщиками-евнухами, висячими фаллосами, яйцешипательными историями и торчащими фигами

Мы не можем уподобиться трусливым немецким социал-демократам, делающим вид, что у человека нет половых органов.

Ф. Энгельс

Старичок-хозяин, в одном нижнем белье, стоял на четвереньках и, нагнув седовато-багровую голову, глядел – промеж ног – на себя в трюмо.

В. Набоков

Бриджит Бардо

О бабах-то говорить один кайф, но сначала о товарище Сталине и о первом боевом крещении через четыре года после его смерти.

Печальная весть застала меня уже на втором курсе института, и я искренне рыдал вместе со всеми, скорбя о своем и народном будущем, впрочем, в подсознании трусливо бултыхалась мысль, что со Сталиным не все чисто, в особенности сомнения по поводу отстрела многих отцов великой революции. Поэтому, когда грянули хрущевские разоблачения, скупые зерна правды упали на подготовленную почву, вмиг очистили Великую Идею от крови и подвигли на строительство нового, коммунистического общества, в которое превосходно вписывалась собственная карьера.

Правда, вера моя не подкреплялась энергичными деяниями на общественной ниве: на целину я не поехал (зато в нежной компании отправился на Черное море), в комсомоле особой активностью не отличался и в выборные органы курса не попадал (оттуда шел прямой путь в партию со всеми вытекающими отсюда последствиями при распределении), в последние годы

73

...и, пригорюнясь,
глядишь в невидимую точку:
почти что юность.
Как возвышает это дело!
Как в миг печали
все забываешь: юбку, тело,
где, как кончали.

И. Бродский .

на курсе мне поручили работу с иностранцами из соцстран, – деятельность сия была активной, – самое парадоксальное, что на этом идеальном для стукачества посту (все-таки иностранцы!) никто из славных органов меня не теребил и не нацеливал, что удивляло, а когда я начал соприкасаться с иностранцами в «Интуристе» и Комитете молодежных организаций и вновь не ощутил чекистского интереса, то всерьез задумался: в чем дело? может, порча какая? может, недостоин? эдак, пожалуй, и распределят куда-нибудь на радио, в Алма-Ату!

Просто ужасным представлялось, что ко мне, сыну чекиста с 1918 года, не обращался никто из его коллег – почему? может, отцова отсидка в роковые тридцатые лежала на моей безупречной биографии или не слишком активная работа в комсомоле? или говорил что-нибудь не то на семинарах? а может, у меня подозрительные связи? кто же? искал, но не находил... Конечно, я не жаждал стучать на своих сокурсников (все равно втянули бы в это дело, заморочили бы голову), но обидно было, что герои невидимого фронта забыли обо мне и не протянули руку и святой борьбе с происками мирового империализма. О, несправедливость!

Правда, ума хватило, чтобы не мчаться в приемную КГБ на Кузнецком мосту (много почтенных граждан сидело там на потертых стульях с рапортами о зловредных передачах Би-би-си, услышанных через стену, о разрушительных облучениях западными разведками квартиры, что вызывало у владельца головную боль, о том, что к некой Зинке, мерзкой антисоветчице, ходит иностранец etc., etc.) или в отдел кадров института, где сидел худенький, как сама смерть, дядя, похожий на облысевшего ворона, он по всем параметрам (незаметность, многозначительность, острый взгляд в сочетании с по-ленински заразительной улыбкой) подходил под образ секретного сотрудника.

Но вот грянул Международный фестиваль молодежи и студентов, первый мощный прорыв иностранцев на просторы нашей родины, главное событие 1957 года. Массы рвались взглянуть на диковинные одежды, на живых стилиг, на отвлекавший отдела революции, развратный рок-энд-ролл, народ открывал Запад, носил на руках гостей, а одна юная трактористка бросила в подарок велосипед прямо в тамбур фестивального поезда, подарила по ходу движения, чуть не прикончив гонимого в США негра – хорошо, что под рукой у нее не оказался трактор...

Как переводчик, уже слегка овеянный дымом сражений с врагами, я был включен в толмаческую службу на фестивале и закреплен за шведской делегацией, считавшейся своенравной, капризной, развратной и особо опасной в идеологических битвах из-за «шведского социализма», который только морочил голову трудящимся и потому был хуже самого плохого капитализма.

Переводчиками руководил перезревший комсомолец из КМО, а вот замом при нем состоял Владимир Ефимович, роста малого, человек обходительный и покладистый, снисходительно, как удав на кролика, посматривавший на своего шефа (хотя и снизу вверх), – вычислить его было несложно, и к нему я и явился в душевном порыве: как же это так, я, сын старого чекиста, члена великой партии с 1918 года, участника и гражданской, и Отечественной, сам посвятивший свою юную жизнь служению Родине на внешнеполитическом фронте, как же это так? Разве я могу остаться вне той скрытой борьбы, которая развернется на фестивале? Я бы очень хотел, Владимир Ефимович, чтобы вы изучили этот вопрос...

Он смотрел на меня с некоторым удивлением, будто и действительно ничего обо мне не слышал (как и все, кто никогда не работал в КГБ, я мнил, что эта всемогущая организация все видит и все знает, впрочем, везде в мире роль спецслужб серьезно преувеличена, чему они и рады), потом поразмыслил и обещал через пару деньков меня разыскать.

Фестиваль уже бурлил, шведов мы встретили на границе у Выборга, я боялся за свой корявый шведский и очень обрадовался, когда в стокгольмском вагоне путь мне преградила загорелая, пахнувшая западными кремами ножка и голосок с верхней полки (н полутьме я разглядел лишь огромную копну соломенного цвета волос) пропел совсем не по-шведски «How are you?» – после этого прекрасная ножка поднялась, как семафор, пропускавший меня... куда?

Но тогда у меня в груди гремел Маяковский: «Громи врага, секретчики, и крой, КРО!»⁷⁴

⁷⁴ Секретно-политический отдел, контрразведывательный отдел ОГПУ.

На вид меланхоличные шведы доставили массу непредсказуемых хлопот, ибо в первый же день дорвались до коммунистических радостей и объелись бесплатными харчами (столы под тентами в районе гостиницы «Алтай» ломались от икры, севрюги, балыка и других яств, поглощение которых не ограничивалось), исстрадались животами и полностью разрушили весь график мероприятий. Правда, и без этого хаос на фестивале стоял превеликий: выпив лишь стакан водки, западники сходили с рельсов – кто-то крутил на улицах непотребные роки, а кто собирал незрелых советских юношей и вещал о свободе и демократии, много головной боли доставляли женолюбивые вечно гогочущие негры – запустили козлов в огород.

Уже на исходе фестиваля (я изнемог от ожидания – так жаждал быть сексотом) Владимир Ефимович пригласил меня в кабинет и сообщил, что просьбу мою уважили, рад я был несказанно, познакомил его с отцом – и он, будучи общительным и доброжелательным человеком, вскоре стал другом нашего дома.

Наши игры с В. Е., правда, продолжались меньше года (в 1958-м я загремел в Финляндию), но блеска в них было изрядно и особенно авантюризма и свободы, которых мне так не хватало в той скучнейшей жизни, ставшей вдруг в наши дни такой веселой, что с утра ожидаешь либо веселого переворота, либо веселого налета.

Владимир Ефимович начал лепить из меня агента для торпедирования посольства Швеции, разумеется, в свои 23, при всей вольтеровской эрудиции и фрэнксинатрском обаянии, я вряд ли мог бы охмурить опытного дипломата, а посему бросили меня на молодежь, и, конечно же, на технический состав, в котором доминировали дамы. В те славные годы в КГБ работало не шибко образованное поколение, считавшее, что путь от постели до агентурного сотрудничества короток и сравнительно легок (судя по ярким делам французского посла Дежана, совращенного девицами-агентессами, американской дипломатши Б., тоже соблазненной, и клерка английского атташата в Москве Вассала, взятого на высшем пилотаже гомосексуализма, основания для такого оптимизма существовали), правда, киксов было предостаточно, и порою скомпрометированные иностранцы не спешили в объятья спецслужбы, а просили на память фотографии или просто посылали подальше.

Первую хитроумнейшую комбинацию провели в «Советской», где, отражаясь в царственных зеркалах бывшего «Яра», верный агент КГБ Петя, давний друг шведского посольства, кушал в компании двух шведских секретарш и офицера безопасности. Тут нежданно-негаданно в ресторан заскочил я, по легенде – процветавший бонвиван, и пошел чуть рассеянно меж столиков, в мыслях о своей спарже и замороженном шампанском в серебряном ведерышке, метрдотель (тоже в мыслях) трусил впереди, причитая: «Ваше благородие-с, кабинет-с готов, все накрыто-с».

Естественно, на столик с агентом Петей и шведами я даже не взглянул (оценим тонкость!), и Пете пришлось вскочить, побежать за мной с воплями радости, обнять, прижать к груди – снова встреча детей лейтенанта Шмидта, – притащить за стол и представить изящным фрекен и подпившему герру.

Задерживался я недолго, пугавшей иностранцев навязчивости, когда сразу тянут в Большой, домой, к друзьям, к цыганам, не проявлял, лишь рутинно получил координаты присутствующих. Унылые шведки мгновенно не зажглись (мы списали это на присутствие офицера безопасности, ибо кто мог устоять перед моими чарами?), никто из них, увы, не подмигивал многозначительно и не жал мне ногу под столом. Через неделю я все же дерзнул позвонить одной из них, ухитрился вытянуть в ресторан, а затем даже был приглашен домой на кофе (о, вожденный миг!), но вдруг появилась суровая подруга, мы попили кофе втроем, меня расспрашивали (точнее, допрашивали) и рассматривали как питекантропа, забежавшего в дансинг, и дураку было понятно, что ничего не светило.

Что же, первый блин пошел комом, но вот через месяц раздался звонок и В. Е. бодрым голосом сообщил, что предстоит чрезвычайно серьезное дело, которое требуется обсудить на тайном совещании в ресторане «Арабат» – чекисты жаловали это место рядом с Лубянкой, впоследствии я сам иногда после трудов праведных заскакивал в буфет на втором этаже, дабы принять свой граненый.

Ефимович прибыл в обществе красномордого типа с золотыми зубами и его вертлявого помощника, жадно ловившего слова, вываливавшиеся, как золотые яйца, из прокуренного рта

шефа⁷⁵.

Дело и впрямь прекрасно ложилось на мою, мягко говоря, романтическую натуру, по-большевистски презиравшую интеллигентские мораль и нравственность, добавим дивный фильм «Двойная игра», где двое влюбленных работали на разные разведки, плюс истории шпионок-соблазнительниц Маты Хари и Марты Рише, а также кавалера Д'Эона, проникшего во двор русской императрицы и славно, под видом дамы, похваставшего ее фрейлин.

Итак: в Москву на пару недель прибывала американская студентка Бриджит Бардо, на которую у КГБ имелись виды, о ней имелись лишь скудные сведения, и мне предстояло изучить объект и установить с ним, с объектом, добрые отношения, естественно под вымышленной фамилией и под легендой аспиранта, причем из Киева, чтобы американцам трудно было установить мою личность, если бы они пожелали.

Аспиранта сделали преуспевающим, как все советские молодые ученые, и поселили в «Метрополь», где остановилась прекрасная дама.

Утром мне ее и показали (суетился, дабы попасть в фокус ее внимания): небольшого роста брюнетка с крупными глазами, не первая красавица и не баба-яга, я тут же почувствовал, как обволакивает меня мелена влюбленности, – только верность идеалам партии способна была мгновенно вызвать такие бурные эмоции.

Приказали не тянуть и искать контакта, действовать исходя из обстановки, – и уже на следующее утро я сидел у телефона, напрягшись, как лев перед прыжком, наконец звонок и сообщение бдивших сыщиков, что Бриджит спустилась позавтракать в кафе.

Напустив на себя чрезвычайно занятый и важный вид типичного киевского аспиранта, я рванул дверь кафе, оказавшегося пустым, как пляж на Северном полюсе. Бриджит подняла на меня равнодушные глаза, тут же опустила свой взор в яичницу, а я замельтешил, выбирая столик, хотя все было свободно, и от этого чувствовал себя полным идиотом.

Покраснев и растерявшись, я подошел к Бриджит, переминаясь с копыта на копыто, язык мой заплетался (потом она сказала, что у меня оксфордское придыхание), но тем не менее она усекла, что, мол, сейчас очень рано, одному мне завтракать скучно (сухая правда! что за тоска в пустом ресторане!). Не могу ли я... не помешаю ли я, извиняюсь, что нарушил.

Видимо, весь кретинизм ситуации подкупил Бриджит, ибо напрочь исключал руку КГБ, слывшего хитроумным и коварным змием (Запад сумел выковать репутацию), какая же нормальная служба будет заводить знакомство в 7 часов утра в пустынном зале с помощью юного дурака в светло-бежевом, между прочим, костюме с жилетом, на который с трудом уговорил папу, купившего три метра бельгийской шерстяной ткани. КГБ и не пахло, Бриджит милостиво указала на стул, напуганный официант (он, конечно, чуть не рухнул на пол, узрев русского, подсевшего к американке) быстро принес мне яичницу и тут же, оглядываясь, чтобы я не выстрелил ему в спину, убежал простучать обо мне по инстанции.

В информации об американке указывали на ее интерес к искусству и литературе, и мне не пришлось долго рыскать по джунглям в поисках объединяющих тем, я быстро оседлал конька, она тоже обрадовалась, что случайно встретила коллегу-гуманитария, через полчаса мы уже были старыми друзьями, тут же пошли осматривать старую Москву, продефилировали к Патриаршим, затем переместились на Твербуль и, внимая шепоту деревьев, дошли до Музея изобразительных искусств – там я намеревался феерическим интеллектом переполнить чашу ее зреющей любви и окончательно закружить голову.

В музее на Волхонке я бывал часто, иногда под водительством полуопального художника Владимира Милашевского, сподвижника Добужинского, который, обнаружив во мне пытливого юношу, занялся просветительством, много поведал мне об истории живописи, а в музее открыл мне малоизвестного, но великого Яна Бартолда Йонкинда. Им я и потряс наивную Бриджит, блеснув эрудицией, вышедшей за рамки банальных отцов Ренессанса, она ахала и

⁷⁵ Поистине странное общество собралось на берегу: у птиц волочились перья, у зверей слиплась шкура – все промокли насквозь, вид имели обиженный и чувствовали себя весьма неудобно. Первым делом, конечно, нужно было найти способ высохнуть. Они устроили совещание по этому вопросу...

охала, не отрывая от меня затуманенных глаз.

Американцы порой прекрасно образованны, однако слишком специализированны и беспомощны в темах, не имеющих к ним прямого отношения, у нас же дилетантизм и широта просвещенности обычно преобладают – так что я блистал вместе со светло-бежевым костюмом.

Духовно овладев Бриджит, я предоставил ее самой себе, созвонился с начальниками и в родном «Арарате» отрапортовал о проделанной работе, хотя, прямо скажем, информация о Бриджит не поражала воображение: миледи заканчивала университет в Беркли и собиралась заниматься наукой (мои начальники заверяли меня, что она то ли связана с ЦРУ, то ли собирается туда поступить, – явно крутили мозги), о себе она рассказывала скупно, но простые сведения о папе, маме, братьях от меня не утаивала. Мои мудрые кураторы, задав по ходу моего отчета кое-какие вопросы, напряглись и заметили, что вряд ли она откровенна со мною, ибо женщины вообще лживы и раскрываются только в любви. Тем не менее я – молодчина, но нужно не топтаться на месте, не терять инициативу, а двигаться дальше – не зря же мне выделили отдельный номер и неограниченные представительские.

Такой поворот несколько ошеломил меня, хотя подспудно я ожидал постановки этой благородной задачи.

Будучи начитанным в области шпионажа, я поинтересовался, не намерены ли нас сфотографировать в этом номере, на что красномордый, криво усмехнувшись, заметил: «Вас это не должно волновать!» – «Как это не должно волновать! Как так?» – заволновался я. «Работайте и не задавайте лишних вопросов!» – отвечив красномордый грубо, влил в меня хороший заряд ненависти. «В таком случае я отказываюсь от операции», – вспыхнул я. «Пожалуйста!» – сказал наглец совершенно спокойно, показывая, что таких шибздигов, как я, тысячи и на нас начхать, только пальцем пошевели....

Расстались мы на ножах, вечером к нам домой примчался Ефимович, начал убеждать не портить отношений с красномордым, который, всем известно, дерьмо, дело-то важнее, дело-то государственное! Ефимович умел успокаивать и убеждать, в результате я унял гордыню, возвратился в «Метрополь» и договорился с Бриджит провести вместе ближайший вечер.

Операцию начали в пышном «Савое» с умопомрачительным зеркальным потолком, словно вобравшим мраморный фонтан. Там резвились карпы, коих служитель ловко вылавливал сачком, показывал потрясенному клиенту и относил на жарку. Однажды я видел, как в этот роскошный фонтан ударом кулака отправили метрдотеля, впрочем, потом я слышал так много рассказов об этой драке, что либо в фонтане купались таким образом ежедневно, либо и я, и все рассказчики лгуны, повторяющие одну и ту же байку.

Оркестр, важно игравший модные тогда вальсы и танго, Бриджит в длинном черном платье с блестками, декольте, источавшее дурманящие ароматы французских духов, весьма отличавшихся от «Огней Москвы», стол, накрытый по рабоче-крестьянски просто: черная и красная икра, заливная осетрина, балык и семга, разнообразные салаты и отечественное шампанское...

А ведь это все было тоже частью той свободы, которой так недоставало: сорить деньгами с заезжей иностранкой, жить и кутить в шикарных отелях... ну чем не инженер Гарин, летевший на белой яхте с красавицей Зоей? – не только всем хорошим, но и всем плохим я обязан книгам – мы плавно и нежно танцевали, улыбаясь друг другу, изгибаясь, словно конькобежцы на льду, и очарованная публика, разинув рты, завидовала декольтированной красавице и стройному юноше в потрясном светло-бежевом костюме с галстуком в белую горошинку, – такой я видел в журнале «Тайм» на рекламе «Мальборо».

Пылкие танцы, как известно, отбивают страсть к обжорству, и после мороженого мы стремительно переместились на диванчик в мой номер в «Метро-поле», прямо у кофейного столика, обильно уставленного напитками.

Тут уже кино завертелось со скоростью, которой позавидовал бы мой учитель Джакомо Казанова («Чем больше я тебя вижу, мой ангел, – сказал я, – тем больше обожаю». – «А ты уверен, что влюбился не в жестокое божество?») – это из его мемуаров).

«...Но близок, близок час победы! Ура! Мы ломим! Гнутя шведы!» – войска шли в наступление – и вдруг в это горячее бормотание ворвался вопль телефона и сдавленный глас красномордого прохрипел откуда-то из ада: «Убери стул! Слышишь? Убери стул!»

Действительно, рядом с диваном стоял добротный, высокий стул сталинской эпохи, на который я бросил свои рыцарские доспехи.

Несмотря на стресс, я сообразил, что загородил стулом поле битвы от глаза фотоаппарата, и резко отодвинул помеху.

«Кто это?» – раздраженно спросила Бриджит. «Ошиблись номером», – бросил я, вытирая пот со лба, и выпил залпом целый фужер шампанского.

Случилось ужасное: на меня навалились депрессия и слабость, я обливался потом, все вокруг выглядело безобразно, Бриджит вызывала отвращение, хотелось все бросить к чертовой матери – я с ненавистью глядел на брюки, висевшие на проклятом стуле.

«Тебе плохо?» – «У меня с утра температура, я тебе не говорил!» Тут я начал кашлять, размазывать пот по лицу, симулируя лихорадку, а может, и скоротечную чахотку, Бриджит перепугалась и уже хотела побежать в свой номер за каким-то лекарством.

Не зря я все же занимался в школьной самодеятельности, не зря переиграл там всю русскую классику. Содрогаясь от кашля, я стыдливо натянул брюки (нет более веселого зрелища, чем голый мужчина, не попадающий ногой в штанину).

– С тобою такое часто случается? – спросила Бриджит.

– Впервые! – честно ответил я. – Сейчас выпью водки с перцем и положу сухую горчицу в носки.

Водка – это еще куда ни шло, но вот перспектива горчицы, да еще в носках, смутила мою леди, тем более что в те годы отечественные носки гораздо больше, чем ныне, наводили на мысли о несовершенстве социализма.

– Пожалуй, я пойду, – молвила Бриджит. – Жаль, что ты заболел.

Она удалилась, я на миг почувствовал себя свободным и счастливым, но только на миг: *tedium vitae*, то бишь отвращение к жизни, вновь скрутило меня, я отключил телефон и рухнул в постель.

Рано утром ко мне в номер траурно явились Ефимович и красномордый. Я ожидал скандала, но красномордый вел себя смирно и, многозначительно двигая щеками и золотыми зубами, признал свою вину: я был прав! напрасно он не посвятил меня в священные тайны операции – о, стул! маленькая деталь, в которой всегда таится дьявол, косточка сливы, на которой поскользнулся Плеве перед покушением на него, выстрел в эрцгерцога Фердинанда, принесший войну, яблоко, упавшее на голову Ньютона, – разве вся история наша, вся жизнь не царство Случая и не игра деталей?

Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать, мужайся, переживи свой Верден, впереди триумфы, – ведь у тебя светло-бежевая тройка! впереди победы, Дарданеллы будут наши, и мы посмеемся над дурацкими стульями!

Тут же из номера я позвонил Бриджит и, подшучивая над своим расстроенным здоровьем, отныне восстановленным спасительной горчицей, договорился о встрече на следующий вечер. Однако с уходом гостей во мне ожил комплекс неполноценности.

Весь день я провел в тяжелой борьбе с самим собою, мысли о черной болезни, вдруг посетившей меня и сломавшей мое будущее (виделся никому не нужный, обшарпанный импотент, естественно, ни красавиц, ни детей, ни счастливой семьи), терзали мою душу, а при воспоминании о Бриджит к горлу подкатывалась тошнота, – все уныло, все пошло, все отвратительно стало вокруг.

Я долго не мог заснуть, глотнул каких-то мерзких таблеток и утром проснулся совершенно разбитый, выжатый, как лимон, обессиленный, словно после марафона.

Какая тут, к черту, любовь! Тупое равнодушие ко всему прекрасному полу обуревало меня, к этому добавился страх провалить задание Родины, ощущение слабости и пустоты – что делать? как жить дальше? к счастью, во время грустных блужданий по центру мой взор упал на табличку (они тогда иногда попадались) о том, что некий доктор на Петровке лечит непристойные расстройства и болезни.

Я набрался мужества и стыдливо поднялся по грязноватой лестнице. Доктор оказался совсем не чеховским интеллигентом в пенсне, с успокоительными «батенька» и «голубчик», а круглоголовым верзилой с толстым слюнявым ртом, свеклоподобным носом и актерским басом. Он с любопытством уставился на мою гордость – светло-бежевый костюм и безучастно

выслушал жалобы на упадок сил, вызванный экзаменационными перегрузками, и депрессию накануне встречи с невестой.

– Пустяки! – пророкотал он своим злодейским басом. – Сейчас вас восстановим, и всего за семь рублей! Снимайте штаны!

Я покорно выложил крупную по тем временам сумму (почти три бутылки водяры), суетливо стянул свои шикарные брюки, лег на покрытую клеенкой тахту (казалось, что через нее уже прошли сотни сифилитиков), а он быстренько ухватил шприц своими волосатыми ручищами, наполнил его, густо хохотнул, как Мефистофель, и всадил мне иглу в ягодицы.

Уже через десять минут, едва дойдя до ЦУМа и съев там мороженого в вафельном стаканчике (оно почему-то считалось лучшим именно в ЦУМе), я любил уже всю улицу вместе с переулками, я не пропускал уже ни одной женщины, шаря по каждой своим жарким взглядом, как прожектором, я уже изнывал от страсти и нетерпеливо посматривал на часы, предвкушая свидание с Бриджит (загадочный эликсир, впрыснутый в меня, мой приятель-доктор охарактеризовал потом как совершенно нейтральную жидкость, рассчитанную на воображение комсомольцев).

Вдруг я испугался: как бы не растратить энергию на проходивших красоток и не оказаться к вечеру у разбитого корыта! Посему от соблазнов созерцания я ретировался в номер, где раскрыл книгу Каутского о «Капитале» – тогда я еще тешил себя надеждой понять этот шедевр хотя бы в изложении талантливой интерпретатора, в любом случае книга была прекрасным транквилизатором, отвлекавшим от фривольных мыслей. Я даже немного поспал и проснулся, чувствуя себя Гераклом, готовым совершить сразу все двенадцать подвигов. Легкий душ – бицепсы играли железом под холодными струями, – я совершенно не удивился бы, если бы увидел, что у меня выросли львиные грива, лапы и длинный хвост с кисточкой.

В зеркале я выглядел как Аполлон: изящная фигура, облаченная... (уже не в силах описывать все красоты костюма), спокойный взгляд серых глаз, правильный рот (очень хотелось длинный, тонкогубый плюс огромная волевая челюсть), прическа «полубокс», аккуратно прочерченный пробор.

На сей раз я решил отбросить все интродукции типа «Савоя» (как писал Северянин, «интродукция– Гауптман, а финал – Поль де Кок»), заказал ужин прямо в номер, убрав подальше всю потенциально опасную мебель. В назначенный час раздался нежный стук в дверь и появилась Бриджит – на этот раз в костюме, надетом на блузку с красным жабо, похожим на кровавую пену.

Желая скрасить позор прошлой встречи и преодолеть некоторую смущенность, я начал бодро потчевать Бриджит модным тогда среди бедных студентов «белым медведем» (смесь коньяка и шампанского), вливал я его в представителя главного противника в пропорции половина на половину, первые десять минут за столом царило веселье, но вдруг колымага закричала и колеса начали отваливаться. Я поспешил перевоплотиться в Казанову, но Бриджит вдруг тяжело засипела, застонала, задохнулась, схватилась за голову и бросилась в туалет. «Белый медведь» – не для изнеженных американок, минут десять бедняжка мучилась, сотрясая всю гостиницу горловыми рыками, и наконец вывалилась, как подстреленная птица, еле переступая ногами. Я двинулся ей навстречу с лучезарной улыбкой и раскрытыми объятиями, но она затрепетала крыльями, подняла вверх руку, словно посох, которым Иван Грозный убил сына, истерически вскричала «нет!» и, шатаясь, выскочила из номера в коридор.

Я с трудом удержался от унижительного бега за нею и умоляющих призывов вернуться, волшебные инстинкты распирала меня, я чувствовал себя, как кот, у которого из-под носа увели мышшь. Оценив новую боевую обстановку и подкрепившись внушительной порцией «белого медведя», я почувствовал себя свободным менестрелем, я забыл о служебном долге, о моральном кодексе строителя коммунизма.

Немного выждав, я решительно прошел на этаж, где размещалась Бриджит (дежурные тети делали нейтрально-паскудные физиономии и отводили взоры, давая понять, что им до меня нет дела, но тут же за спиной срывали трубки и сигнализировали о преступных передвижениях), уверенно постучал в дверь и был заключен в жаркие объятия уже ожившей американкой, «смешались в кучу кони, люди, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел».

– This is what we, students, like⁷⁶, – промолвила она, с интересом разглядывая мои черные сатиновые трусы до колен, шедевр отечественного производства, годный и для купаний, и для волейбола, и для мытья пола, – на Западе такие трусы были явным антиквариатом.

Я гордо опустился в кресло⁷⁷.

И тут началось.

Сначала в дверь забарабанила горничная (пожелала очень своевременно сменить графин с водой), затем последовали нервные телефонные звонки – Бриджит сначала поднимала трубку, но на другом конце стояла напряженная тишина, я, разумеется, к телефону не рвался, опасаясь, что вместо «убери стул!» услышу нечто похлеще. Снова постучали, но Бриджит не ответила.

Вечер прошел чудесно.

Утром, когда мне позвонил Ефимович, я чувствовал себя немного преступником: не то чтобы я пытался взорвать Мавзолей или уклонился от призыва в армию, но все же нарушил планы мощной организации, хотя... какой был выход из положения? Разве любой уважающий себя джентльмен не пришел бы на помощь внезапно занемогшей леди? Или нести ее на руках обратно в мой номер?⁷⁸

Как ни удивительно, скандала мне не устроили. Ефимович заметил, что материалов накоплено вполне достаточно, повторять подвиги больше не придется, от объекта следует мягко отойти, то есть проститься по-хорошему (но не в номере!), взять адрес, договориться о переписке и отбыть из «Метрополя» в родной Киев.

Так я и поступил, хотя, думается, в результате «мягкого отхода» у Бриджит сложилось самое нелестное мнение о русском национальном характере.

С тех пор, услышав слово «стул», я напрягаюсь и замираю, неясный холод сковывает меня, мурашки бегут по телу, хочется сделать стойку и вильнуть хвостом.

Марлен Дитрих

Куда Джакомо Казанове до покорного слуги! – ведь венецианский прощельга все делал ради удовольствия и злата, я же трудился во имя Родины (все мы мастаки золотить собственные бюсты), утешимся тем, что сама история расставит точки над творящими добро римскими легионерами, инквизиторами, крестоносцами, фашистами и коммунистами.

Разведка как способ существования захватывает и кружит, разведка раскрывает новые грани личности – тихий человек, боящийся сквозняков и жены, прорывается в тыл врага и творит подвиги или становится на миг полководцем Суворовым, строча в резидентуры указания. Во время ночного дежурства на разведчика могут замкнуть весь земной шар, ему несут шифровки со всего света и приходится решать, будить начальство или не будить? Подорвет ли интересы Страны Советов переворот в Бурунди? Снимать ли телефонную трубку и тревожить московского вершителя бурундийских дел? Убили премьер-министра? Если большой страны, то напрямую к шефу разведки. А вот повар посла из ревности огрел своего хозяина лопатой. ЧП это или не ЧП? – вот в чем вопрос, это вам не тоскливые метания небезызвестного осла между двумя охапками сена.

⁷⁶ «Вот что любим мы, студенты!» Добавим к этой максиме, что не только студенты.

⁷⁷ Невольно вспоминается анекдот. Пауза после объятий.
Он (самодовольно). А вы хотели бы быть мужчиной?
Она . Конечно. А вы?

78

Но что трагедия, измена
Для славянина,
То ерунда для джентльмена
И дворянина.

И. Бродский .

А еще прекрасны секретные⁷⁹ миссии за рубеж – не рутинные инспекционные поездки с занудными совещаниями в резидентуре и метаниями по магазинам во имя семьи, – а именно Секретные Миссии, когда от гордости надуваются щеки и пружинят ноги на ковровых дорожках учреждения. «На днях уезжаю, важное дело», – роняешь коллеге небрежно, не говоришь ни куда, ни когда, ни зачем, коллега все это понимает и лишних вопросов не задает.

Дома на время стихает суматоха будней, жену распирает любопытство, она напряжена, она незаметно для себя играет амплу Спутницы Героя («Когда ты вернешься?» – «Не знаю, не от меня зависит...») – «Будь осторожен!» Пожатие мускулистых плеч, сдержанная улыбка), наконец, служебный автомобиль у подъезда, легкий сак, Шереметьево – и туда, туда, во вражеский стан.

Бродили по миру герои: врачи, студенты и геологи. И каждый вкалывал что надо. Порой о них писала «Правда». Герои гордые и нежные, но, к сожалению, не вечные, хоть жили не всегда по правилам, историю толкали правильно. И я меж ними отрицательный или, быть может, положительный, толкал историю старательно, я бы сказал – неукоснительно...

Толкал-толкал, выбился в начальника датского направления и партайгеноссе отдела, но радости особой не испытывал, дела шли довольно дохло (видимо, из-за сытого благополучия датчан, не толкавшего их в ряды советских агентов), а тут еще пренеприятнейшая история: агент-датчанин, блестяще завербованный еще человек шесть на таких соблазнительных объектах, как датские МИД, НАТО, Министерство обороны, источавший фонтанами информацию, был взят нами в рутинную проверку и оказался самым настоящим жуликом: и его донесения, и сообщения его источников были напечатаны на одной и той же машинке.

Позор упал на наши головы, как кислотный ливень: направление обесчестили прямо на большом совещании, хохот стоял на всю разведку.

И тут, словно манна небесная, прилетела депеша из провинции о том, что кустарь-одиночка Федор уже многие годы ведет переписку с некой Марлен Дитрих, сотрудницей западнобельгийского посольства в Дании. Предыстория: в конце войны и переселенка Марлен и красноармеец Федор были схвачены за прелюбодеяния в городе Кракове грозным «Смершем», неисповедимо узревшим в этом акте руку западных спецслужб.

У Марлен отобрали расписку как условие возвращения на земли родной Западной Бельгии: «Я, Марлен Дитрих, даю обещание секретно сотрудничать с Красной Армией, обязуюсь работать честно и добросовестно и т. д.»

«Смерш» смотрел далеко вперед, расписки клепали под диктовку в массовом порядке, кто знает, может, на эти клятвы появился бы особый спрос в момент победы мирового коммунизма и создания глобального Министерства Любви?

Нагрешивший Федор отсидел два года в лагерях и тоже благополучно вернулся домой, обнаружив на столе тревожные письма от своей возлюбленной. Его тут же завербовал местный КГБ, возрадовавшийся «заграничному каналу», столь редкому в полудеревне.

Однако проку для местных органов от этого дела не было никакого, Марлен работала в какой-то захудалой конторе, переписка шла ни шатко ни валко, секретных сведений (о ситуации на сеновале?) Федор ей не пересылал.

И вдруг... вдруг Марлен поступила в западнобельгийский МИД и вскоре получила место секретарши в посольстве в Дании.

Провинция, естественно, сама рвалась в страну Андерсена, однако энтузиастам дали по носу, ибо тут требовался опытный зубр с датским опытом, – но кто еще подходил на эту роль больше, чем шеф датского направления и партайгеноссе отдела?

И, конечно, очень хотелось реабилитировать обесчещенное направление – посему кистью мастера я раскрасил всю картину и преподнес ее генералу-шефу, который зажегся, побежал к

⁷⁹ Шеф германской разведки Вальтер Шелленберг: «Когда я выезжал с секретной миссией за кордон, у меня был постоянный приказ иметь вставной зуб с ядом, который уничтожил бы меня за несколько секунд в случае захвата врагом. Для страховки я надевал перстень, в котором под большим голубым камнем скрывалась золотая капсула с цианистым калием» – можно только позавидовать, ведь «честный немец сам дер вег цурюк, не станет ждать, когда его попросят. Он «вальтер» достает из теплых брюк и навсегда уходит в вальтер-клозет» (*Бродский*).

Андропову и получил санкцию на проведение операции.

Снова на Джакомо пурпурный плащ, в руках – изящный «самсонайт», набитый икрой и прочей отечественной гордостью, в боковом кармане пиджака, рядом с горячим сердцем, – расписка Марлен, страстное письмо Федора своей возлюбленной (составлять приходилось по переписке Абеяра и Элоизы). Весьма не хватало для понта крошечного бельгийского браунинга в кобуре под мышкой (приятно вроде бы случайно сбросить пиджак в компании друзей перед отъездом!), впрочем, дипломатический паспорт в таких миссиях надежнее любого оружия.

«Ни пуха...» – «К черту». Самолет взвился к небесам и через несколько часов уже сделал первый круг над Копенгагеном, места, места, опять места, какое горькое круженье! Какое долгое круженье – нет ни начала, ни конца...

Резидент встретил меня прохладно (кому понравится, если боевая операция родилась не в окопах на передовой, а в комфортабельных кабинетах Центра!), а контрразведка, прекрасно знавшая Джакомо по положительному вкладу в датско-советскую дружбу, просто освирепела, будто в мои планы входила по крайней мере высадка советских войск на Ютландии или взрыв фолькетинга.



Прототип и Таня. 1979 год, Дания

Взяли меня, бедного, в такой оборот, который не приснится разведчику в самых страшных снах: мощнейшее наблюдение днем и глубокой ночью, плотный и жесткий контроль, когда служба сыска не считает нужным особо маскироваться, а демонстративно идет сзади почти «бампер в бампер» и ставит цель не выследить, а сорвать операцию.

Мои активные походы к старым друзьям в надежде, что мышки усмотрят в моем вояже лишь желание попить «туборг» с креветками в хорошей компании, успеха не имели: машины исправно дежурили у подъезда и четко провожали меня до гостиницы.

Последовать примеру Шерлока Холмса, загримироваться под бродягу на костылях? Сесть на метлу и вылететь в трубу? Или залезть в бутылку, которую выбросят из машины у синего моря?

Как назло, в инспекционную поездку приехал и сам генерал, который не прочь был заодно потряхнуть стариной, поруководить на месте и урвать у меня часть лавров. Какие безумные сны виделись, должно быть, шефу датской контрразведки, ломавшему голову над тайной приезда двух волкодавов...

Что делать в этом железном мешке, как вырваться на волю? Лучшие лбы резидентуры мучительно размышляли об этом и пришли к единственному выводу: только тайный вывоз,

причем в машине «чистых», то бишь ангелов-мидовцев.

А дальше? Домашний телефон Марлен заполучить нам не удалось, звонить в посольство было опасно, оставалось переть прямо на квартиру – вариант рискованный. Разработали легенду: я, отныне не Джакомо, а честный советский гражданин Семен, друг Федора и провинциальный простак, оказался в датском королевстве во время туристского круиза и по просьбе Феди без всяких церемоний решил забросить его старой подружке личное письмецо и сувениры – моветон, конечно, но мы в гимназиях не обучались и обожаем у себя в деревне запросто хаживать друг к другу, запасшись водкой и зернистой икрой.

Изобретательный генерал неожиданно предложил мне записать беседу на портативный магнитофон: идея прозрачная, доверяй, но проверяй, да и запись всегда пригодится как «закрепляющий фактор» в вербовке. К нашей родной подслушивающей технике, способной издавать самые страдальческие звуки в самые неподходящие моменты, я относился без всякого пиетета, правда, я об этом умолчал, но заметил, что дама может выкинуть неожиданные фортели, вплоть до вызова полиции, которая весьма удивится, обнаружив под моими полотняными кальсонами вершины научно-технической революции.

Аргумент этот произвел эффект (за спиной интерпретировался как позорная трусость), и проблема уперлась в преодоление «хвоста»⁸⁰. Конечно, при желании мы с водителем – классным профессионалом из московской «семерки» (службы слежки) могли от «хвоста» и оторваться, бешено прокрутившись по переулкам, презрев и одностороннее движение, и светофоры (и зазевавшихся инвалидов), водитель знал город получше датчан и мгновенно определял мышек-норушек своим натренированным оком.

Однако такие грубые трюки считались непозволительными: зачем приводить контрразведку в ярость? Ведь она могла мобилизовать все ресурсы, подключить полицию и начать тотальный поиск по всему городу. Зачем размахивать красной тряпкой у носа быка? Итак, порешили: «чистая» машина, бросок в никуда, и, по Бродскому, «он взял букет и в будуар девицы отправился. Унд вени, види, вици».

Долго примеривали меня к багажнику завхозной «Волги», куда брэнное тело умещалось, лишь преломившись вдвое, как складной стул, но посольство, увы, не имело ни «линкольна», ни «шевроле», – в их багажниках можно было бы запрятать целые резидентуры.

В результате приняли соломоново решение и уложили меня на пол у заднего сиденья, покрыв сверху зловонным ковром, на который бросили пустые картонные ящики. За руль уселся трепетавший завхоз, который вечно метался между рынками и магазинами, выглядел затурканным и никак не походил на Джеймса Бонда. «Волга» тронулась, и мы резво выехали из ворот.

– Что-нибудь видите сзади? – спросил я, умирая от тошнотворных запахов.

– Вроде идут за нами! Идут! – хрипло забормотал завхоз, он нервничал и чувствовал себя участником операции, равной по масштабу вывозу из Италии Муссолини отрядом эсэсовца Отто Скорцени.

– Где мы сейчас? – вопрос из космоса.

– В Сёборге! – лопотал завхоз. – За нами прут три машины! Вот гады! Что же делать?! Ах, батюшки...

– Держитесь спокойно, не дергайтесь, вы отобьете мне все бока! Не нервничайте, внимательно следите за машинами! – Я уже прикидывал, как скупомантически опишу всю эту проверку в отчете, и потом генерал где-нибудь скажет: «Вот в каких условиях нам приходится работать, товарищи!»

– Я не нервничаю! – дергался завхоз. – Они действительно идут! – Он так мандражил, что я еще испугался: как бы он не врезался в столб или... (Я ощупал ковер – он был сух.)

– Поверните направо в переулок, но не давайте заранее сигнала поворота. Пошли за нами машины?

– Идут.... – Он шумно сглотнул слюну. – Нет, кажется, ушли в сторону. Нет, идут! Капут!

⁸⁰ Написать бы поэму «Преодоление хвоста», звучит получше, чем «В погоне за утраченным временем» или «Постижение истории».

– Еще направо и налево! – приказывал я, входя в роль то ли раненого Чапаева, ведущего за собою отряд, то ли попавшего в переплет д'Артаньяна.

После получасовых кружений стало ясно, что затея удалась и страхи завхоза напрасны, кстати, даже профессионал-новичок на первых порах дрожит от страха, видя слезку на каждом углу, – со временем этот синдром уступает место беспечности.

В районе Багсверда, вдохнув более приятные запахи креветочного ресторана, я пересел к виртуозу-водителю, еще час поколесили мы по пустым окраинам, где только слепой не увидит «хвоста», и свернули к лесу – там я, друг природы, был и оставлен, не хватало лишь сачка для ловли бабочек.

До вечера оставалось часа четыре, я побродил по полянам, усеянным белыми грибами (разборчивые датчане ели только шампиньоны, зато мы и поляки белыми отнюдь не брезговали, наоборот, мощно укрепляли подножным кормом семейные бюджеты и даже, засолив, высылали в банках голодным родственникам на родину), потом сел на автобус, добрался до «нон-стопа», подремал на какой-то киноерунде и часов в семь направился на randevу, изящно помахивая «самсонайтом» с сувенирами от пламенного Федора.

Сердце же, однако, изрядно колотилось, и умнейшая голова проигрывала вариант за вариантом. Вдруг Марлен надолго задержится и мне придется топтаться у ее дома? Рядом лишь одно кро, но дом оттуда не виден, да и каким образом идентифицировать Марлен? Фотография отсутствовала, имелись лишь описания Федора, расплывчатые, как передовицы: «интересная блондинка», «хорошо улыбается», «карие глаза» и «вроде бы полная».

А что, если Марлен вообще откажется со мной говорить или, допустим, выползет из ванной в халате, густо намазанная кремом, а рядом джентльмен с дубиной в руке? Незванный гость хуже татарина, даже если это уважаемый во всем мире советский турист.

Догорал рабочий день, я пополз к городу на автобусе, тревожась, что на пути от остановки к дому Марлен случайно столкнусь с наружником, спешившим домой и знавшим мой прекрасный лик, – центр города всегда опасен, там больше всего уголовщины, а потому и полиции.

А вот и дом заветный, обыкновенный семиэтажный дом, открытый подъезд. На пятый этаж я поднимался пешком – вдруг в лифте окажется соседка по площадке или еще кто и заговорит со мною по-датски...

У двери я замешкался, перевел дух и вспотевшей от волнения рукой нажал на звонок. Дверь открыла чуть пухловатая, но складная, с голубыми (!) глазами, совсем не дряхлая блондинка и не Сивилла со вставной челюстью и ниспадающей на живот грудью.

Дрожа от страха, я вошел⁸¹.

Ослепительно улыбаясь и глупо переминаясь с ноги на ногу – как мне казалось, именно так ведут себя жители провинции, залетевшие в западную столицу, – я представился как Сема – друг Феде, вывалил роскошные сувениры, передал письмо и приготовился к лучшему.

Блондинка залучилась от счастья (думается, от вида икры) и потащила меня в комнату. К моему ужасу, там сидела пожилая хмурая пара (хорошо, что не в полицейской форме), как оказалось, родители моей Марлен, приехавшие на побывку из Западной Бельгии именно в день операции.

Все рухнуло, не обсуждать же любовь и страдания заброшенного Феде в таком широком составе? Однако минут десять пришлось пожурчать о неповторимости Копенгагена, сослаться на неотложные дела, а уже в коридоре попытаться вытянуть соблазнительную блондинку на randevу в этот же вечер – ведь любая затяжка операции, особенно в условиях тотальной слежки, таила новый риск, к тому же мы боялись прекрасного и опасного женского языка, способного мгновенно раззвонить о любом событии и по всему дому, и по всему посольству, и

⁸¹ Она увлекла меня по направлению к кровати. Я хотел открыть занавес, но она остановила меня: никогда еще взгляд не выражал больше страдания, печали, отчаяния. «Что с вами? – спросил я, прижимая ее к своему сердцу. – Вы дрожите?» – «О, не из страха. А вы не дрожите? Нет? Ну, так смотрите». Она быстро приподняла занавески: на кровати лежал труп красивого молодого человека.

по всему миру.

Однако Марлен, взволнованная вниманием Федора, и слышать об этом не захотела – родители уезжали на следующий день, все трое начали утягивать меня за праздничный стол – отбивался я как мог, стараясь выглядеть все так же нелепо (думаю, это удавалось без особого напряжения, жаль, что не было в руках зонтика, задевавшего все предметы вокруг), мялся, дергался, извинялся, размахивал руками, как бы всем видом стараясь доказать свою бесхитрость – смотрите, люди: перед вами честный обыватель, нормальный дурак.

Договорились с Марлен на следующий вечер.

Путь в посольство был не менее тернист, чем выезд оттуда: снова автобус, оперативная машина, перегрузка в «Волгу» под ставший уже родным ковер и счастливое возвращение.

В резидентуре царило напряжение – так ожидают разведчика с «языком» перед началом наступления, – я доложил итоги дня генералу, озабоченному, как Кутузов при прорыве правого фланга неприятельской конницей, вышел из здания под очи наружки, как невинный агнец, будто бы и не покидал его, и променадным шагом дошел до гостиницы.

На следующий день премьеру пришлось повторить. Правда, генерал, желая явственнее обозначить свой вклад в операцию, – после установления контакта с Марлен как-то сами собой забрезжил и розовые перспективы в виде ливня орденов и благодарностей, – выказал заботу о моей безопасности (это после того, как он предлагал мне соваться с техникой в логово зверя!) и повелел выставить наблюдателя за местом встречи с Марлен: вдруг что-то случится! Правда, было неизвестно, что делать наблюдателю, если вдруг участников операции закуют в кандалы блюстители порядка? Выхватить маузер из деревянной кобуры и отбивать коллегу? Кричать «караул», обращаясь к прохожим? Звонить в посольство и условной фразой «Прачечная уже закрыта» предупредить резидента о ЧП, дабы он, как в добротном чекистском фильме, не мучился всю ночь от бессонницы?

Погрузившись на дно «Волги», я вскоре почувствовал, что в завхозе проснулся великий разведчик: трепет новичка исчез, и он мчался, как ковбой на мустанге, преследовавший бедных индейцев, смело шел на светофоры и резко поворачивал, совершенно не заботясь о моих боках. Завхоз вошел во вкус оперативной работы, менторствовал и критически осмысливал вслух и методы проверки, и маршрут (совсем недавно он видел фильм, где преступника заматывали в бинты и уносили на носилках, обманув полицию), и, конечно же, проблемы разведывательной работы в Дании.

«Все чисто! Все чисто! «Хвоста» нет!» – ликующе орал он, быстро усвоив профессиональный новояз. «Мы же на автостраде, они могут отстать на километр!» – сдерживал я его. «Куда они от меня денутся? У меня ведь глаз – как ватерпас!» – «Не гоните, давайте сойдем с автострады в сторону!» – «Нет никого за нами, что вы боитесь? Нет «хвоста», я вам гарантирую, я слов на ветер не бросаю!»

Так, купаясь в диалогах, мы добрались до машины аса – дальше все повторилось.

Марлен явилась на randevу в темном платье, шею обвивали нити жемчуга, платье стягивала на груди белая камейя⁸². Ресторан я подобрал дорогой, с интимной полутьмой. Стены украшали натюрморты, доводящие аппетит до кипения, горели свечи на столе, горели свечи...

По высочайшему указанию генерала ужин надлежало провести широко, как требовала необъятная и загадочная русская душа, известная на Западе из Достоевского: она любит жечь деньги, рыдать, когда все хохочет, и наоборот, стрелять и стреляться, прожигать состояние, пить днями и ночами у цыган. Сема хоть и советский турист, но ничем не хуже ублюдков-дворян...

Начали мы с французского шампанского, чокнулись за здоровье Федора (чокнулись! какой пассаж! – ведь это словно плавать саженьками в океане у Рио-де-Жанейро или застегивать штаны при выходе из парижского писсуара – вдруг заорут: «Это русский!»), закусили хвостами лангустов, далее кусок мяса, именуемый у нас неаппетитным словом «вырезка», это чудо официант жарил прямо рядом с нами на спиртовке, поливал коньяком, и вверх вздымалось

⁸² Сразу вспоминаю послевоенный «Крокодил»: «Сказал: «у вас лицо как камейя», а потом искал в энциклопедии, что означает это слово».

голубое пламя.

Я не спешил развертывать все декорации, наоборот, создавал, что говорится, непринужденную атмосферу, когда легка душа, светел ум и мир кажется прекрасным. Разумеется, стержнем беседы были незабвенный Федор и его доброе сердце, в котором и целые рощи березок, и милые церквушки, и бездны щедрости (икра произвела впечатление на Марлен, а я тут же вспомнил отзыв КГБ о жлобе Федьке), ну а стоит ли говорить о его беспредельной верности старым подругам? (Похотливый старый козел, покрывший весь городок, – это тоже было в характеристике.)

От изысканных вин и нежных воспоминаний глаза Марлен как-то зеленовато (!) заискрились, она окунулась в прошлое и вспомнила военную юность: как все было прекрасно, когда молодой освободитель случайно проходил мимо домика, где две девушки пели под гитару, сунув голову в окно, наполнив комнату своею улыбкой, и быстро проник в дверь...

Но меня беспокоили не воспоминания, я все прикидывал, на какой основе с ней работать, как она относится к нашей стране и озарявшим ее идеям?

Аполитичный Федор в порыве любви не составил впечатления о ее политических взглядах, а в письмах этот центральный вопрос не поднимали. Вдруг... вдруг Марлен сердцем со всем прогрессивным человечеством? Тогда все проще.

Но увы, через пятнадцать минут стало ясно, что Марлен наплевать на политику и тем более на коммунистов, да и оплот мира – Советский Союз она не жаловала, зато ценила свое место в посольстве, где неплохо зарабатывала.

Оставалась надежда, что у нее сдвинутые и экзальтированные мозги – ведь в практике бывали случаи, когда и на почве комплекса неполноценности или просто из мести сослуживцам соглашались работать на разведку. Бедный Джакомо! Перед ним сидела до противности уравновешенная дама, к которой трудно было подобраться, даже положив на чашу весов такую штангу, как любовь Федора.

Рухнула надежда, что она – сексуальная психопатка или редкий тип однолюбки (почему, почему она вела долгую переписку с этим дурнем?!), преданной Федору до гробовой доски, – тут бы мы ее живо заарканили, устроили бы встречу где-нибудь в пансионате на швейцарских лугах, где жуют жирную траву добродушные коровы с колокольчиками на шеях, втащили бы туда пейзажа Федьку, приодев его в твидовый пиджак и нахлобучив тирольскую шляпу с пером, и, конечно же, закадычного его дружка Сему – путешественника.

Была замужем, родила дочь, потом развелась – обыкновенная скучная история, на которой разведке не сыграть. Пила умеренно (ах, если бы надралась! излила бы душу!), на нищенскую жизнь и долги не жаловалась (а ведь в письмах намекала, что еле сводит концы с концами), свое правительство не ругала – какой ужас, венецианец! не рви волосы на голове! неужели ты вернешься в столицу ни с чем?!

Оставалось (о, дьявол!), оставалось (неприятный холодок в животе), оставалось... хотя, конечно, такой разворот был предусмотрен (недаром же я снял копию с расписки), продуман в плавном и ласковом исполнении, без удара волосатым кулаком по столу («Если откажетесь, то пожалеете...») и без пистолета, который, как у Гумилева, рвут из-за пояса, «так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет».

Я трусил, но, не сознаваясь в этом, прикрывал свой страх жалостью к бедняжке Марлен, такой непосредственной, наивной и честной. Но Рубикон следовало переходить.

Начал пианиссимо: «Всё мы о Федоре да о Федоре, хороший он человек, Федор, конечно, стоит о нем поговорить, ведь он славный парень (размазывал кашу по тарелке, мазал и мазал...), но у вас ведь еще были друзья из нашей страны, правда?» – «Конечно, конечно (то ли усекла, то ли нет), вы долго будете в Копенгагене?» (Куда поехала, тетя?) – «Несколько дней... а друзья вас помнят...» (Жми, старина, не слезай с лошадки!) – «Кто помнит?» (Ну и мадам!) – «Как кто? Друзья!» – «Ах, друзья...» – «Ну да! Они просили передать вам привет...».

Шаг сделан, пауза, она задумалась – неужели отшибло память? не спеша, Джакомо, дай ей шанс адаптироваться к неожиданному ходу – ведь не каждый день она давала расписки «Смершу», чтобы об этом забыть, – все равно что Фауст забыл бы о расписке кровью Мефистофелю.

«Спасибо...» – растерялась, чуть побледнела, но еле-еле, совсем незаметно, – и вот рука

легко коснулась бусинок жемчуга и прошла по ним тонкими пальцами, прошла и задержалась, и как будто ничего не произошло...

«Вы раньше бывали в Копенгагене, Сэм?»⁸³ – «Никогда не был, чудесный город!» Опять, черт побери, ушла в сторону, скользкая бабища! А вдруг она хлопнет меня бокалом по лбу? (Такое бывало – правда, в обстоятельствах неоперативных.)

«Друзья вспоминали, как вы работали вместе, Марлен...». Карты на стол, я выдержал паузу, сейчас бы заглотнуть стакан кородряги, чтобы снять напряг.

«Работали?» – Она выигрывала время, пытаясь прикинуть, что же мне стало известно.

В этот кульминационный момент в наш разговор и вперся официант с кофе, испортил песню, дурак, бряцанием чашек и блюдец, все сломал, негодяй, словно чеховский злой мальчик.

Официант отошел, я уже в отчаянии, все уже в печенках, сколько можно тянуть kota за хвост? И тут ва-банк: «Марлен, вы обещали работать на них, вы обещали помогать делу мира! (Ха-ха.) Друзья помнят о вас и хотят вам добра...».

Ежу все понятно, а она удивленно улыбалась – Во же, я удавил бы ее салфеткой, если бы она вновь спросила, как мне понравился Копенгаген, и посоветовала обязательно посетить Эльсинор, где жил Гамлет, принц датский, о котором знаменитый английский драматург Шекспир написал трагедию.

Так наживают инсульты и инфаркты, неслучайно Казанова в шестьдесят два года выглядел дряхлым старцем, правда, говорят, это не мешало ему распутничать и писать либретто для «Дон Жуана» Моцарта («Я заслуживаю прощенья и невиновен совсем. Виноват не я, а женщины, которые очаровывают души, которые околдовывают сердца. О пол обманщиц, источник печали!» – это он вложил в уста Лепорелло).

Я вспотел от напряжения и вытер лоб платком. Что делать, если она притворяется, что не понимает?

А вдруг это какая-то страшная путаница – ведь прошло так много лет! Послушай, Джакомо, а на фига тебе приключения? Не поняла – значит, не поняла. Забудь об этом деле, закажи еще шампанского, фокус не удался, в разведке это бывает. Стоп. А долг перед Родиной? А офицерская честь? Где же твоя совесть?

Гордыня поборолла трусливый здравый смысл, рука сама потянулась за распиской: «Не узнаете этот документ?»

Марлен побледнела (я тоже, наверное, напоминал тень отца Гамлета – так, во всяком случае, хочется думать), допила шампанское и встала. Глаза у нее потемнели (!!!).

«Какой вы мерзавец! Сейчас я вызову полицию!» – Она пружинисто пошла к выходу, жемчуга подрагивали на открытой шее, она шла к выходу, а я семенил сзади, хватал за руки, бормотал, что пошутил, и просил вернуться к столу. Все очень напоминало семейный скандал, когда не ночевавший дома муж пытается замолить свои грехи, а расвирепевшая жена грозит переселиться к маме.

Как ни странно, она возвратилась, и только тут я заметил печать утомления, даже изнеможения на ее лице, – в один момент пробились на свет все прилежно замаскированные морщины и складки, глаза потеряли всякий цвет и поблекли, она вмиг постарела на сто лет и уже годилась мне в бабушки.

Кофе она пила скорбно, как на поминках, я бормотал нечто светское и общее, будто ничего и не произошло, нет, надежда еще теплилась во мне, еще жила, – ведь глупо ожидать мгновенного согласия на сотрудничество: вспомним клерка английского адмиралтейства Джона Вассала, которого прихватили в Москве на гомосексуалистах, его ломали, его шантажировали целый вечер, ему в нос совали фото, но он отказался, чуть не застрелился, вернувшись домой. А потом? Потом подумал трезво и дал согласие.

Спокойно, пусть она привыкнет, главное – расстаться друзьями, выждать, дать успокоиться, потом подойти снова, не потерять контакт, плод еще вызревает, и требуется время, чтобы он упал на землю, прямо к ботфортам.

Она пила кофе, пожилая некрасивая женщина с тусклым взглядом, слушала меня и

⁸³ Это я, Сема!

равнодушно кивала головой.

Наконец пытка окончилась, я усадил ее в такси, пообещав позвонить на следующий день. Она лишь вяло улыбнулась в ответ.

– Прощайте... («Прощай, возьми еще колечко, оденешь рученьку свою и нежное свое сердечко в серебряную чешую». О, если бы так, как у Блока!)

Я звонил ей два дня подряд, но к телефону никто не подходил, наконец услышал ее голос, но от встречи она отказалась, правда, говорила вежливо, полицией больше не грозила и скандала не затевала.

Дело рухнуло (скорее всего, она призналась в своих прошлых грехах посольскому офицеру безопасности), генерал впал в панику: зачем шутить с огнем, ведь не составит большого труда вычислить Сему с туристского лайнера.

Оставалось лишь завернуться в пресловутый плащ, вооружиться кинжалом, взгромоздиться на скакуна и, запасшись бочкой аквавита, восвояси отправиться домой.

В Москве меня не ругали. Пути разведки усеяны типами, а не только розами, и если бы все вербовки удавались, то на этой прекрасной планете яблоку некуда было бы упасть: одни агенты, все население Земли – агенты, и мамы, и папы, и дети, и внуки.

Не жалея красок, я расписал всю героическую эпопею начальнику отдела, у старого волка даже пасть опустилась после рассказа о катаниях под слезкой, не говоря уж о смертельной конфронтации в ресторане. «Хорошо, когда секретарь парторганизации показывает пример другим коммунистам!» – заметил он удовлетворенно.

В тот же вечер мы зверски накачались аквавитом.

Мишель Морган

Не таким уж исчадием ада был Джакомо Казанова, он не только помогал вдовам превратиться в мальчиков, но и вел философские беседы с Вольтером и Руссо, и музыкой не брезговал, еще юношей играл партию второй скрипки в театральном оркестре, сам недурно сочинял, но, конечно же, талант его расцветал в полной мере за игорным столом в компании аферистов – умением облегчать кошельки он владел в совершенстве.

И печальная старость, не лучше чем у отставников КГБ, которых ныне каждый (особенно те, кто лизали больше всех) норовит ткнуть носом в дерьмо: представить только бывшего соблазнителя приживалой в богемском замке, где над ним издевалась челядь и служанки нагло хохотали, когда старик (он еще не дотянул до шестидесяти лет – пенсионного возраста) запускал им руку под юбки.

Ревматик и сифилитик, презиравший, как все шпионы, шпионов («Некий Мануцци, шпион совершенно мне неизвестный, нашел средство познакомиться со мной, предлагая мне купить у него в кредит алмазы»), он мечтал об атласной женской коже, о любви – и шуршали на столе пожелтевшие письма, локоны, счета... Как везло Казанове! Он даже не искал женщин, они сами искали его, они готовы были служить ему верно (и вечно), они уже были готовыми агентами.

Поиск человека для вербовки – это тяжкий груз, причем чем больше ищешь, тем ниже результат, а когда отдыхаешь и дуешь «гиннес» в пабе, вдруг волею случая являются Он или Она. Это судьба. Это везение.

А мне не везло, хотя я землю рыл носом.

Но однажды свалилась все же с неба звезда.

Голландская консульша Мишель Морган – дебелая дама лет тридцати, глазки маленькие и хитрые, лицо мучнистое, с подвижными бровками, похожими на червей, киселеподобная, скучная, как сова, с ужасным английским (по два раза переспрашивала) и замедленной реакцией, превращавшей беседу с ней в пытку.

Но все это меркло на фоне главного: Мишель располагала чистыми паспортными бланками, всегда необходимыми нашей нелегальной службе для производства голландских купцов с голландскими сырами и тюльпанами.

Однако надежда на успех не вдохновляла: коммунизм Мишель почему-то ненавидела, зарплату получала раза в три больше, чем я, – на какого же живца брать эту рыбу? – правда, по ее физиономии-лепешке бродила некая мистическая дымка, именуемая на шпионском

просторечии вербуемостью, бесполезно ее определять научно, это – как любовь и ненависть, как 24-й прелюд Шопена, как гром и молния или лермонтовское «Пусть она поплачет, ей ничего не значит».

В народе распространено мнение, что в разведке все дозволено, и уж тем более соблазнение женщин ради высших интересов, однако на деле разведчик и шагу ступить не может без приказа резидента и Центра, и, когда на горизонте появляется женщина, кагэбэвский Джеймс Бонд сразу ощущает особый контроль.

Двойную заботу о себе я почувствовал уже при первом докладе о Мишель резиденту – он был интеллигентен на вид, въедлив (до этого командовал филерами в Азербайджане), слушал меня внимательно и не перебивал.

– Ведите себя осторожно, держите ее на дистанции и хорошо изучите. Кто у нее родственники, с кем она общается здесь... Работайте аккуратно, – напутствовал он.

После первого ужина в китайском ресторане я, как истинный рыцарь, довез даму до дома на такси, и вдруг: «А может, зайдете ко мне на кофе?»

Предложение застало меня врасплох, при других обстоятельствах я принял бы его не задумываясь, но вспомнил строгий взгляд резидента и со вздохом заметил, что мне еще надо на работу.

– Как поздно вы работаете, – удивилась она. (Еще бы! было десять часов вечера!)

Резидент мое поведение одобрил, но предупредил:

– Ни в коем случае не заходите к ней домой. Вам я верю, но она ведь может сделать черт знает что: и брюки вам расстегнуть, и на колени плюхнуться, и раздеться догола... тьфу!⁸⁴

Следующий ужин, масса информации, среди которой случайно (?) оброненная фраза, что, мол, иногда хочется съездить в Амстердам, но это дорогогато, снова такси и дом.

– Может, выпьем кофе?

– Извините, я опять сегодня дежурю... очень много работы...

– Какое у вас странное посольство, столько народу, и все равно много работы...

Расстались гордо мы.

На следующий день я явился к резиденту.

– Я чувствую себя полным идиотом, к тому же еще хамом... дайте я зайду хоть на пять минут.

– За пять минут много можно сделать... Она интересная?

– Уродина! (Говорил от души.)

– Уродины – самые опасные. Красивые – избалованы, а эти всегда тянут в постель и, между нами, весьма темпераментны. (Хохоток.) Она пьет?

– Почти нет.

– Курит?

– Довольно много.

– Вот-вот, курящая женщина напоминает пепельницу. (Хохоток, я тоже поддакнул, хотя слышал это бонмо еще в раннем детстве.) Никаких кофе на дому!

Прошло еще два ужина, отношения наши теплели, и я даже предложил одолжить деньги на поездку и Амстердам, Мишель не отказалась, снова приглашала на кофе, но...

Расстались гордо мы.

Тогда я решил сменить вечер на день, конечно, это был шаг назад: ленч обычно ограничен двумя часами, к трем рестораны закрывались, зато днем джентльмену можно и не провожать даму до дома, достаточно снять котелок, поцеловать руку и помахать вослед стеклом.

На первом же ленче очередное ЧП: после кофе Мишель вдруг ухватила ресторанный пепельницу и быстренько сунула ее к себе в сумочку – куда девалась только ее флегматичность!

– Что вы делаете?

⁸⁴ ...сей жар в крови, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавилась от жажды коснуться – «бюст» зачеркиваю – «уст!»

– Я коллекционирую пепельницы с ресторанными названиями...

– Давайте купим!

– Они не продадут...

Я осторожно посмотрел по сторонам – вокруг никого не было, вряд ли на выходе подбежит официант и потребует открыть сумку...

Очередной ленч – и снова кража пепельницы, просто ужас какой-то!

– Далась вам эта коллекция! Подумаете, пепельницы... – Я уже чувствовал себя соучастником.

– Вы хотите, чтобы я коллекционировала Рубенса? – От ответа повеяло иронией, но я это легко стерпел: в конце концов, и почище можно ожидать от леди, если постоянно увиливать от чашки кофе.

Сначала резиденту я о кражах не докладывал, но, когда Мишель стянула уже четвертую, решил все же рассказать.

Чем дальше я углублялся в повествование, тем серее становилось его красивое лицо, оно постепенно принимало трагическое выражение, лоб покрылся морщинами, даже залысины стали больше, нос вдруг закруглился ироническим крючком, рот кривила сардоническая улыбка.

– Я на вас удивляюсь, – сказал он. – Чувствуется, что вы никогда не работали в контрразведке. Неужели вы не видите, что вам готовят провокацию: она крадет пепельницу, врывается полиция, вас арестовывают...

– Но ведь не я украл пепельницу.» – возразил я слабо.

– Вы просто ребенок! Кто будет разбираться? Из-за вашей халатности мы получим очередную сенсацию в прессе, уж Центр нам за это нахлопает...

В последнем я не сомневался: Центр всегда поправлял, направлял, давал втык, Центр всегда был прав и знал это.

– Что же делать? Я как раз планирую попросить у нее голландский паспорт. И простить долг.

– Как что? – удивился резидент. – Прекратить встречаться в ресторанах. Ни дома, ни в ресторане. Либо найти такой, где не курят. Хотя... она может украсть и вилку.

– Но она курит...

– Перетерпит. (Хохоток.)

– Кстати, я ни разу не видел таких ресторанов.

– Надо лучше изучать город, наверняка такие есть, ведь должны быть рестораны для некурящих!

«В Азербайджане», – подумал я зло.

– Разрешите идти?

– Пожалуйста, – сказал резидент.

Он снова стал красивым и даже добродушным.

Сначала мы гуляли по улице, затем перешли в парк, затем заморосил мелкий дождик (к счастью, у Мишель был зонт), разговор на улице среди прохожих и шумевших машин был совсем иным, чем за ресторанным столом, фразы не клеились, расползались, в этой обстановке не только просить бланк паспорта, вопросы неудобно было задавать.

Проклятый дождик! Ну и совиная рожа, белая, противная, эти черви-брови, ползучие гады, с такой и мнить чашку кофе и дать деру, ну и харя, к тому же ворюга, и чего я с ней вожусь? подумаете, паспортные бланки, велико счастье! Холодно, зябко, неужели я так и буду встречаться с этой финтифлюшкой на улице до самого конца командировки? Да катись она...

После встречи я направился прямо в начальственный кабинет.

– Опять украла? – Он прочитал что-то на моем лице.

– Мне пришлось зайти к ней на кофе, – соврал я.

Он окаменел и оледенел.

– Вы с ума сошли!

– Она купила по дороге ручную швейную машинку, и мне пришлось донести ее до дома.

– Как она себя вела?

– Довольно любезно. Села рядом, налила кофе.

– Не приставала?

– В каком смысле? – Я притворился наивным.

– Ну, положила руку на колено... или еще что... – Он растопырил пальцы (что он имел в виду, до сих пор остается для меня загадкой).

– Поцеловала в щеку. Но по-братски.

– Как так по-братски? – Он начинал превращаться в своего трагического alter ego.

– Просто так, – нейтрально ответил я.

Он нахмурился и картинно забарабанил пальцами по столу, они были покрыты темными волосами и чем-то походили на извивавшиеся брови-червяки Мишель. Под черепом шла напряженная работа мысли.

– Дело приобретает опасный оборот, – сказал он. – Придется встречи с ней прекратить...

– А как же паспортные бланки? – возразил я, не глядя ему в глаза. – Мне кажется, это преждевременно!

– Давайте не спорить. Когда станете резидентом, будете руководить по-своему. А сейчас идите работать.

Я напустил на себя дымы обиды и печали и направился к двери.

– Интересно, много у нее в квартире пепельниц? – спросил он, словно выстрелил в спину.

– Целая куча, – обернулся я. – Весь дом завален пепельницами.

– Ну и шлюха! Сколько наворовала! Я с самого начала знал, что она – дрянь.

Я взялся за ручку двери.

– А при каких обстоятельствах она вас поцеловала? – вдруг спросил он.

– Когда я уходил. На прощание.

– Слава Богу! – вздохнул он.

Мы оба были счастливы.

Катрин Денев

В «Руководстве для агентов Чрезвычайных Комиссий» несколько коряво: «...для сотрудничества важны личные симпатии к заведующему политических сысков, особенно хорошо, если будет женщина, по заведующий не должен увлекаться из личных симпатий. Она многое может сделать, но нужно быть чрезвычайно осторожным».

Не увлекаться из личных симпатий – это уже не Казанова, а железный Феликс, это уже в духе разведки, те, кто увлекаются из личных симпатий, гибнут, как бабочки на огне: от доверчивости, от интриг вражеской контрразведки, от пьянства, наконец.

«Страсти погубили меня», – сказал полковник Редль перед тем, как пустить себе пулю в лоб.

«Но всюду страсти роковые и от судеб спасенья нет».

Катрин Денев явилась среди шумного бала и, конечно, случайно, но вспыхнула метеором, когда я узнал о ее принадлежности к шифровальной службе. (Эверест для любого разведчика, если, конечно, это не шифры индейцев племени лулу, хотя и их, наверное, для коллекции прихватит служба)⁸⁵.

Действо разворачивалось на приеме, жар шел от разгоряченных тел, пахло дымом и потом, давились у стола с осетром длиною в крокодила – она уронила платок, как ни странно, я поднял (если бы знал о ее профессии, ухватил бы зубами), затем разговорились, она не скрывала своих занятий, похолодел от счастья, быстренько взял телефон и тут же отскочил в сторону, дабы не «светить» сокровище наличием своего присутствия.

Несколько дней мучительного выжидания и необыкновенных фантазий, наконец звонок из телефонной будки на окраине города, вкрадчивое приглашение на ужин. Неужели скажет,

⁸⁵ О шифры! И крутит мозги расшифрованная запись в «Золотом жуке» Эдгара По: «Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стрелой из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

что занята? И конец мечтам о жар-птице, и снова Казанова пойдет за плугом, разрыхляя сухую землю...

Но фортуна была милостивой, и вскоре, сменив несколько кебов, я ожидал Катрин у ресторана.

На рауте в мельканье лиц я ухватил лишь туманный абрис прекрасной дамы, воображение подняло ее еще до мадонны Рафаэля, в ней все дышало очарованием – видимо, мечты о шифрах рожают в душе нежность.

И когда из «пежо» вышла неимоверно худая, вдвое старше меня женщина с запавшими щеками (на одной красовалось пигментное пятно), чрезвычайно похожая на веселые скелеты из мексиканских гравюр, с огромной копной крашенных рыжих волос, походившей на куст, внезапно выросший прямо из головы, я конспиративно содрогнулся. Открытая улыбка и мутновато-темные глаза, покрытые на белках воспаленными жилками, что наводило на мысль о наркотиках, глаза выпирали из густо напудренного лица, как при базедовой болезни.

О, если бы она была одета в какое-нибудь скромное платьице, ан нет! Дорогое, с какими-то чертовыми кружевами и вензелями, и с головы до ног усеяна бриллиантами!

Мы вплыли в ресторан, и официанты превратились в окаменевшие столбы со сверлящими взорами – ведь не каждый день залетает такая странная пара. Я чувствовал на своей спине буравящие рентгены, я слышал мелкие смешки: с кем же пришла эта экстравагантная старушка – божий одуванчик? с единственным сыном? с верным братом? с партнером по бизнесу? Да бросьте вы, наивные люди, это же дешевка-любовник, который срывает с нее дикую денгу, бессовестный джиголо, эксплуатирующий богатых вдовушек! Бедняга! Ведь не так легко слышать каждую ночь, как грохочут ее столетние кости...⁸⁶

Как я страдал! И, конечно, не только от смешков за спиной, но и от потенциального риска: ведь наша картинная пара отпечатывалась в любых мозгах – невыносимо для разведчика, всегда жаждущего быть незаметным и серым, как кошка ночью.

Катрин блистала умом, жизнь прожила она в одиночестве, которое чувствовала остро, особенно в чужой стране, отсюда и желание общаться с внимательным, чутким, живо реагирующим на каждое слово советским дипломатом. Политика ее давно не интересовала, секретность приелась, и желание нормально общаться намного перевешивало обычные (и обоснованные) страхи контакта с русскими.

Первый ужин похож на собеседование с абитуриентом, когда важны и анкетные данные, и общий образ, и все видимые и невидимые детали, вспышки улыбки, хмурость лба, количество сигарет (курила Катрин нещадно, причем едкие «Голуаз», я задыхался и попытался укрыться в дыме черчиллианской сигары), число прикасаний к рюмке прелестными губами («пьет умеренно», это для агентурного дела) – первый ужин проходил радостно, как фейерверк. «Я впервые здесь в столице встречаю такого интересного человека...» – это я, с оскалом белоснежных зубов, элегантный, как десять тысяч роялей, не забывавший (к черту официанта!) наполнять бокал французским шампанским «Мумм»⁸⁷.

⁸⁶ Мой добрый знакомый из семейства Романовых, мило грассировавший и вспоминавший, что матушка не любила рестораны, ибо считала, что обедать на публике неприлично (между прочим, так считали некоторые дикари, зато все остальное делали на виду), даже гордился, что свободное от живописи время проводит и фешенебельном отеле «Дорчестер», зарабатывая на жизнь у милых бабушек, – так что любой труд честен, и если кому-то нравится грохотание столетних костей, а костям нравится грохотать, то в этом, черт возьми, нет ничего предосудительного.

⁸⁷ «Мумм» я полюбил заочно, когда в студенческие годы прочитал «Фиесту» Хемингуэя, там граф в сопровождении шофера привозит корзину шампанского, взятого у приятеля барона Мумма, граф расстегивает жилет, поднимает рубашку и показывает шрамы, а потом все надираются. Нога – на курок. И последнее эхо. Последняя пристань, и шепот последний. И глупо, и ветер, и, главное, верно: в Памплону мы больше уже не поедem! Всю жизнь литература играла мною как хотела.



Прототип-пенсионер в качестве лектора на волжском круизе с американцами, 1992 год

«Надеюсь, мы будем друзьями, знаете, я не люблю политику, хотя ею и приходится заниматься в посольстве...» – это хитроумный Казанова, унюхавший настрой. «Я тоже...» – «Хорошо бы, чтобы наши встречи остались чисто личным делом... Трудно все объяснить, но тут в стране некоторые люди пытаются бросить тень на русских», – это снова я, и это называлось первым элементом конспирации и ложилось в досье, облеченное в рутинную фразу «Договорились не афишировать контакт».

Успех! успех! ноздри мои и лошади, на которой мчал домой, раздувались от счастья, я проводил ее к «пежо», поцеловал на прощанье руку, стараясь смотреть мимо морщинистых тонких пальцев, унизанных перстнями и одуряюще пахнувших куревом, через этот ад я прошел мужественно, и на моей физиономии можно было прочитать только блаженство.

И действительно, блаженство! что может быть радостней в жизни разведчика, чем появление перспективной разработки, да еще шифровальщицы? Это как внезапное озарение, как «Я встретил Вас, и все былое...», – и мир прекрасен, уходят дурные мысли, не тянет печень, отменно пищеварение, не мешает плоскостопие, в семье наступает благоденствие и согласие, и чета, не ссорясь, мирно выписывает шмотки по «Квеллю».

Дело завертелось, – руби канаты сразу, пусть корабль уйдет в густой туман, подальше от чужих глаз: не звонить, не писать, никому ничего никогда и вечно! Но как отойти от ресторанов, где все плят глаза?

Ресторанная кухня ужасна (это вздыхал Джакомо), ее не сравнить с домашними трапезами, к тому же, действительно, находили на меня поварские приступы, соблазнительные в условиях бездефицитного Запада, держа в руке кулинарную книгу, готовил даже паэлю по-валенсиански, смешивая поджаренный рис с дарами моря, – героическая симфония, после которой жена неделю выгребала из кухни грязь.

«Как хочется вкусно, по-настоящему поесть, да и поговорить по душам, когда не мешают тупые официанты!» – ныл Казанова, так в голову вбивают гвоздь.

Вскоре Катрин, поняв шибко дипломатические намеки, пригласила к себе домой, правда, принесла извинения, что терпеть не может готовить. Я в ответ всплеснул руками и посулил поджарить ей даже молочного поросенка с гречневой кашей (интересно, как бы я его нес в мешке?) и заодно почитать по-английски Томаса Стернса Элиота. Дело не в интеллектуальном пижонстве, а в том, что интуиция подсказывала: на квартире придется балансировать на канате без всякой сетки и поросенком тут не отделаться. Роль князя Мышкина, чуть-чуть не от мира сего, к тому же влюбленного в Т. С. Элиота, строгий Центр нашел вполне уместной и по делу.

Первый визит я обставил пышно, в самом шикарном магазине набрал горы яств (ничего советского не брал, вдруг дворника охватит любопытство при виде неизвестной баночки в помойке?): какие-то невероятные салаты, бережно уложенные продавцом в специальные непромокаемые пакеты, несколько видов малосольной рыбы и два уже приготовленных нежно-розоватых лангуста («Дело важное нам тут есть, без него был бы день наш пуст: на террасу отеля сесть и спросить печеный лангуст». Гумилев), банка улиток вместе с набором раковин, куда их, голых, требовалось засунуть, замазав сверху специальным маслом перед тушением, и, конечно же, пару бутылок уже одиозного «Мумм» (запасы планировал растянуть

на две-три встречи).

Не хлебом единым и не одними улитками с шампанским – приволок я с собой и солидный альбом современной живописи, и тут мы галопом по Европам окунулись во все «измы», чуть потоптались на русском авангардизме (я вещал, словно живописал и поддавал вместе с Малевичем и Татлиным), затем я выдал коронное блюдо: почитал отрывок из «Бесплодной земли» Т. С. Элиота, завывал тревожно и протяжно, как дог перед смертью.

«Витали странные духи, синтетикой тревожа (что-то она угнетена) и выдыхая запахи вокруг (жрать хочется), дрожали от волнения эфира и свежести, несущейся из окон (много курит), и пламя свеч напоминало великанов, бросалось на узорный потолок – там плавал мраморный дельфин...».

Катрин не настолько владела английским, чтобы все ухватить (признаться, и я тоже), но с интересом наблюдала, как я закатывал глаза, хватал жарко ртом воздух, вздымал руку, словно трибун, – интеллектуальный дым стоял коромыслом, в ответ она пустила пластинку Гайдна, и после всех этих небесных высот любое сползание на грешную землю выглядело бы просто святотатством.

Не первый раз давал я концерты во имя Дела, бывало и похлеще: однажды целый вечер играл я Гамлета на пару с обаятельным црувцем Джорджем Листом (он дебютировал и в роли Офелии, и в роли Полония и всех остальных), русская жена его Таня, бывшая ранее замужем за лидером адской организации Народно-Трудовой Союз Поремским, грустно лицезрела, как пустеют бутылки с виски.

Джордж был прекрасный парень, мы друг друга честно разрабатывали и заодно не забывали о взаимных услугах: я купил ему со скидкой болгарскую дубленку в нашем посольском сельпо, он же отвалил мне к Рождеству несколько первоклассных американских индеек.

Впечатление на Катрин я произвел как существо поэтическое и душевно хрупкое⁸⁸, снова получил приглашение, снова – как в литературном салоне, и так повелось, в ход пошли сначала скромные, а потом более существенные подарки: к религиозным праздникам, ко дню рождения и просто так от души, впрочем, подарками я не баловал, Катрин не страдала меркантильностью, а КГБ щедростью.

Меж Элиотом и Гайдном прорывались ненавязчивые речи и о характере работы Катрин (тут меня уже поднатаскали на специфике шифровального дела, обозначили вопросы, своего рода пробные камни – если ответит, можно потирать руки, предвкушая, как набьет тебе халвой рот начальство), шаг вперед, два шага назад, как учили, осторожно, тише едешь, дальше будешь. Когда приходит на работу? когда уходит? не трудно ли вообще шифровать, черт побери? Вот уж никогда не сталкивался с этим! представляю, сколько приходится писать и считать! Наверное, все это очень сложно? Имеется шифровальная машина? А какой марки, если это не секрет? (Секрет большой, тот самый оселок.) Марка швейцарская, значит, покупали в Швейцарии? Впрочем, послушаем Гайдна, какое совпадение, это тоже мой любимец. Шагай вперед, веселый робот, но не думай, что ты самый умный и Катрин ничего не понимает. Прекрасно, что раскусила, великолепно, что рассеялся туман, это важный этап, теперь она знает, на что идет.

Самое ужасное – это собираться домой и прощаться, возникала неловкость, слова и движения становились деланными и искусственными, губы стыдливо прикладывались, словно оправдываясь, к худой руке, и даже глаза убегали в сторону, чтобы не видеть иронической улыбки, – шагай по канату, веселый робот, прильни еще раз к великолепной руке, чарующе улыбнись и если можешь излучать, выпусти несколько частиц нежности, источи из себя теплоту, иначе будешь, виляя хвостом, смотреть на шифры, как лисица на виноград.

Я поднимал глаза, видел жуткую копну волос, красное пятно на щеке, и сердце замирало от ужаса, словно схваченное ее костлявою рукою.

⁸⁸ Все мы склонны ставить себя высоко, а других считать дураками. Скорее всего, Катрин сразу увидела, что за шедеврами современной живописи и разрыванием души Т. С. Элиотом скрывается прохиндей из КГБ, нацелившийся на ее шифровальные сокровища, и развлекалась, любуясь моими эскибициями.

Постепенно Катрин привыкла к тому, что и я подобен камню и предан лишь делу мира и человечества, что, впрочем, отнюдь не заморозило наши отношения.

Я уже много выведал о деталях ее работы, на информацию она не скупилась. Однако этого было мало, требовались шифры. И тогда, мило улыбаясь, я обратился к ней с просьбой: зачем, мол, отягощать наши дружеские беседы разными информационными вопросами, если гораздо удобнее дать мне ключ к чтению всей шифропереписки посольства? Она как-то очень внимательно на меня взглянула и согласилась.

О, звездный час в жизни гомо сапиенс! Мировой рекорд спортсмена, последний удар кисти по полотну, финальная точка в романе века, открытие кванта... Вышла, вышла наконец на небо моя звезда, моя судьба!

Комбинация была сложная, ибо никто не мог гарантировать безопасность, мне помогало несколько коллег, крутивших на машине недалеко от места встречи (кодовая книга требовала перефотографирования).

Заброшенный полустанок, торчащий среди темного леса, тусклый свет на грязноватой платформе, каменная скамейка, холодившая спину. Хотелось молиться, чтобы она пришла, чтобы не сорвалось, чтобы улыбнулась и протянула пакет или сумку или целый чемодан⁸⁹.

Шум летящего поезда – это она! все точно по времени, быстро забрать шифры – ив машину, там тоже сейчас мандраж: а что, если Катрин провокатор? а что, если готова засада?

Как медленно подходил поезд, как тянулось время, один, два, трое вышли – сейчас выйдет она, о, выйди же! (так идальго заклинали выйти на балкон своих сеньорит) – трое прошли равнодушно мимо скамейки, я смотрел им в спины, я ненавидел и весь мир, и самого себя.

Поезд тронулся и скрылся, стук колес удалялся, все кончено, она не приехала, она подвела, наобещала, а потом испугалась, трепло, мне не везло, проклятая судьба играла со мною, как ветер с мокрым листком, бегущим по платформе, он то прилипал, то отрывался, катись, катись, зеленый лист, перелетай поля сырые и в горстку охладевшей пыли на полдороге обратись!

А может, она вынула из сейфа шифры, кто-то заметил, стукнул, ее арестовали? Сейчас допрашивают и уж наверняка расколют. Или уже раскололи, и весь район оцеплен полицией, она наблюдает и вот-вот захлопнет мышеловку.

Какая обида, сколько потрачено сил, выброшено кошке под хвост... Что делать? Уходить? А что еще? Следующий поезд – через час. Ребята в машине, конечно, промолчат, однако подумают: слабак. Проигравших не уважают нигде, и правильно делают. Проклятые бабы, все они капризны, ненадежны, непунктуальны...

Я встал и уныло поплелся с перрона в сторону светившихся домов, где курсировала наша машина.

«Ты куда? – прямо из кустов. – Ты уже уходишь? Извини, я не успела на поезд, я взяла такси!

(Боже, приехать на такси, это же ни в какие рамки!) Ты не волнуйся, я принесла! Я принесла! бери!» (О, счастье!) «Где такси?» – «Прямо рядом!» (Какой ужас! нас увидит шофер!) – «Спасибо! – схватил пакет, сердце выскакивало из груди, – пока! прощай, до завтра!» Я обнял ее, я целовал, целовал и вдруг почувствовал, что флюиды нежности забили из меня, как нефть из скважины, они летели в Катрин, она чувствовала это и сияла от счастья, я сам превратился в пульсирующую нежность, я целовал и целовал ее на пустынной платформе.

Я вскоре уехал, она продолжала работать, я уехал, навсегда запомнив тот звездный миг, я уехал и больше никогда не видел ее.

Почему она стала работать с нами? Почему пошла на риск? Ведь не ради омаров и «Мумм», а те ничтожные подарки от нас составляли десятую часть ее зарплаты! Денег не брала, считала это унижительным. Почему не боялась ни ареста, ни тюрьмы, ни расстрела? Почему помогала, хотя терпеть не могла ни коммунистов, ни Страны Советов?

⁸⁹ Из «Руководства для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Если везут с собою литературу, шрифт и т. п. вещи, то первым делом надо обратить внимание на то, чтобы корзина или чемодан не бросались в глаза своей относительной тяжестью».

Загадка человеческой души.

Через пару лет мы встретились с коллегой, которому я передал Катрин на связь, сидели, пили кальвадос и трепались, и вдруг он вспомнил: «Ты знаешь, старик, какой номер однажды отмочила наша бабушка? Когда я собрался уходить, она вдруг вскочила и подняла юбку: «Ты видел когда-нибудь такие красивые ноги? – «И как ты реагировал?» – спросил я. – «Сказал, что действительно ничего подобного в жизни не встречал!»

Я хотел посоветовать ему читать бабушке вслух Т. С. Элиота, но промолчал, чтобы не обидеть, – парень был ранимый и сам писал стихи.

Москва, 1985 – 1991

...пьют молоко летучих мышей и кошек, рыбу ловят руками, во время еды прячутся или закрывают глаза, а все остальное делают не таясь, подобно философам-циникам. Сжирают сырыми трупы жрецов и королей, дабы впитать в себя их достоинства.

Хорхе Луис Борхес

Я еще на пути к «Националю». Гена, я еще топаю по жаркой улице Горького, всматриваясь в прохожих, и крутится в голове какой-то легкомысленный мотивчик на старый стих, посвященный прекрасной и единственной в тот прекрасный и единственный час в том прекрасном и единственном городе, что-то вроде «а я себе гуляю и сигареткой балуюсь, смотрю, переживая, на проходящих барышень»⁹⁰, тянется мотивчик, словно ничего не изменилось, может, мы просто бежим на месте, как кэрролловская Красная Королева, и этот толстый солидный дядя с плешью, скользящий подслеповатыми глазками по мелькающим ножкам, и есть тот самый я, баловавшийся сигареткой?

В 1985 году медленно, тонкими намеками началась перестройка, возбуждая больше любопытства, нежели веры в будущее, – все так обрыдло, что даже фантазия не фонтанировала.

Я еще купался в театральной славе (пьесу показали в обществе слепых, и мы с режиссером там выступали с разъяснениями о терроризме США, срывая аплодисменты), спектакль бороздил просторы Поволжья и Украины, рассказывая простым советским людям о зловещем ЦРУ, ненавидевшем всех хороших людей и лившем вокруг кровь.

Иногда я позванивал коллегам в родной отдел (говорили со мной, как с назойливой мухой, хотя я ничего не просил), пару раз поздравил Витю, уже первого заместителя начальника разведки, с какими-то юбилеями («Надо бы увидеться», – заметил я. «Надо бы», – отозвался Витя безрадостно), ты, Гена, кажется, в 1983 отчалил в ГДР на ключевое место шефа, по важности одновременно члена коллегии КГБ.

Гордиевский уже два года бился насмерть в туманном Альбионе, в основном со своими начальниками, которые не давали ему ходу, видимо, кожей чувствуя, что он принадлежит к когорте тайных англосаксов, с ним мы переписывались, хотя мне не нравилось, что он отвечал с большим опозданием, иногда даже одним письмом на мои два, – власть портит людей, заместитель резидента в Лондоне – это шишка, хотя, конечно, червяк по сравнению с тобою и Витей...

«Дорогой Михаил Петрович! Очень рад за Вас в связи с успехами на театральном поприще. С интересом слежу за Вашим прогрессом здесь и буду счастлив вместе с Вами, когда произойдет всероссийская известность (в то же время моя преданность Вам и признательность сохранятся неизменными, даже если, вопреки ожиданиям, она и не придет)...»

⁹⁰ Хорошее это дело – глядеть на барышень. В 1994 году моя персона оказалась в мемуарах обозревателя «Санди телеграф», светского льва и остряка Перри Уорстхорна: «Любимов был популярный гость, подкатывавшийся к некоторым приглашенным дамам, в частности к красавице Пэт Гейл, которая прибыла в ресторан, где мы ужинали после банкета, с буквально запомнившимся мне отзывом о «десяти футах русского языка, пытавшихся в такси взять в лассо мои гланды». Господа офицеры, встать!



Рисунок Кати Любимовой

А вот из другого:

«...Моя жизнь здесь, к сож-ю,⁹¹ не отвечает Вашим рекомендациям. Борьба за самоутверждение продолжается. Дни, недели и месяцы проходят в тех заботах, которые Вам хорошо известны, причем с изрядной долей утомления и перенапряжения. Я не вижу тех прелестей, о которых говорите Вы, – театра, концертов, выставок, музеев и пр. Моим утешением является лишь 3-я программа радио, которая передает только серьезную музыку, и я ее слушаю постоянно».

Бедняга.

Мы иногда виделись во время его отпусков, приглашал он меня в бар отеля «Спорт» недалеко от его дома, угощал вылетевшего из седла шефа ужином и баловал сувенирами, попутно кляня своих начальников в Лондоне, не разбиравшихся в политической разведке. Правда, тебя, Гена, и других боссов в Москве не трогал: кто знает? вдруг я сниму телефонную трубку...

И вот майский вечер 1985-го, телефонный звонок, неровный голос Олега Антоновича: «Я вернулся, кажется, навсегда, меня отозвали», – трубка звучала пришибленно, я в это время стоял в трусах⁹² (до странности душный вечер), с огромной хрустальной (!) чашей, наполненной красным вином, ее, между прочим, я приобрел в Вене во время секретной миссии (в ушах звучит знакомый венский вальс).

Когда в палящий зной стоишь в трусах и с чашей, очень неплохо получают дружеские советы глобального характера, особенно когда не знаешь, что собеседник работает на вражескую разведку, – отсюда и моя реакция: «Плюнь на все, старик! Защищай кандидатскую, у тебя ведь отличная голова! (Не ошибся, даже недооценил.) Или подавай в отставку!» (Понятно, что нет ничего лучшего для подражания, чем собственная неповторимая биография.)

Мы договорились встретиться, и через пару дней Гордиевский прибыл в мою неприхотливую квартирку, что дышит прохладой в глухой тишине истинно московского двора

⁹¹ Сохраняю сокращение – спешил Олег Антонович, спешил жить и экономил время.

⁹² С трусами, Гена, между прочим, было плохо: датский запас я уже износил, к орехово-зуевским ситцевым, в которых блистал с американками, возвращаться было неудобно, а отечественные белые либо вообще отсутствовали в продаже, либо довольно сильно ударили по пенсии (слезы падают на хвост).

(выпало это чудо в результате размена с Тамарой роскошных апартаментов на Ленинском), жемчужину двора, Гена, являет собою великолепная помойка в виде четырех железных ящиков, из которых два ящика дворник с женою перевертывает, дабы их не заполняли страждущие, естественно, мусор летает по всему двору, и не постичь тайну дворника: зачем ему нужен грязный двор? почему бы не выставить все четыре ящика?

Во дворе всегда что-то роют, страсть как любят отключать отопление, часто паяют лопнувшие трубы, один работает, остальные толпятся у ямы, глазеют, курят или отходят к скамейкам и деловито пьют портягу.

– Друзья-рабочие, дорогие товарищи, когда дадите, голубчики, нам, жильцам, тепло?

– Да иди ты на...

Итак, Гордиевский прилетел ко мне на randevу, его вид сразил меня наповал, словно явление покойника: бледен, как полотно, трясущиеся руки, нервная прерывистая речь – впрочем, сейчас мне все понятно: попробуй походить под слежкой, зная, что вот-вот схватят, скрутят и быстренько, без проволочек, кокнут.

История, которую он поведал, хлопая рюмку за рюмкой (весьма новый феномен, ибо я считал его одним из немногих трезвенников в ПГУ, под стать самому Крючкову), несла в себе печальные черты ужасов 30-х годов: недруги обнаружили у него на лондонской квартире книги Солженицына и других диссидентов, взяли в разработку, и вот сейчас, когда его должны утвердить владыкой-резидентом, материалы реализовали, дали подножку и вызвали на «совещание» (жена с детьми осталась в Лондоне, Центр действовал по всем правилам, боясь спугнуть дичь).

Далее он рассказал, что генералы Грушко и Голубев устроили на даче в Ясеневе ужин, угощали его водкой, которая вызвала у него смещение мозгов⁹³. Грушко вскоре ушел, а Голубев начал задавать вопросы, словно вел следствие, – удержался Гордиевский лишь неслыханным усилием воли. Тут я поднял его на смех: никогда не слыхивал я, чтобы психотропные средства опробовали на кандидатах в резиденты, это уж его мнительность! (Оказалось, что нет.)

Всю историю с диссидентской литературой хитроумный Гордиевский рассчитал блестяще – ведь Солженицын, Зиновьев, Оруэлл, Замятин, замаскированные невинными Пушкиным и Лермонтовым, занимали у меня целые полки, весь его рассказ о сталинских нравах в ПГУ вонзился в мое сердце как стилет, да и прыти прибавил: на следующее утро я погрузил в чемоданы наиболее компроматную литературу, повертелся на машине по переулкам и отвез к надежному другу, а несколько книг завернул по рецептам подполья в непромокаемые резины и пластики, засунул в портативный датский сейф и закопал на даче рядом с фонарным столбом (ориентир) – разрыл лишь через год и с горечью обнаружил, что ка ил я точит не только камень, Гена, но и сейфы: вода подпортила книги и тайные мои дневники, плохой я конспиратор, куда мне до Солженицына, укрывавшей) целые собрания своих рукописей.

До сих пор скорблю по известной книге Сахарова, которую сжег, считая самым страшным вещественным доказательством моих преступлений, – Боже, а ведь был всего лишь 1985 год! какой путь пройден с тех пор, как тяжело было выползть из трусости и подниматься с колен!

Все же я не выдержал и позвонил тогдашнему начальнику отдела, моему бывшему заму в Дании (после Гордиевского): «Что там стряслось с Олегом? На нем лица нет! Разве можно доводить человека до такого состояния?!» Начальник был невнятен и сдержан, что-то пробормотал насчет кагэбэшного санатория в Семеновском, где снятый резидент должен излечиться, – туда вскоре Гордиевский и отбыл.

Стояло лето, я уехал к знакомым в Звенигород и однажды, прибыв в Москву, решил справиться о здоровье коллеги. Случайно он оказался дома и вскоре снова нанес мне визит, объяснив, что мотается между своей квартирой и санаторием.

⁹³ Тут одна из морских свинок громко заплодировала и была подавлена. Служители взяли большой мешок, сунули туда свинку вниз головой, завязали мешок и сели на него.

Выглядел он еще хуже, чем в первый раз⁹⁴, нервно достал из портфеля уже початую (!) бутылку экспортной «Столичной», налил себе трясущейся рукой. (Какой парадокс! – подумал я. Не пил, не пил и все-таки спился! Почему именно в Англии, где не так скучно, как в Дании?) Я печально и с глубокой завистью наблюдал, как он пьет (собирался сесть за руль), говорили мы недолго и сумбурно, договорились неторопливо и подробно пообщаться в Звенигороде.

Гордиевский, между прочим, объявил, что собирается уничтожить кое-какие эмигрантские книги – этого я перенести не мог, тогда он предложил мне подъехать к его родственникам на дачу и забрать все, что мне надо. Через несколько дней я это и проделал, захватив Замятина, Бориса Филиппова и запас смелых по тем временам датских журналов. Можно только представить реакцию контрразведки на мою поездку, если, конечно, она уже держала на контроле меня или родственников Гордиевского, во всяком случае Гордиевский очень ловко нацелил ее на мой след, англичане называют это «красной селедкой», отвлекающим маневром, – по запаху селедки, из-за которого собаки сбиваются на ложный путь.

Впрочем, Гена, думается, и его визиты ко мне не носили сентиментальный характер (делиться своими неприятностями в условиях, когда тебя вот-вот прикончат, – полный абсурд), ему нужно было показать слежке, что он ведет обычный образ жизни и заезжает к приятелям, кроме того, Гордиевский вполне мог предполагать, что мне через Витю и других коллег известны детали его дела и я ему что-нибудь расскажу, внеся ясность в ситуацию.

Вскоре, кажется, во вторник, я позвонил ему из Звенигорода, договорились о его приезде в следующий понедельник электричкой, которая отбывала в 10.15 утра (он так и записал в блокноте у телефона: «10.15. Звенигород» – молодец, хороший актер, а ведь знал, что уже будет в Лондоне), я прождал его на перроне, пропустил две электрички, посетовал, что пьянство влечет за собой необязательность (Гордиевский был по-немецки педантичен), и, плюнув, вернулся на дачу.

Напрасно я плевал: Гордиевский играл точно в лузу (в книге он потом признался, что делал отвлекающие маневры), дня за три до планируемой встречи со мной в Звенигороде англичане тайно перебросили его в Лондон, – неслыханная дерзость! – КГБ этому не верил и вел поиски.

Как его вывезли англичане? Пока загадка. Вряд ли он переходил границу в ботинках с подметкой в виде коровьего копыта – так любили в начале этого века сбить со следа пограничников. Есть только два способа: либо его тайно провезли через границу в дипломатической машине, запрятав в багажник или иным образом замаскировав, или он выехал по фальшивому паспорту, изготовленному для него разведкой, изменив обличье.

Конечно, в тот момент, Гена, ничего подобного мне и в голову прийти не могло.

Недели через две меня вынули из Звенигорода экстренным звонком со ссылками на умоляющие просьбы бывших соратников (срочно! Срочно! – правда, знакомо, Гена?), я примчался домой, ко мне нагрянули из контрразведки (Гордиевский уже давным-давно дышал лондонскими туманами): где он может быть? что могло произойти? Женщина? Забился в избу где-нибудь в Курской области? мания преследования?

Моя теория была проста и зиждилась на его внешнем облике: глубокое нервное расстройство, возможно, самоубийство. Вскоре меня вызвали на допрос, именуемый беседой, прямо на Лубянку, снова прошлись по моим взаимоотношениям с Гордиевским, словно во мне таился ключ к разгадке его измены, самое смешное, что после отставки в 1980 году видел я его лишь несколько раз. А как же те, которые его выдвигали? сидели с ним несколько лет в одной комнате? на одном этаже? Все поспешили заявить, что ничего общего с ним не имели, встречались формально или вообще не общались...

Осенью началось следствие, и меня любезно пригласили в Лефортово (между прочим, Гена, тех, кто двигал Гордиевского в Англию, то бишь Витю, тебя и других, туда не вызывали, следователи сами ездили в Ясенево к генералам, представляю, как трепетно они их

⁹⁴ О, как скупое мое перо, как серы краски! Сюда бы Эдгара По: «Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! Мертвенный цвет лица, ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах...».

допрашивали!), там сняли уже официальные показания, составив короткий протокол, из которого осторожные следователи вычистили мои слова о неблагоприятных нравах в ПГУ (но Крючкову, конечно же, донесли!). Я и не скрывал своего отношения к Гордиевскому: что греха таить – я ему симпатизировал, делился многим в те два года, что мы трудились в датском королевстве.

Только сейчас я понял, почему английская разведка не могла поверить, что Филби – агент КГБ, хотя улики было предостаточно: люди, окончившие один институт, одну разведшколу, проработавшие вместе несколько лет в системе, где доверие лежит в основе, несомненно, рассматривают себя, если угодно, как избранную касту – можно недолюбливать и даже ненавидеть коллегу, но трудно представить, что он шпион иностранной державы.

Тогда я не представлял, Гена, что КГБ взял меня в крутой оборот уже в 1985-м, сразу же после бегства Гордиевского, я предполагал, что сие счастливое событие произошло где-то в году 1989-м, когда я начал публично выступать против организации.

Однако руку КГБ я почувствовал: почти все бывшие коллеги тут же разорвали со мною контакты, по телефону говорили напряженными голосами и уклонялись от встреч. Вскоре меня отвели от работ и сняли с партийного учета в отделе КГБ в АПН, где я подрабатывал, отставили и от рефератов для ИНИОН – доходили слухи, что в грозных приказах по КГБ упоминалось мое имя, чуть ли не как главного виновника предательства Гордиевского.

Помнишь песню Городничкого: «предательство, предательство, души неумирающий ожог»?.. Я постоянно крутил тогда эту запись, но думал отнюдь не только о Гордиевском, я думал о Вите, о тебе, Гена, о том, кого я выдвигал и с кем дружил, – все отошли от меня. Разве это не предательство? Я как-то спросил Юру, хорошего парня, которого ты порекомендовал на важный пост шефа секретариата разведки: «Юра, почему все хороши, когда работают под тобою, и совершенно меняются после того, как ты покинул организацию?» – «Такова жизнь», – ответил он философски.

Нет, жизнь, к счастью, не такова, это КГБ был таким: боялись и контактов с диссидентами, и с родственниками пострадавших, и, естественно, с выгнанными на покой своими кадрами.

Не все разорвали со мной, кое-кто из бывших коллег остался, правда, от меня не укрылся неожиданный аскетизм одного друга, любившего раньше пображничать у меня дома в доброй компании: компании исчезли вместе с его раскованностью, вскоре на лестнице он шепотом сообщил мне, что докладывает обо мне начальству только хорошее, – это было благородно, теперь я точно знал, что находился в активной разработке.

Однажды мы случайно встретились с моим коллегой, недавно вернувшимся из-за кордона, сели кейфовать у меня на квартире, но наш пострел везде успел, и в час ночи в дверь позвонил молодой человек, попросивший закурить (увидел освещенные окна и заскочил «на огонек»), – коллегу засекли и миссию выполнили.

Эх, Гена, иногда страшно хочется взглянуть хоть на корочки, в которых все мое дело, уж наверняка ты его полистал еще до назначения на пост главы контрразведки. Философски говоря: а почему бы не завести дело? почему бы не прослушивать? почему контрразведка должна верить мне на слово? А тебе? А Вите?

Много лет назад, еще когда я был в фаворе, то в шутку бросил своему приятелю – одному из первых лиц контрразведки: «Неужели ты считаешь меня агентом ЦРУ?» Он тоже пошутил: «А почему бы нет? Это еще нужно доказать!»

Так что у меня никаких претензий к контрразведке: слушайте! смотрите! следите! подводите агентов, я привык к этому и за границей, и дома, и нет ничего хуже для здоровья, чем менять привычки и стиль жизни. Одна лишь просьба: делать все с санкции прокурора или суда, под эгидой парламента, цивилизованно, как в Англии или Дании, не налетать скопом, не выкручивать руки, не разворовывать квартиру во время негласных обысков, не прокалывать колеса и не держать в холодной камере-рефрижераторе, как бывшего шефа органов Виктора Абакумова (забавно: в зените славы он приказывал охране раздавать милостыню нищим, дешево хотел искупить грехи), впрочем, если до такого вновь дойдет наша история, то никакие парламенты не помогут.

Когда начался переворот в августе 1991-го, мелькнула у меня мысль, что могу оказаться в

кабинете на Лубянке перед тобой и перед Витей, забавная ситуация, интересно, снизошли бы вы лично до допроса бывшего однокашника или перепоручили бы ото более опытным во всех отношениях держимордам?

Что моя маленькая судьба, если смотреть с вершин нашей великой и кровавой истории? Собственные мелкие неприятности всегда кажутся крупнее даже глобальных бед – поэтому тогда всю возню вокруг себя я воспринимал болезненно (конечно, если бы я знал, что меня разрабатывают как пособника англичан, то, наверное бы, смягчился).

Меня никогда не покидала ностальгия по доверию друг другу и крепким дружеским рукопожатиям – Боже, как тяжело сходиться с людьми, когда тебе уже за пятьдесят! А дальше все хуже и хуже, и все чаще звонит телефон и сдавленный голос сообщает: «Ты знаешь, он умер», и все меньше друзей вокруг, и замечаешь в себе совершенно страшное, неосознанное, придирическое раздражение, которое вызывают те, кто остались. Как он изменился! как поглупел! да он совершенно спился! воображает из себя черт знает что, а карьеры никакой и не сделал, да и вообще всю жизнь приспособливался! И неожиданно понимаешь, что и ты сам, блестящий и неповторимый, стал брюзгливым, мнительным, нетерпимым стариком, которому хочется всех поучать и направлять на правильный, одному тебе известный путь. Но это все суета сует, и на ум приходит мой любимый Георгий Иванов:

Холодно бродить по свету,
Холодней лежать в гробу.
Помни это, помни это,
Не кляни свою судьбу.
Ты еще читаешь Блока,
Ты еще глядишь в окно,
Ты еще не знаешь срока –
Все неясно, все жестоко,
Все навек обречено.
И конечно, жизнь прекрасна,
И конечно, смерть страшна,
Отвратительна, ужасна,
Но всему одна цена.
Помни это, помни это
– Каплю жизни, каплю света...
«Донна Анна! Нет ответа.
Анна, Анна! Тишина».

Как понимаешь, Гена, на фоне этого блекнут все мои передраги.

И все же бумажный кораблик мой вы не потопили, ибо жил я уже давно в других измерениях, но все же трудно, Гена, совсем без злата, особенно когда привык к бургундскому и фазанам в перепелином соусе, – посему двинулся я на поиски приработков и набрел по благу на светоч мысли, иностранный лекторий общества «Знание».

Командировка в круиз с врагами, где отставник прочищает глупые американские мозги, зашибает деньгу по 15 рэ в час, ищет смысл жизни и целыми днями плюет в воду

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы – молчат и оне.

Федор Тютчев

И все-таки много сладости было во временах застойных, много халвы, и порядок

образцовый бывал иногда, и трудились хоть и в меру, но на благо и честно и, главное, уважали идеологических работников даже невеликого калибра. Бывало, прибываешь на пароход, раскланиваешься с иностранцами и прочими и прямехонько к обеду, а там уже место за столиком для уважаемого товарища лектора готово: на снежной скатерти икра зернистая и кетовая в половинках крутого яйца, ростбиф с кровью, умеренно прохладное, не из морозилки цинандали в окружении боржоми.

Правда, столик был не самый эксклюзивный, но все же для особ, приближенных к государю императору, который сидел за соседним столиком в виде директора круиза, его заместителя по линии одной организации и иногда капитана, подходившего обсудить дела текущие и заодно пропустить рюмочку. Что за лекторы на бригантинах с иностранными туристами, отдыхающими на наших просторах? Уж не те ли это лекторы из общества «Знание», что в народном восприятии, запечатленном в киношедеврах, обычно вещали о достижениях, крепко держась за трибуну, дабы не рухнуть в партер от винно-водочных перегрузок?

Нет, не те это лекторы, а пропагандистские, так сказать, сливки, свободно владевшие иностранными языками, а потому доходчиво и напрямую отливавшие свои мысли в слова, с опытом скрещения мечей на заграничных ристалищах, беспредельно преданные и морально устойчивые, желательны со степенями, нежелательны с выговорами. И по знакомству, как я, тоже устраивались⁹⁵.

Работал я в основном на «круглых столах» с американцами, и они, не отличаясь особой деликатностью, доставляли много хлопот, любили резать правду-матку, не особенно заботились о благопристойности вопросов и не ахали, любуясь санаториями-дворцами для трудящихся, статуями борцов за свободу или очень мускулистыми женщинами с серпами, снопами, одиноким веслом и мясистыми грудными детьми.

До сих пор волосы встают дыбом, когда вспоминаю, как один американец вылетел из зала прямо к моему столу и стал орать, брызжа слюной, по поводу нарушений прав человека и при этом еще пару раз довольно больно ткнул меня пальцем в плечо, вызывая нехорошие рефлексы. Ответил я тогда распаленному хаму по тогдашним канонам, гласившим, что главные составные части прав человека – это не болтовня и не игры в демократию, а право на труд, жилище, на бесплатную медицину и образование. Вообще подобные вопросы наши лекторы так обсосали, что в секунду ставили америкашек на место.

Самое пикантное: в Соединенных Штатах деяния нашего иностранного лектория заприметили, восприняли очень по-американски, очень всерьез, как форпост пропаганды, инспирируемый КГБ и опасный для нераспаханных мозгов туристов США. Подозрения эти усиливались тем, что одним из замов «Знания», курировавшим наш бастион, был небезызвестный председатель КГБ Семичастный, в свое время указавший Пастернаку, куда ему следует убраться, а потом покотившийся вниз по карьерной лестнице. Нет, не КГБ был вдохновителем инолектория, а самая главная и правящая структура в лице отдела пропаганды ЦК КПСС, которому льстило оплодотворять не только отечественные, но и заграничные отары.

Война шла не на живот, а на смерть, и американцы решили не оставлять своих соотечественников под артобстрелом нашей пропаганды и начали направлять в круизы своих лекторов, обычно профессиональных советологов. Какие душераздирающие баталии разгорались во время поездок, особенно закупленных Стэнфордским университетом...

В круизах была лафа еще и потому, что не приходили туда, как на «столы» в Москве, идеологические ревизоры – тети из «Интуриста», заодно черпавшие там гранд-идеи для так называемой методической работы с переводчиками.

Да что там тети! Иногда во время лекции в Политехническом вдруг бесшумно отворялась дверь и на цыпочках, пригнувшись, словно боясь задеть потолок, в зал входила личность чрезвычайно советского вида, прижимая к животу блокнот, занимала место за спинами туристов, не извинялась, не представлялась, а просто садилась и начинала что-то чертить в блокноте.

⁹⁵ Как же не устроить человека, который еще в школе начертил: «Двадцать девять лет назад седьмого ноября свергнул молодой рабочий класс буржуев и царя».

Лектор, словно улитка, на которую напал танк, уходил в свою скорлупу и быстро бросал на осторожно-безрадостную картину советского бытия яркие краски бесплатного образования, низкой квартплаты и прочих благ, обретенных народом, несмотря на разрушительные гражданскую и отечественную войны, колорадского жука и другие происки ЦРУ.

Были и вершины идиотизма – отчеты, которые предписывалось составлять лекторам после «столов», с обязательным перечислением основных вопросов, заданных иностранцами. Вопросы повторялись из беседы в беседу: зачем вступили в Афганистан? Зачем сажаете? Почему поддерживаете сандинистов? Почему такая огромная армия? и т. д. Затем малый начальник лектория сводил все вопросы в единый документ, который летел в державный ЦК. Представляю еще одну наморщенную лысину, и снова рождался трагический вопрос: зачем? Держать руку на пульсе Запада? Но ведь этим занимались и МИД, и КГБ, и АПН, и масса других организаций. Делать выводы и спешить доложить о них шефу? Скажем, пора вывести войска из Афганистана. Исключено, сплошная мистика, точнее, абсурд...

Июль 1991 года. Казанский порт и белое судно.

Главный идеолог круиза ступил на трап и прошел к капитану. «Тройки» теперь уже нет, всем верховодит «Речфлот», слинял тот таинственный, о котором шепотом, – организации подрезали крылья, – но он жив и еще появится в Плесе, задержится на судне на пару часов, дабы выяснить, не завербовали ли враги матросов, у которых нет вопросов.

На корабле американских граждан – бывших врагов номер один – человек пятьдесят, французов около двадцати и среди всех них масса русских из США, в том числе и православных. Капитан, понизив голос, сообщает, что ими верховодит епископ американской православной церкви Василий, внук того самого Родзянко, председателя Государственной думы, принявшего отречение у императора Николая.

Новшество времен перестройки: советские туристы (раньше их с врагами так просто не смешивали бы).

Боже, ну и состав! Случись бы такая беда года три назад, в 1988-м, – и затрепетала бы полковничья душонка, и напрягся бы идеолог, представив конфронтацию с «бывшими» со всеми вытекающими отсюда последствиями, да и за своими надо приглядывать...

С опаской констатирую спокойствие духа, странное для бывшего сотрудника и коммуниста, вечно несущего бремя ответственности и даже некоторую приятность от предвкушения интересных бесед в хорошем обществе. Впереди волжские города, соборы и кремли, колокольни и иконостасы, церкви, церкви – да оставила ли что после себя советская архитектура?

Но грянул оркестр «Славянку» (она и будет ностальгически звучать при каждом отходе), замахали с пристани мальчишки в трусах, старушки-торговки в теплых платках, парочки со скамеек, туристы и ответ радостно замахали с палубы, и уже суета, и дамы устремились сменить туалеты, а за ними джентльмены заспешили облачиться в парадную форму (через полчаса в зале – церемония представления вождей круиза, нечто вроде вручения верительных грамот), лектор тоже заметался, закопошился, – эх, опять забыл галстук, придется занять у помощника капитана, – забегал по палубам и вот наконец добыл его, грустную сельдь, подвешенную к шее за хвост.



Прототип с сыном

Зал уж полон, ложи блещут, туристы уселись на скамейки и раскладные стулья, поглядывая на столики, где водка, шампанское и маслины (после церемонии советские кавалергарды – туристы сметут всю эту мелочь в три минуты, пока американцы будут пыхтеть над одной рюмкой), оркестр-банд сыграл туш, и на подобие сцены вышли и величаво замерли капитан, директор круиза, переводчики, директор ресторана, врач и девица-физкультур-ник. Приветственные спичи, аплодисменты, удары барабана, девица прошлась от стенки до стенки колесом. И самое пикантное кушанье круиза, лектора, представили: я встал, чуть поклонился, как нобелевский лауреат, знавший себе цену, и внутренне изумился, что жидкие хлопки не перешли в овацию.

За шампанским и маслинами, от коих поотвык, встретились мы взглядами с владыкой Василием и раскланялись. Владыко высок и отмечен печатью аристократизма, посох в руке придавал величавость всему его облику (в Костроме местные старушки, завидев его, кричали: «Иван Грозный!» – лишнее доказательство, как легко на Руси перемешиваются праведники и тираны), вывезенный мальчиком из объятый пламенем гражданской войны России, в конце концов оказался в Югославии, где встал на путь служения церкви, после войны несколько лет отсидел в коммунистических застенках, затем Лондон и двадцать пять лет работы в русской службе Би-би-си. Неслись проповеди отца Василия в родную страну, пробивая заунывный гул глушилок, особую ненависть он снискал во всех небогоугодных организациях. Достигнув сана епископа и преклонных лет, Василий переехал в Вашингтон, где и сейчас живо участвует в судьбах своей страны, переживая всю нашу катавасию, а совсем недавно с успехом прочитал серию проповедей по Центральному телевидению.

Вояж предпринят группой православных не только лишь для любования русской стариной, а дабы попасть на захоронение святых мощей Серафима Саровского в Дивеево. Правда, рывок туда пилигримов из Казани на автобусе по загадочным причинам не состоялся, хотя валюту за это и содрали. Владыко развел руками и подивился «Речфлоту» и «Интуристу», они ведь обещали, ничего не ясно. Мне-то ясно, кто у нас в стране мастер по срыву происков, тем паче что Дивеево недалеко от секретных зон, – там недалеко знаменитый Арзамас-16 – мог бы и подумать святой, прежде чем родиться в таком стратегическом месте.

Об этом я и заметил владыке, но он возмущения не выказал, а заявил, что видит в этом промысел Божий, видимо, на корабле суждено почтить день святого Серафима, спасибо органам, что узрели промысел, высокий все-таки профессионализм⁹⁶.

На следующий день стоял я среди своих и чужих в ресторане, народу поднабилося много: тут и французы, и американцы, и русские, и советские, и даже азербайджанцы – их на судне семей пять с детишками оказалось. Часа два служил молебен владыко Василий, три американца пели псалмы, им мальчишка-американец помогал, наши слушали молча и недвижно, одна лишь

⁹⁶ «Руководство для агентов Чрезвычайных Комиссий»: «Нужно всегда помнить признаки иезуитов, которые не шумели на всю площадь о своей работе и не выставляли ее напоказ, а были странными людьми, которые обо всем знали и умели действовать».

пожилая женщина, кажется, корабельная уборщица, все крестилась и крестилась, а затем и на колени встала.

Зато произошло заметное оживление, когда владыко приступил к раздаче иконок святого Серафима, тут народ вздохнул с облегчением и энергично образовал очередь, не отказали себе и азербайджанцы-мусульмане, все с удовольствием целовали руку епископу, принимая освященный дар.

Я тоже хотел иконку, но как некрещеный к владыке не подошел, постеснялся. Потом отец Иосиф, элегантный, спортивного вида американец, пояснил мне, что тут нет никаких ограничений – бери, хватай иконки, кто хочет, всех спасет святой Серафим – и верующих, и неверующих.

На другой день и мой дебют для американцев: сменил я легкомысленные шорты на более интеллектуальное платье и поспешил в зал за столик с микрофоном. Народ подходил резово, вскоре все заполнили, в первом ряду владыко Василий и отец Иосиф, краткая интродукция, а дальше пошли уже вопросы. Да и вопросы ли это были? Не вопросы, а сплошное волнение: как бы не разорвали мы друг друга в клочья в борьбе за демократию, не запустили бы по недоразумению ракеты в сторону США или, не дай Бог, не взорвали бы самих себя, отравив заодно полмира! Тут уж я, конечно, начал успокаивать (больше всего самого себя), что, мол, не до такой степени мы потеряли голову, не надо верить всем нашим болтунам, все, что ни делается, – к лучшему, и перевел поток в русло экономики, отвлек намеренно, ибо любой американец – экономист и жаждет разобраться в нашей бывшей плановой.

Перешел я к хвалебным одам в адрес рынка, частной собственности, свободного предпринимательства и прочих ранее запретных плодов, пел я во весь голос, а в душе порой содрогался: приватизация? Да у нас же денег у большинства нет! А возрадуешься ли ты, певец, если в номенклатурном доме поселится кавказский овощной магнат? Намного ли это лучше, чем партайгеноссе? Или хуже? Прислушался я к себе, когда затянул о свободной экономике, без которой не может быть демократии, – душа ныла, демократия такая не радовала, в голову лезли прилавки с «Анжеликой» и порно, голые зады в театрах, и вдруг мелькнуло: пусть лучше народ в кино на «Освобождении» сидит или «Клятву» смотрит с Геловани, чем тешится всеми этими кинг-конгами.

Перешел я к историческим переменам, сулившим наконец столь желанный мир, и совсем разбушевался мой внутренний голос: какой тут, к черту, мир, когда режут и убивают по всей стране, когда беженцы и перепуганные меньшинства? Уж не входим ли мы в эпоху новых войн за передел мира, а точнее, одной шестой нашей планеты?

Чуть подпустив слезу, заговорил я об альянсе Горбачева и американского президента, выразил скромную надежду, что хлынет к нам западный капитал, а душа съезжилась от ужаса: ведь скупают все, черти, за ничто, если доллар идет уже за... скупают все, гады!

Ох уж эти американцы, и смех, и грех! Одна старушка вопрос задала, почему плохо покрасили какой-то дом в Казани, другой дядя насчет памятников Ильичу – впрочем, к концу круиза американцы привыкли к этим памятникам и даже полюбили их, в Угличе американская бабка в кофте подошла к бюсту вождя, словно к родному, и воскликнула с чувством: «О, да это же тот самый парень, который устроил всю эту хохму!»

Полтора часа отвечал я на вопросы публики, закончил наконец на бравурной ноте, загремели аплодисменты, кое-кто подошел, восхитился, пожал руку, вручил визитную карточку. «Это было великолепно!», «Просто потрясающе, никогда в жизни не слышал ничего подобного!». Раньше принимал я вежливость американцев за искреннее восхищение своей эрудицией и ораторскими талантами, а каждую визитную карточку за приглашение погостить в США, эти иллюзии уже угасли давно.

За завтраком соседка по столу, переводчица американской фирмы из второго поколения русской эмиграции, сообщила ласково, что «все остались очень довольны», – ободряюще это прозвучало, но, главное, пожертвовала она мне свою порцию сыра (то ли диету блюла, то ли жалко меня стало) и дарила его весь круиз.

На следующий день снова Волга с церквушками-одиночками по берегам, издали они словно гордые дворцы, и не видно туристам разрушенных и загаженных помещений, снова стоянка и снова церкви, церкви, только ухоженные, для туристов.

Тут-то и донесся до меня слух: мол, советские туристы несколько обижены, что их обошли, – чем они хуже американцев? И почему бы не устроить «мост» на манер Познера? Клынул я на эту удочку, решил превратиться в Познера, заболел тщеславием и выполнил-таки волю народа, рассадив в зале наших и не наших друг против друга, а сам уселся, дубина, за столик посерединке, дабы творчески жонглировать страстями аудитории.

Блин пошел комом уже на представлении сторон: что тут за советская публика? Публика заерзала и зашептала, группа кооператоров на всякий случай отрекомендовалась как «люди с предприятия», путешествующие за счет «социальных фондов», и только один смельчак гордо заявил, что он зарабатывает достаточно бабок и может себе позволить истратить 1300 рэ⁹⁷ на поездку по Волге. Дальше наших потянуло на митинговые костры, и они обрушились со всей страстью на Горбачева и правительство, не умевших управлять государством, признались в нищенстве и пожелали услышать от иностранцев надежные рецепты выхода из экономического кризиса.

Все эти сумбурные речи, превращенные переводом в тошнотворную тягомотину, сразу выбили штурвал из рук новоявленного Познера, и корабль помчался на рифы: «мост» уже зазвучал то ли как треск высоковольтных линий, то ли как разговор под водой. Один чикагский бизнесмен неожиданно призвал не увлекаться идеями равенства и братства, не завидовать богатым, а трудиться! – да! да! работать, работать и работать! – а американка-дантистка ударила словно обухом по голове: только учение Маркса спасет СССР и весь мир.

Советская публика от такого нокаута глухо застонала, особенно когда оказалось, что дантистка с мужем – профессором музыки катаются как сыр в масле в фешенебельном особняке под Нью-Йорком, где, как известно, даже негры пешком не ходят, и сколько хотя пьют коктейли в собственных утепленных бассейнах под банановыми пальмами. Стонали хором: вы у нас поживите с вашим Марксом, у нас! Вы знаете, что значит заработать 1300 рэ на этот чертов круиз?! Или вам лектор мозги пудрил?

А я не пудрил, я честно объявил, что по статистике наша средняя зарплата – чуть больше 200 рублей, причем со свойственным мне остроумием добавил, что существуют три вида лжи: ложь, подлая ложь и статистика – эту шутку я тоже лет пять обсасывал, – все, как обычно, чуть не рухнули со стульев.

Наши продолжали бубнить: для нас такой круиз – это роскошь, а для вас даже за океан махнуть – все равно что высморкаться, для вас это семечки. Одна тетушка в очках с цепочкой – от волнения она не представилась – все пальцем грозно трясла, словно к позорному столбу пригвождала: «Вы нам скажите, во сколько вам обошелся этот круиз, – тогда и поговорим!»

Неожиданно взорвались от возмущения янки: «Думаете, нам так легко деньги зарабатывать? Думаете, что мы не вкальваем?» Причем стоимости круиза никто не назвал, загорланили разом о высоких налогах, ренте и ценах, как-то незаметно все перевернули, затемнили и увели в сторону. Но тетушка непоколебимо стояла на своем: сколько?!

Выручил отец Иосиф, кожей почувствовал опытный человек, что православные не успокоятся, не разойдутся с миром, пока не обрящут истину, встал спокойно отец и, как на отчетно-выборном собрании, объявил просто, что тур стоил по 3200 долларов с носа на две недели (самолет туда и обратно около 2000, неделя в Ленинграде и Москве плюс неделя на пароходе). Наши возликовали: так это даже по заниженному курсу аж 100 000 рублей! Так кому же на свете жить хорошо, вам в своих Штатах или нам, мужикам, на Руси?

Я уже давно понял, что сел в лужу, – «мост» разламывался на куски, кто-то зевал, а кто и просто уходил из зала, – и все я ждал момента, чтобы по-познеровски всех примирить, все уладить и всем вместе порадоваться, что вот наконец мы, туристы, и познакомились.

Только лихорадочно поплыл я в эту сторону, как вылез американец, с персональным компьютером, который времени зря не терял и рассчитал, что для покупки тура за 3200, разумеется, при выплате всех федеральных и прочих налогов, при доходе 20 000 баксов в год американец должен трудиться 58 дней, при доходе 40 000 – 29 дней, и так эта таблица поднималась все выше и выше; при доходе 70 000 – 16 и три четвертых дня, дальше расчеты

⁹⁷ Перо не в силах угнаться за инфляцией, посему оставляю все в цифрах 1991 года.

вышли за пределы моего понимания и приняли характер космический: зарплата соотносилась с индексом роста цен, развитием международной обстановки, стоимостью доллара на биржах, – компьютер выделял чудеса и проглядывал ситуацию до середины следующего века.

Целиком, конечно, я этого леща на раскаленную сковородку бросать не дал, попридержал в неволе, тактично прервал оратора, поблагодарил всех за внимание, поулыбался, покивал, пожелал счастья, мира и дружбы и свернул «мост», опасаясь, что кто-нибудь из правдолюбцев либо запустит в меня гнилым томатом на американский манер, либо двинет прямо в ухо по-отечественному.

Пару дней никак не мог отдышаться и наметил еще один «стол» на дату прибытия в град столичный, когда ум туриста сам требует обобщений всего увиденного и услышанного.

Тут, на мою беду, снова обиделись, теперь уже французы: к нам, мол, относятся как к второразрядной нации, мы тоже хотим «стол» – больше удара пролетарскому интернационалисту и не придумать! Поскольку во французском море плавал я как топор, то пришлось подключить переводчика, что дискуссию затягивало и уродовало до омерзения.

Французы дружно сопели, но слушали, все время переспрашивали и требовали пояснений, потом возбужденно зажестикуютировали, загалдели, а один толстяк в расстегнутой рубашке и с татуировкой на груди заявил, что Горбачев, Ельцин и я лично продали французских пролетариев и поверили Миттерану, который всех нас обвел вокруг пальца, обманул и тоже продал.

Я уже приготовился к мягкой отповеди, решил не обострять, ответить легко и с юмором, но тут французы меж собой вдрызг переругались, нахохлились, как боевые петухи, и только слышалось на альтах и дискантах: «Миттеран! Миттеран!»

И вдруг я подумал: «Боже, зачем мне все это?! Тихо встал, вышел в каюту и раскрыл «Русский Пил». Попал на кусок, когда ни Розанов, ни пассажиры на волжском корабле никак понять не могли, почему им из лодки, проплывавшей мимо, грозили кулаками мужики. Лишь потом доперли: голод на Русском Ниле, голод! А те, кто на корабле, – жрут!

Я опустил окно, подуло кисловатым воздухом больной реки. Если бы ведал Розанов, во что превратят его Русский Нил – оазис цивилизации, вокруг которого задумывалось зреть и богатеть России...

И чем больше всматривался я в зеленоватую муть с ошметками водорослей, с белыми крошками, которыми, словно манкой, забросал громады глубин какой-то Сумасшедший Рыболов, тем досадливее и мутнее становилось на душе, больная вода вливалась в меня, «стола» и вся эта мура показались жутким повторением прошлого, нет, ничего не изменилось во мне, и по-прежнему существовал я в двух или трех измерениях, как и в свои коммунистические годы, – Фигаро здесь, Фигаро там!

Владыко Василий оказался один в каюте и попросил присесть. «Как интересно, что мы с вами в одно время работали в Лондоне, вы – в посольстве, а я – на Би-би-си». («Да, – подумал я, – очень интересно, весьма интересно, какое счастье, что я уехал из Лондона в шестьдесят пятом и не работал в семьдесят восьмом, когда болгарские коллеги пришили Георгия Маркова, писателя-диссидента, тоже трудившегося на Би-би-си, укололи зонтиком с ядом, КГБ помог».) «У меня после смерти Маркова сын погиб в Лондоне в автокатастрофе...» – сказал владыко, уже включились, видимо, меж нами иные коммуникации, на уровне интуиции. «Я в то время работал в Дании, но вряд ли бы наши мстили вам таким образом... логичнее было бы вас самого...» – «Пожалуй, вы правы, я тоже так думаю... что это не вы... и жена моя, покойная мать Мария, так думала...».

Наступила пауза, она продолжалась несколько долгих секунд. «Владыко, могу я подарить вам книгу Розанова? Вы, конечно, читали «Русский Нил»? – «Очень давно. Большое спасибо. Надпишите, пожалуйста». – «Вроде бы неудобно, ведь автор – не я». – «Надпишите на память, пожалуйста».

Я надписал с самыми добрыми словами и спросил вдруг, точнее услышал, что спросил: «Владыко, а как вы относитесь к разведке КГБ, в которой я работал? Аморально было там трудиться или нет?»

Он взглянул на меня внимательно. «Человек и его общество несовершенны, еще Иисус Навин посылал, если помните, лазутчиков в чужой стан...» – «Значит, работа в секретной

службе морально оправдана?» Он посмотрел на меня еще зорче. «Не во всех. Бывают службы, защищающие человека, а бывают...» – «Значит, КГБ...» – не унимался я, словно тельняшку рвал на груди, шел на дот. Он улыбнулся мягко, даже слишком мягко. «Я ненавижу и КГБ, и гестапо, и им подобных, думается, вы это понимаете», – сказал владыко. «Значит, мне не стоит надеяться на прощение православной церкви?» Я тоже улыбнулся, нервы, конечно, стали ни к черту.

«Святая церковь не прощает ни коммунизм, ни фашизм, но она прощает и Сталина, и Гитлера, если они раскаются. Любой человек может быть прощен».

Я искоса взглянул на каютный столик, там лежали бумаги и фотографии, он протянул мне одну: «Это я и покойная Мария». Двое красивых молодых людей в цивильных одеждах шли по английской улице, оборотясь друг к другу и улыбаясь. «Я ведь сначала хотел быть монахом, но встретил Марию и изменил свое решение. Но монахом все же стал...»

Он говорил спокойно, уже уйдя в свое далеко, уже устав от меня.

Я встал.

Волга сузилась, вдали пошли добротные шлюзы, построенные заключенными, я смотрел на зеленую рябь и думал, что и в Лондоне, и в Копенгагене, и в Москве, и при Хрущеве, и при застое, и при Крючкове, и при Горбачеве, и в посольстве, и в отставке, и на воле, и сейчас, в эти улетавшие, как белые бабочки, секунды, жил, суетился и что-то доказывал другим и самому себе один и тот же человек. Веселый фильмик этот прозрачно накладывался на теряющие жизнь воды, на реку, загубленную теми, кому она предназначалась в дар.

Москва, 1980 – 1991

«Ну вот, со свинками покончено, – подумала Алиса. – Теперь дело пойдет веселее».

Льюис Кэрролл

Я обгоняю время, Гена, но захотелось съездить в командировку, до которой оставался год, впрочем, все мы на земле в командировке, Киплинг писал, что нужно терпеть и ждать отбытия в Последний Департамент, он не за горами.

Ты знаешь, что больше всего потрясло меня в самом себе? Цепкая власть прошлого, которое все не сдавалось, все норовило подмять под себя. Как трудно вылезал я из когтей КГБ, державших крепко мой мозг, как трепетал я еще в 1987-м (вроде бы перестройка): домашний адрес туристам не давал, тем более телефон, никакой заграничной переписки, в гости не приглашал – и это разведчик, проживший годы среди иностранцев, впрочем, именно поэтому и не давал, что привык к запретам и разрешениям.

Разве мы не чувствовали себя спокойнее и увереннее за рубежами, где хотя враги, но все предсказуемо? и не тряслись, когда вдруг в московском ресторане к столику подсаживались иностранцы? (Вдруг за ними слежка? тогда и соседей по столу попутают.)

Как дрожала моя душонка, когда я впервые в жизни просто так, без связи с Делом, дал американцу свой домашний адрес (номер телефона не дал), все это казалось чуть ли не продажей врагу схем коммуникаций Кремля.

Но душа постепенно распаховалась, очищалась от чекистской накипи, обретала естественную свободу, благо, виляя и крутясь, как хвост героя, все же набирала силу горбачевская гласность. Даже жена, когда соседи наверху бросили в унитаз калошу, засорили канализацию и нашу квартиру залило дерьмом, вывесила, как Клара Цеткин, прокламацию в подъезде: «Товарищи жильцы! Не бросайте в унитазы помойку. Убедительная просьба использовать унитазы по их прямому назначению. Ведь вы же москвичи, стыдно так себя вести!» Молодец, Таня, истинный борец за права человека.

Ты не поверишь, Гена, но с третьей женой, взорвавшей вместе со мною основы Морали в КГБ, мы живем ладно уже почти пятнадцать лет (не вру ли?), воистину «Бог любит троицу, и нам грешно препятствовать богам!» – так я написал в объяснительной Крючкову, правда, не отослал, решив, что он не поймет поэзию, поскольку увлечен драматургией. Неужели я ошибся,

Гена?

Мы различны по всем параметрам: Таня замедленна, я же суетлив (удержался от «динамичен»), она обидчива, я – как свиная кожа, она скромна, я же всегда в эпицентре, она хорошо готовит и обожает лечить, разве не идеал?⁹⁸

Однажды я поперхнулся куриной косточкой, она встала где-то в пищеводе, я проглотил с полбуханки хлеба, силясь прогнать ее до желудка, и, конечно же, Таня с радостью увезла меня в Склиф, где сидело еще человек десять таких же недотеп, оказывается, у нас страна глотателей! Врач тут же продвинул мою косточку куда надо и заметил, что все это пустяки по сравнению со вчерашним случаем, когда кто-то проглотил на спор двадцать бритвенных лезвий. В это время внесли полузадохнувшуюся толстуху, которая беседовала по телефону во время обеда и проглотила куриную кость длиной в десять сантиметров (!), ее тут же спасли, мы мило разговорились и поделились опытом глотания.

Разве кто-нибудь когда-нибудь сможет победить такую нацию, Гена?

Кстати, Татьяна, увидев мои шуры-муры со старушкой (это я о толстухе, ты понял), закатила мне сцену. Ясно?

К женам нынешним и, возможно, последним следует относиться с особой нежностью (кто же еще после славного откидывания копыт будет возиться с пожелтевшими фото, собирать черновики и терзать власти о превращении квартиры в музей?), тем более к Тане, прошедшей с несчастным тяжкий путь от отставки до трухлявого общественного признания (как хотелось бы написать «славы!»). Слава Тане! Слава Спутнице! не зря она мне однажды бросила: «Такие, как я, на дороге не валяются!» На что и получила: «Между прочим, тянет многих повалиться на дороге, вставить в задницу перо, ткнуться мордой в дерьмо. Вам, любительнице мыла, Вам, блюстителнице ванной, показаться может странным перемазанное рыло. Мы не моемся годами, проросли насквозь лишаем и кровавыми зубами ногти яростно сгрызаем. Но зато, когда расколот грязный череп наш дубинкой, там найдут святые стружки, золотых мозгов опилки! Не дано Вам в Вашей ванной осознать, чем дышат боги. Не понять Вам дух канавы, не валяйтесь на дороге!»

И опять заслонили Золотые Опилки образ Тани, и забыто, что она безумно женственна и божественно красива, черт побери! Иначе разве она покорила бы Святые Стружки?

Вообще семья у нас пишущая, вот и сын откуда-то из деревни, еще не испорченный славой: «Краткосрочный прогноз: мы будем молчать, как рыбы, на твоё шестидесятилетие я не принесу бутылки вина, деньги верну, когда они появятся⁹⁹, от наследства отказываюсь, что могу подтвердить у нотариуса. Тем не менее люблю и похороню честно без экономии¹⁰⁰. На могиле будут расти все породы деревьев», – черный юмор, по-видимому, наш семейный удел.

Я шагал по Горького к «Националю», погибая от жары, хотя был в рубашке и джинсах, я увидел тебя, Гена, недалеко от входа в гостиницу, ты прохаживался взад и вперед, по-генеральски заложив руки за спину (темно-серый костюм, белая рубашка с галстуком – обычная форма в ПГУ), ты потолстел, чуть обрюзг, но что делать? говорят, старость – это единственное средство долго жить, да и я в разъединяющие нас десять лет не превратился в Аполлона Бельведерского. Я подошел к тебе в момент твоего полуоборота на каблуках – широкие улыбки старых друзей и товарищей, слезы чуть не брызнули у нас из глаз¹⁰¹.

Дальше судорожный обмен новостями о здоровье, болезнях и смертях – так уж мы

⁹⁸ Все вранье, она мне вкалывает шпильки в уши, «о бойся Бармоглота, сын! Он так свиреп и дик. А в глуше рымит исполин – злопастный Брандашмыг!» – опять дружище Кэрролл.

⁹⁹ Не вернул, хотя появились, и не вернет.

¹⁰⁰ Жаль, что не смогу поймать его на слове.

¹⁰¹ В тот момент я вспомнил, как давным-давно вот так, со спины, подошел к нелегалу на явке, молвил ему пароль, нечто вроде «Как пройти на улицу Малую Бронную, то бишь на «Пиккадилли», но услышал в ответ: «Старик, иди на фиг со своим паролем, скажи лучше, где тут рядом сортир, у меня дико болит живот!»

устроены, что постоянно все сравниваем: сочувственно узнаем возраст умерших, думая о своем, докапываемся, отчего ушел человек в мир иной, и мысленно успокаиваем себя, что много пил и курил, будто стояли над ним всю жизнь с пустой рюмкой, соизмеряем чужие успехи со своими и несчастья тоже примеряем на себя.

У входа рядом со швейцаром уже стоял тип с угодливой мордой, которому ты шепнул нечто магическое вроде «Я от Ивана Ивановича», он изогнулся и провел нас в отдельный кабинет с угнетающим взор пустым столом – это навело на мысль, что в период перестройки фирма потеряла престиж, во времена Берии или Андропова уже разбегались бы ясные очи от икры, лососины и разносолов, и официанты крутились бы волчком, боясь не угодить клиенту и угодить в другое место.

Что будем пить, мой друг, в такую жару? Ты пожал плечами: еще работать и работать (в том числе и продиктовать стенографистке отчет о беседе со мною), понимаю, как насчет коньяка с пепси (1/3 на 2/3, дивная, между прочим, смесь, если заправить ее лимоном и льдом), ты удивился (никогда не пил, представляю, какой ужас работать с полутрезвенником Крючковым!), официант замялся, убежал искать лимон и минут через десять притащил искомое и лед в общепитовской тарелке.

O tempore! O mores! Упал класс!

Черт с ними, с разными командировочными и прочими клиентами-шантрапой, им и хвоста селедки достаточно, пусть радуются, что не вышибли под зад, но вот когда генерала КГБ так обслуживают, стоит задуматься...

Неужели ты никогда не пробовал коньяк с пепси? Ах, ты по-прежнему любишь виски со льдом? Но в меню виски нет, хотя для тузов стоило бы припасти.

И снова полезло в голову начало шестидесятых: шеф захватил меня, юнца, и еще пару гнедых в кабинет «Арагви» – там обслуга стояла во фронт, – в разгар пира вошел известный генерал Питовранов, славно и порубивший, и сам посидевший, с чисто выбритой головой. Мы вскочили, как по кличу «смирно». «Это мой учитель! – сказал шеф. – А это мои ученики...». Я даже грудь выпятил колесом от гордости.

Жалко, Гена, что виски тут нет, это ведь не лондонский паб (тут повздыхали, как старые бабки, об ушедших денечках в Альбионе)¹⁰², правда, можно смешать водку с «фантой», это штатники кличут «отверткой», вполне приличное пойло и намного лучше смеси водки с вустерским соусом, именуемой «Устрицей пустыни», о чем я проведал еще в школьные годы из любимого романа Николая Шпанова «Поджигатели».

Как ты устроился на новом месте? как здоровье? (тут я немного рассказал о новой жене, хотя о Тане ты, конечно, знал и о жизни на новой квартире знал, ты все знал и я знал, что ты знал) – мы ходили вокруг да около, все никак ты не мог взять быка за рога, а скорее всего, ты просто создавал определенное настроение, чуть размягчал меня пепси с коньяком – прием стар, как мир, сам всю жизнь им пользовался.

И вдруг я сказал: не вздумай, Гена, запугивать меня или, не дай Бог, предлагать сотрудничество, оставим эти штучки новичкам, мы старые воробьи, я уже вышел из партии, не выношу нашу Систему, на выборах голосовал за Ельцина и даже агитировал за него в парторганизации при нашем РЭУ, куда меня прикрепили после изгнания из АПН.

Позвякивал лед в стаканах (вкусный звук игры на ксилофоне), ты выслушал молча мой монолог и задумчиво заметил: «Эге, как они тебя обработали!» – я даже обиделся за себя, думал, что и сам иногда умею шевелить шариками.

«Значит, вышел из партии?» – для тебя это была явно свежая информация.

Дальше у публики пошли вопросы, повергшие меня в изумление: где подрабатываю? есть ли дача и где? сколько получаю – на фирме это именуется сбором исходящих данных, странно, что тебе их не передали, а может быть, ты им не верил и перепроверял? а может, пускал мне пыль в глаза, демонстрируя неосведомленность?

¹⁰² Доброе круглое лицо Королевы улыбнулось из миски и исчезло в супе.
Льюис Кэрролл .



Рисунок Кати Любимовой

Интересно, установили ли в кабинете звукозаписывающее устройство? – потом удобно будет переложить все на бумагу, сделать правку и подать наверх. Правда, рискованно оставлять вещественные следы (почему бы твоему шефу не послушать, что и как ты говоришь?), вдруг я ляпну нечто обидное для фирмы, а ты не отреагируешь, что говорится, должным образом, а шеф потом вызовет, сожмет кулак, натренированный ручным эспандером, и прошипит: «Что за глупости вы пороли в «Национале»?!»

С сыновьями все вроде в порядке, а как там Витя? теперь он большой человек, фактически номер два (кто думал, что через год он попадет в «Матросскую»? воистину по Окуджаве: судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе), передавай ему приветы, Гена, я к нему всегда хорошо относился, неплохо нам всем вместе как-нибудь встретиться, ты уклончиво кивнул головой, подумав, наверное, что я на пенсии совсем сошел, с колес: шуточка ли встретиться с таким большим человеком, как Витя! с ним и член Политбюро сочтет за честь побеседовать.

Впрочем, я тоже не лыком шит и, попивая коньячок с пепси (шло отлично), все представлял, как тебе докладывали о ходе моей разработки, перечисляли мои связи, приводили крамольные высказывания поданным подслушивания, вот и совсем недавно я шуганул свою пьесу о шпионаже прямо в Лондон лично знаменитому Джону Ле Карре, пригласил, дурак, его в соавторы, а он, нежный человек, представь себе, ответил, правда, отказался от предложения, но переслал пьесу английским драматургам, письмо от писателя было вскрыто, искали, наверное, микроточки с указаниями, как взорвать здание КГБ, все-таки Ле Карре когда-то работал в английской разведке!

Так что не надо стращать меня, Гена, а то будет скандал не хуже калугинского, ты лишь мягко улыбался: зачем стращать? мы же не дети! в такой сложный момент истории – и стращать!

А я взбодрился: «Гена, ты понимаешь, куда вас ведет Крючков?» – «А что?» (Осторожничал, хотя все понял, подумал и о «жучках» в стенах.) «Всех вас выпрут, а Миша вас бросит». (Говорил, как оракул, что там Нострадамус! все-таки умница! кто же еще похвалит, если не сам?) «Михаил Сергеевич?» – опять осторожность, словно не усек, и вообще разве можно позволить даже в мыслях такое амикошонство с генсеком?

Тут я совсем распоясался (ты наверняка подумал, что действую я по поручению целого подпольного штаба, а дело, старик, в изменении пропорций коньяка и кока-колы): «Гена, сбросьте вместе с Витей Крюčkова, переходите на сторону России, вы же никогда не служили в партаппарате, поддержите департизацию, дайте бой шефу публично, начните новый курс!» (Если бы я знал, какой бардак начнется с «органами» после департизации!)

Сей монолог тебя чуть огоршил (подумал, наверное: «Трудно говорить с идиотом», и не ошибся), ноты вдруг отозвался совсем человеческим голосом: «Ты думаешь, что все это так просто?» – «Но посмотри, куда все идет, куда вас тянет Крючков!» – «Ты его мало знаешь, это очень умный человек...».

Знал я его действительно мало, в уме не сомневался, правда, ум этот был придворный: сначала подыгрывал во всем Горбачеву, а когда спихнул шефа КГБ Чебрикова и укрепился,

вдруг вспомнил о судьбах страны, точнее, о своей будущей карьере.

Тут мы ударились в мемуары, ибо по всем параметрам агентурной работы непозволительно долбить в одну точку, следует давать передышку, расслабляться, располагать и очаровывать, – вот ты и увел меня в лондонские воспоминания, в маленькие комплоты и интриги в резидентуре, а потом вдруг бухнул: «Скажи, пожалуйста, а где все же рука, организующая борьбу с КГБ?»

Как знакомо – ведь всю свою жизнь я тоже искал Руку, центр Заговора, срывал Планы!

Руки и планы, наверное, существовали и существуют, но убей меня, не поверю, что повороты в истории творит Рука – ненависть к КГБ и всей Системе уже давно была разлита в воздухе – может, я сам был Рукою? об этом я тогда тебе и сказал, вызвав смешок...

Если серьезно, то есть только одна Рука, она нам недоступна, Гена, именно она непостижимым и часто причудливым образом творит Историю, а нам, пылинкам, кажется, что это мы, великие, переворачиваем мир, не ожидая милостей от природы.

Так и пролетели приятные два часа, – попутно ты заметил, что ко мне фирма всегда хорошо относилась (я спорить не стал, в конце концов, пенсию ведь дали!), да и отец мой, которого ты знал и на похоронах был, почти всю жизнь проработал в органах, не к лицу мне вроде бы идти против чекистских традиций.

В общем, миссию ты свою выполнил, в меру меня попугал, воззвал к совести, ну а к концу беседы, когда моя позиция прояснилась, ты посмотрел на часы, откровенно сказал, что главное сейчас – запомнить всю нашу беседу, заторопился и уж совсем разлюбезничался: не нужна ли мне помощь? санаторий или еще что? (знаем, знаем, коготок увяз, всей птичке пропасть), звони когда хочешь, не забывай! я передам привет Вите. Ты легко расплатился, взял счет и даже подвез меня на «Волге». Спасибо, старик, за хороший обед.

Если бы ты знал, какого труда мне стоило не похвастаться, не рассказать, что несколько дней назад «Огонек» решил печатать мой роман, признаться, я думал, что и звонок твой связан с этим.

Дело не только в радости признания, Гена, это само собой, – но я был горд, что способен зарабатывать на жизнь иным способом, нежели служба Режиму, вдруг оказалось, что меня могут читать, то бишь писания мои нужны, – сказать честно, на работе в КГБ я испытывал комплекс вины из-за того, что был паразитом на теле народном, возможно, я не прав, возможно, наша профессия нужна, но я пишу о себе. Комплекс такой иногда накатывал, правда, от пенсии я не отказался и машину в детдом не пожертвовал – вот и цена сомнениям.

О, как я чувствовал тогда, что вам меня не взять так просто. Мальро: «Тогда Непреклонный Император приказал Художника повесить. Он опирался о землю только большими пальцами ног. Когда он устанет... Он оперся о землю одним большим пальцем, а другим большим пальцем нарисовал мышей на песке. Мыши были нарисованы так хорошо, что они вскарабкались вверх по нему и перегрызли веревку. И так как Непреклонный Император сказал, что вернется, когда Художник ослабнет и закачается в петле, Художник тихонько ушел восвояси. И увел с собой мышей».

Это я не к тому, что велик, а просто человек в конце концов побеждает зло.

Мы расстались, Гена, прощай!

Началась счастливейшая в жизни пора, и продолжалась она с сентября по декабрь, когда пошел в журнале роман, – оказывается, на этом свете есть ощущения поострее, чем ночная встреча с агентом в подворотне или объятия начальства за распущенный слух о том, что вирус СПИДа изобретен в лабораториях ЦРУ.

Рассматривать с некоторым удивлением собственную фотографию, впитывать неповторимый текст и видеть, как в вагоне метро простые советские люди равнодушно или с интересом листают журнал (задержится ли их взгляд на романе?), «Огонек» тогда долетел до пика, тираж превышал четыре миллиона, каждую неделю вырывались на просторы родины чудесной драгоценные мои номера, да еще и любимые фото и картины я подбрасывал для журнальных коллажей.

Старушка недолго мучилась и уже в конце сентября инспирировала по мне первый залп в «Красной звезде», действовали по знакомым канонам (те, кто не с нами, не просто враги, но и алкаши, распутники, взяточники и т. д. – ненужное зачеркнуть), сообщили, что я «человек не

слишком строгих моральных правил» (видимо, автор любил Пушкина, «Мой дядя etc.»), к тому же благословил побег Гордиевского – тогда я воспринял это как свойственные службе издержки стиля, однако, как оказалось, считали так всерьез.

Хорошую кость подарили псу, и ответил я славно в «Комсомолке», до сих пор горжусь, и название придумал с выпендрежем, но прямо в точку: «Признания нерасстрелянного шпиона», наверное, уже тогда Крючков занес меня в «черные списки».

Впрочем, на «Красной звезде» не успокоились, а поддали мне в ежемесячнике КГБ «Совершенно несекретно» («фантазмагорический роман, поражающий воображение читателей «Огонька» несметным количеством пьянок и амурных дел»), тут и заместитель начальника разведки не поленился обзвать роман «туфтой», спасибо, товарищи, за рекламу.

Год девяносто первый начался ужасно: в феврале рано утром увезли в больницу Катю, вечером у нее был Саша, она шутила, а в ночь внезапно умерла – сердце. Катя умерла, исчезла с этой Земли, остались лишь письма, вещи и память, которая с каждым годом все острее восстанавливает прошлое: «волосы– искры пожара отбросив, шутя, назад, читала Мартен дю Гара, сонно смотрела в сад, чертила томно и ленно, губу оттопырив вниз, левой рукой – поэму, правой рукой – эскиз». И вот нет Кати, смеется она, заливаясь с фотографии, снятой на Трафальгарской площади: голуби одолели ее, бедную, облепили и голову, и плечи.

Год начинался мутно, Горбачев метался, надеясь овладеть ускользавшей из-под контроля партийной номенклатурой, тучи медленно сгущались.

И вообще, как эта сумбурная перестройка нахлынула на нас? Сначала шла осторожно, словно кошка подкрадывалась к воробью, шумела пустыми лозунгами о прелестях хозрасчета и социалистической кооперации, о том, что демократия – это социализм, и наоборот, лились мудреные водянистые слова о новом мышлении, и, когда на каком-то съезде кто-то пикнул о частной собственности, весь зал замер от ужаса.

Помнится, мы со старым другом Евгением Силиным, вершившим мировые дела в Комитете за европейскую безопасность (ныне что-то связанное с атлантическим единством), прослышав на праздники о том, что якобы с Центрального телеграфа сняли портреты членов Политбюро (не может быть! Ну хотя бы одного оставили же?), ринулись туда, дабы своими верноподданническими, но уже сомневающимися глазами убедиться... неужели? неужели? Конечно, сейчас и экономический бардак, и страшные контрасты, и убийцы, и не меньше вранья, но все-таки какое счастье, что мы выбрались из царства одной Извилины, в котором прожили бы, может быть, и спокойнее и зажиточнее, но пошло и унижительно! О, где вы, первомайские лозунги на первой полосе «Правды», серьезная и увлеченная дискуссия о путях перехода от социализма к коммунизму, покорное созерцание мастодонтов в Политбюро и брызги ядовитой слюны в адрес разных рейганов и тэтчер! У меня вылезли глаза из орбит, когда я увидел, что Горбачев на парижской пресс-конференции выступает без бумажки! И все-таки окно в Европу прорубил он, все мы вышли из его нелепой, скроенной из странных заплат шинели! И заговорили все, и все без бумажки, да так громко, что затряслись и рухнули стены всей державы. Но зато как приятно видеть живые лица живых людей – ведь если по большому счету, то водораздел между нашим ушедшим социализмом и любым другим нетоталитарным обществом пролегает по человеческой душе: наш социализм сдерживал и часто убивал дурные и хорошие человеческие инстинкты (Сталин не в счет, там просто море крови), в свободном же обществе расцветают одинаково и цветы добра, и цветы зла, вот ужас-то! Эх, коллеги мои дорогие, как же вы не цените того, что вам позволили писать и даже издавать на Западе шпионские мемуары, ругать почем зря и без страха потерять пенсию самого президента, строить баню в саду на собственной даче без высочайшего разрешения властей! А помните те совсем недавние времена, когда даже в кагэбэвском дачном поселке метром измеряли дачи и требовали убрать лишние, не положенные пятьдесят сантиметров, грозя применить бульдозер! Забыли, милые? Или просто хочется прежней непререкаемой, хотя и убогой, власти, когда легко можно было «не пуцать»? Но теперь-то вы хоть поняли, дураки, что быть секретарем райкома или шефом резидентуры – хлопотно и неплодотворно? Другое дело, когда твоей становится когда-то общая собственность, и пухнут банковские счета здесь и в Швейцарии, и загранпаспорт всегда на руках, и детишки ждут общения с солнцем на Канарских островах... (Тут я улыбаюсь, вспоминая, как сразу же после того, как я поведал

Крючкову о своих страшных планах развода и брака, у меня в панике отобрали заграничный паспорт, который я не сдал, ибо в те божественные времена с его помощью можно было заполучить и номер в гостинице, и билет в хороший театр.)

Так что, господа бывшие товарищи, вы, кроме старых, больных и непроходимо бездарных, ничего не потеряли, только выиграли – стройте теперь на здоровье светлое капиталистическое завтра, только не забывайте об уроках прошлого: когда отправляете в свой ненасытный рот куски мяса в толпе голодных, они могут и возроптать, а то и тихо придушить... На Западе после октябрьской революции это быстро усекли, мобилизовали рычаги государства, создали социальные программы, а у нас же сейчас все, кто может, только набивают себе карманы, не думая о неизбежном возмездии.

Но вернемся к нашим баранам (будто мы далеко от них ушли).

Летом 1991 года впервые после опалы я дерзнул вместе с Таней совершить вояж за границу – в Венгрию. Будапешт был пестр и ярок, как поле цветов, над мутноватым Дунаем великолепно нависали мосты, от дворцов и монументов веяло усопшим величием Австро-Венгерской империи, пахло и иронией в адрес Большого Брата: майки с изображением солдата со спасенной девочкой на руках, с портретом Карла Маркса и надписью: «Разыскивается – живой или мертвый!»

Мы с Татьяной бродили по городу без усталости, а вечерами, накупив французских сыров и сухого вина, сидели у телевизора – там и прозвучала весть о том, что Крючков выступил на заседании Верховного Совета, где вытащил на свет цзувский документ о необходимости вербовки в СССР «агентуры влияния», – председатель КГБ прозрачно намекал на тех, кто группировался тогда вокруг Горбачева и Ельцина.

Вскоре мы вернулись, несколько раз я выступил с критикой Крюčkова по российскому телевидению, даже сказал, что он подкладывает мину под Горбачева, – ожидал в ответ грома и молний, однако стояла подозрительная тишина (зачем размениваться на мелочи перед переворотом?), после шумных политических бурь август просто являл собою буколическую картинку, казалось, что все утомились, разъехались по дачам и занялись сбором грибов.

Я засел за статью «Морж, Плотник и агенты влияния», долженствующую наконец пролить свет на загадочную проблему «влияния», статью поставили в номер «Огонька», выходящий 23 августа.

Я уехал на дачу, беззаботно ел там сливы, пока рано утром девятнадцатого не включил случайно радио и не услышал заявление советского руководства и обращение к советскому народу. Весть о болезни Горбачева и о переходе бразд правления в руки Янаева звучала будто из старого-старого, изрядно затасканного фарса.

Итак, переворот¹⁰³ – о своей судьбе я не задумывался, ведь я не политическая фигура, а заткнуть рот пишущему так просто: закрыть газету или запретить книгу – и точка. Впрочем, к нам, ренегатам, особое отношение, уже утром девятнадцатого арестовали подполковника Уражцева, следователя Гдяна, пошли машины за Калугиным, но он скрылся в «Белом доме».

Не было у меня сомнений, что Сашу и остальных ведущих «Взгляда» постараются тут же «нейтрализовать», вообще сознанию, воспитанному на Марксе– Ленине, переворот представлялся четко: захват радио, телеграфа, банков – поэтому удивляла непоследовательность заговорщиков.

Дневной электричкой (машину оставил на всякий случай на даче, с машиной в Москве не превратиться в человека-невидимку, да и под танк в суете немудрено попасть) двинулся в стольный град, на платформе стояло жуткое молчание, пока какой-то пьяненький тип при костюме и атташе-кейсе не запел осанну ГКЧП (наконец наведут порядок!), тут два мрачноватых парня не выдержали: «Назад захотел?» В свой социализм, сука? Зачем он тебе? Да

103

Мятеж не может кончиться удачей, –
В противном случае его зовут иначе.

мы не только себе заработаем, но и тебе, дураку, дадим!»

На улице и во дворе было как обычно: на скамейке пили мужики, с деревьев каркали вороны, рядом прогуливались мамы с детишками, наслаждаясь ароматом помойки, в которой возились голуби.

Не успел я войти (было уже часа два), как затрезвонил телефон: звонил друг детства, которого в свое время я вытянул в ПГУ – это он забыл, зато стукаческие качества развил в себе изрядно: «Что делаешь? Тебя еще не арестовали?» (Последнее в полушутку, чтобы прикрыть неожиданный звонок, вроде бы и забота: если арестуют, не забыть прислать передачу.) Я усек, что устанавливают мое местонахождение, и послал его подальше, он не обиделся и перезвонил: «Что с тобой?» Ты только сейчас приехал? Слушай, ты не заметил, есть ли в вашем овощном картошка?» – проблема картошки, конечно, поважнее переворота.

Я позвонил Саше, и на сумбурной смеси датского со шведским мы договорились о встрече через два часа – беспомощно-хитроумный расчет: пока найдут переводчиков, пройдет много времени.

Моросил дождик, я прошел дворами, сознавая всю примитивность и бесполезность подобной проверки и, глупо крутя головой, соображавшей весьма туго, даже отстраненно, будто кто-то другой нес ее, великолепную, на своих широких плечах, сменил пару раз поезда в метро (проверка на дурака, непростительная для резидента, за это я с любого подчиненного снял бы штаны). Встретились мы у ВДНХ, рядом с мухинской скульптурой симпатичнейших рабочего и крестьянки, я подсел в машину к сыну.

Дитя выглядело здорово, как всегда уверенно и деловито, я забыл о перевороте и любовался сыном в профиль (анфас он еще лучше), беседа шла в обычной бойцовой манере двух столкнувшихся грудью петухов, сквозь дым и огонь иногда прорывались и здравые суждения.

Жаль, что не записали на пленку разговор – блестящий диалог для пьесы абсурда: итак, уходим в подполье, аппаратура «Взгляда» запрятана, связь через тайник (остов фонаря на площади, не называю какой, авось пригодится), нелепые условия связи вроде явки в Таллинне у отеля «Виру» на Новый год, масса телефонов – как мы беспомощны в критические минуты, да нужно было год назад все подготовить!¹⁰⁴

Вскоре Саша, заткнув мою отеческую глотку, уже солировал в наглой манере ведущего популярной программы (это успокаивало), машина летела на обычной криминальной скорости по проспекту Мира, у светофора с нами поравнялся водитель «Жигулей», опознавший известного борца за свободу, и прокричал: «Что будем делать?» Ответ взбодрил даже меня: «Отбиваться руками, ногами и головой!» – особенно успокаивало последнее.

Еще раз телефоны, фамилии, адреса – и мы расстались до шампанского в Таллинне на Новый год.

Вечером отправился я к «Белому дому» – не защищать, нет! мне это и в голову не приходило, – я пытался оценить ситуацию, казалось, что вот-вот – и этот глупый спектакль отменят и найдут компромисс, впрочем, Ельцин объявил гэкачепистов вне закона: это и пугало, и вдохновляло. Народу вокруг «Белого дома» было ох как негусто, баррикады только зачинались, и было ясно, что при желании все это можно смести в несколько минут. Решатся ли заговорщики пролить кровь?

В этой нерешительности, над которой презрительно хохотали бы Владимир Ильич и Феликс Эдмундович, и кроется провал всего переворота. Все было готово к захвату, но дело крутили не фанатики-большевики, а отвыкшие от крови чиновники, которым очень хотелось сохранить благопристойный фасад и дома, и за границей, и собственность, и дачи¹⁰⁵, к тому же давно известно: того, кто отдает приказ стрелять и пускает кровь, умные политики терпят лишь до прихода к власти, а затем спокойно закалывают, как борова, даже не поблагодарив за победу.

¹⁰⁴ Ощущаю себя просто товарищем Сталиным, прокакавшим начало войны.

¹⁰⁵ Тогда еще не все представляли, какая шикарная жизнь наступит у посткоммунистической номенклатуры. Зачем переворот, дураки?

Неожиданно я услышал голос Саши, он вещал вместе с Политковским по радио «Белого дома», горячие новости перемежались с оргкомандами – не сказал, что поедет в парламент, морочил мне голову Таллинном и подпольем, решил не волновать папу.

Поздно вечером привычные уху сцены из «Лебединого озера» сменил дурной спектакль ГКЧП на пресс-конференции – меня не покидало ощущение нереальности происходившего.

На следующий день тучи сгустились и запахло порохом, прибавилось танков и патрулей, участились слухи, что вот-вот начнется штурм «Белого дома», мы с женою туда отправились, народу заметно прибавилось, группа священников в рясах пела молитвы недалеко от памятника Павлику Морозову, юноша разносил пирожки на подносах (бесплатно, но брали немногие), и снова лица, какие лица! – такие никогда не забыть – сколько чистоты, сколько самопожертвенности, я смотрел и любил их, я гордился своим народом¹⁰⁶.

Вечер спускался медленно, мы прошли пешком до Горького – и тут потянулись ряды танков, грохот стоял, как перед парадом, танки промчались к Белорусскому, группки прохожих, прогуливавших собак, глазели на ревущие машины и испуганно между собою перешептывались.

Ночь с 20-го на 21-е была страшной: я гнал от себя мысли о штурме и о том, что будет с Сашей, а тут «Эхо Москвы» и «Свобода» (когда первую отключали, мы присасывались к последней): комендантский час, к центру идут танки, намечено блокирование Дома правительства спецназом, шестнадцать баррикад вокруг «Белого дома», на случай обстрела в здании погашен свет, речники привели к набережной у парламента баржи с оборудованием для тушения пожара, члены российского правительства получили оружие, БТРы двинулись на баррикады, автоматные очереди в разных частях города, на штурм «Белого дома» выделены 30 танков, 40 БТР и тысяча человек, горят троллейбусы на Калининском, гибель молодых людей, прорыв первой цепи баррикад, залпы орудий, возможность газовой атаки, снайперы на крышах зданий «Украины» и СЭВа, прибытие Витебской десантной дивизии КГБ...

Ужасная ночь! Заснули мы лишь под утро.

Следующий день начался мрачно, я посетил редакцию «Совершенно секретно», где кое-кто уже прикидывал, как по-новому делать газету, прошел на Пушкинскую площадь и вдруг из репродукторов у «Московских новостей» услышал: «Они бегут на аэродром!» – «Ур-ра!» – ответствовала толпа.

Рядом оказался мой бывший коллега, сидевший под вывеской АПН, он искренне радовался, и я подумал: как всем осточертела Система! Мы радостно пожали друг другу руки, словно всю жизнь отдали борьбе с коммунизмом¹⁰⁷.

Я двинулся в «Огонек», где народ вел себя спокойно и даже беспечно, оказалось, что уже в понедельник появился цензор и наложил вето на мою антикагэбэвскую статью, но редактор не унывал и пообещал расклеить ее на стенах метро, впрочем, к среде цензор уже слинял и «Огонек» вышел без купюр.

К вечеру все уже стало ясно: путч провалился, тогда мы еще не понимали, что закончилась целая эпоха и новые испытания грозят и стране, и народу, закончилась эпоха, аривидерчи, эпоха, гуд бай, прощай, – и жизнь моя в этой эпохе тоже адье!

И все-таки почти все осталось в той ушедшей Эпохе, и сейчас забывается все мерзкое, все позорно рабское, и уже кажется, что не накладывали мы в штаны и не давили в себе самое лучшее, свое, человеческое. Лезут в голову розовые буколические картинки: угол в сочинской переполненной лачуге, где ночевал с возлюбленной, честные правдолюбцы – простые советские люди на коммунальной кухне, выпивоны после демонстраций и гуляния по улице Горького, гордость за Державу, когда запустили в космос Гагарина, радостные пикники в тогда еще не загаженных лесах (видимо, потому они и оказались загаженными), инструктор райкома, который просто так помог с ремонтом (попробуй сейчас!), да и какие были «микояновские» сосиски в сравнение с дерьмом, которое сейчас повалило к нам с Запада! Да и как славно у нас

¹⁰⁶ И опять обдурили!

¹⁰⁷ Сейчас такими уже считают себя почти все, аж тошно от борцов.

было в нашем (!) Крыму и на нашем (!) Кавказе, разве можно сравнить нашу красоту с переполненными побережьями Испании или Франции? Что имели – не ценили, а сейчас плачем! Да и не только фигней мы занимались на партийных собраниях, помнится, даже исключили из партии грубияна, который бессовестно третировал соседку по коммунальной квартире, – разве не торжество справедливости? Попробуй сделать это сейчас, особенно если это качок или рэкетир! Конечно, и тогда одни жили лучше, а другие хуже, но чтобы строить такие наглые роскошные виллы... нет, все-таки у нас было чувство порядочности и коллективизма, многим, кто зарывался (исключая, естественно, самую верхушку, да велика ли она была?) давали по носу, и писатели, и поэты не нищенствовали, а творили и жили счастливо (о том, что писалось большинством, в те дни как-то забылось), ну а если о ценах... тут от ярости повалил дым из ноздрей, заскрипели челюсти, разлетелись по комнате осколки зубов.

Эпоха закончилась; но жизнь надо продолжать, что ж, взбодримся, подтянем штаны, вспомним Тютчева:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести.

А потом ничего не изменилось – одни названия, хотя те же рожи.

А потом наступил октябрь 1993-го, и снова танки, но только посерьезнее и с пальбой, и снова неизвестность, и ощущение финала, и снова, и снова...

Телевизор. CNN.

Зеваки гурьбой переливались с одного края на другой.

Обезьянка за рулем рядом с пылающим останкинским зданием.

Там же, у пруда, пьяный в трусах, он не слышал грохота, не видел трассирующих пуль.

«Что делаешь?» – «Купаюсь! А что?»

Действительно, а что?

Труп мальчишки в луже крови.

Танки лупили по «Белому дому», и я ловил себя на том, что увлечен зрелищем, как будто я в кино. Больно, но не нравились ни те, ни другие.

Не выбежал.

«Мы победили, мы победили! – радостно голосили по телевидению. – Не упустим же победу, господа!»

У Лопеса:

Никто ни слова и не сказал.
А я – что мне за дело? –
Все не берусь за дело,
Все слышу залп расстрела.

...По полусломанному радио хрипловатый голос сообщает, что двери закрываются, и двери действительно закрываются, и электричка, словно история, движется вперед, набирая скорость, вперед и вперед – к лучшему.

Я люблю электрички, там люди выключаются из бурного бытия, с лиц спадает пелена суеты, они смягчаются, кто погружается в думы или, не мигая, разглядывает привычные натюрморты за окном, кто дремлет или листает книгу.

Входит нищий инвалид и заводит тюремную песню, оживают сердобольные старушки, пьяные поднимают головы и вслушиваются в тягучие слова, а нищий с протянутой кепкой бредет меж скамеек, благодарит и желает всех земных и неземных благ.

Врывается мальчишка с газетами и бодрым голосом объявляет: московская мэрия продала всех и вся, опять в кустах нашли расчлененный труп, а валютная проститутка в своих мемуарах раскрывает тайны профессии.

Старый пенсионер вздыхает громко по поводу нравов, женщина прижимает бледного

ребенка к груди, две тетки в один голос сетуют на цены, но тема исчерпала себя, и лица снова обретают покой, стучат колеса, каждый погрузился в себя.

Воробей-путешественник спросил у полузамерзшего волка, зачем он живет в таком скверном климате. «Свобода, – ответил волк, – заставляет забыть климат».

Я чувствую себя, как волк.

Мне холодно, но я не хочу в прежний климат, я одинок, но в электричке вдруг ощущаю сопричастность своему народу (особенно нелепо это звучит, если представить, как жмут бока и плюются от злости), поразительное чувство одной судьбы.

Одна, другая, десятая остановка, люди сходят, как в жизни, появляются на свет новые пассажиры – поезд идет дальше, вспыхивает пламя прошлого за окном, и из дымки машет рукой мама, я совсем забыл ее, бедную, она умерла давно, а она так любила меня, и отец появляется в гимнастерке и портупее и показывает записку, оставленную 24 июня 1941-го: «Мои дорогие! Сегодня уезжаю. Родной Мишунька! Еду бить фашистов. Помни, что твой папка был всегда в первых рядах в борьбе с врагами нашей родины. Мы отстоим право на свободную, трудовую жизнь народа. Целую тебя, мой родной мальчик, целую вас всех. Родная Милуша! Тебе все понятно. Расти и воспитывай сына, сделай его достойным своего отца, будь сама стойкой... До свидания. Обнимаю и целую вас всех. Петр», – он читает записку и хмурит лоб, и я чувствую его руку, сжимающую мою в предсмертной тоске, уже без сознания, уже, наверное, на пути к небу.

Вспыхивают, восходят лики, и я вижу Катю, она умерла внезапно, она удивилась этому, и до сих пор на лице у нее ироническая улыбка: «Неужели ты поверил, что я умерла?» Конечно, не поверил, это невозможно, потому что невозможно никогда, слышишь, Катя?

А вот Игорь, у которого прятал чемоданы с запретными книгами, – всю жизнь спорили и мечтали о свободе, но лишь блеснул ее луч, и он умер, словно дождался и не захотел смотреть дальше, эх, старик, сейчас самое время доспорить, что лучше: просвещенный абсолютизм или парламентская демократия.

И два Володи, которых так не хватает...

И тут врывается балаган, моя ушедшая, еще не понятая самим жизнь, конспирация, глухие явки, служение Делу, тайники в кирпичках, шутовской хоровод агентов, суровых дипломатов, улыбчивых парламентариев и занудных ученых мужей, – они бредут, распевая революционные песни, размахивая денежными купюрами, красными флагами и цветными клоунскими колпаками, они шагают караваном медленно, словно по Великому шелковому пути, они любят и ненавидят меня, они уважают и презирают меня, они хохочут и закатывают истерики, полыхает солнце, жмурятся дамы-агенты и дамы – просто гак, и Ким Филби вдруг говорит, что был и умрет коммунистом, и рядом друзья, бывшие и настоящие, наложившие и равнодушные, разорвавшие и восстановившие, мой караван, огни мерцают сквозь туман, мой караван, – шагай, звеня, моя любовь зовет меня.

Бывший коллега, волоча ногу после инсульта, вдруг возникает на улице и, не успев еще нарадоваться счастью встречи, скривив рот, шепчет: «Старик, ведь мы с тобою всю жизнь проиграли в бирюльки! Разве разведка – это работа?» – «Да брось, – отвечаю я, – любая жизнь – абсурд. Разве не глупо, что мы случайно рождаемся и случайно умираем?» – «Нет, я не об этом, я давно знаю, что человек – это дерьмо, я не об этом, я о разведке...» – «Ты работаешь?» – «Не могу я работать, и не хочу! Зачем? Хватит пенсии!» – «А что же ты делаешь?» – «Трахаю, старик, и знаешь, это, пожалуй, самое лучшее занятие».

Тургенев писал: «Нужно принимать немногие дары жизни, а когда подкосятся ноги, сесть близ дороги и глядеть на проходящих без зависти и досады: и они далеко не уйдут». Добрая душа Иван Сергеевич!

Электричка тормозит, тупо пыхтят и открываются двери, голые фонари на голой остановке, над замершим лесом всходит золотой купол церкви, сосны, придавленные снегом, тропинка меж кустов, я бегу по ней, глядя на ходу деревья и вглядываясь в птичьи следы на снегу, я бегу – вот и луковка с крестом, устремленным в голубое небо.

«Кто будет верить и креститься, спасен будет...» – протяжный глас, я вхожу, ослепленный вытертыми лицами на стенах, и в глазах лики – лики близких, живых и мертвых, и меж нами лишь быстротекущее время.

Не поздно ли спохватился, мальчик, не ставший кардиналом, но выбившийся в полковники? Думаешь, это спасет тебя? Рассчитываешь проскочить в рай, чичероне, как проскочил из коммунистов в антикоммунисты?

Отец отвернул лицо, лики безмолвны.

Шуршит стопка фотографий. Круглолицее дитя в пеленках на руках у счастливой мамы. Ухоженный мальчик в бриджах. Юноша в отцовских сапогах и бекеше. Покоритель Лондона во фланелевом костюме у статуи принца Гамлета. «Мерседес» и довольный собою резидент около русалки в Копенгагене. Помятая морда в Москве-реке.

Will-o'-the-wisp – блуждающий огонек.

Или по-латыни: Ignis Fatuus – глупый огонь.

Глупые, блуждающие огоньки вспыхивают ночью над болотами от внезапного сгорания метана. Они неуловимы и опасны, они увлекают в топи заблудившихся путников, обрекая их на смерть. А еще говорят, что это проклятые души, которые мечутся и мучаются и несут свой адский огонь.

Так и ты пролетел сквозь жизнь, глупый огонек...

Поезд проносится мимо, и нет святой обители, она осталась за лесом, сын говорит, что я ничего не понимаю, да и все мое поколение дураки, и жена говорит, что ничего не понимаю, а я твержу, что они не понимают, потому что дураки, поезд несется дальше, все остается позади, и совсем один, абсолютно один, невозможно один, застыли мудрые воробьи на проводах, не задают глупых вопросов волкам, спит бабка, прижимая к груди авоську с картошкой, парень разгадывает кроссворд, стучат колеса, сбивая стуки сердца, моя страна, моя страна, моя страна, все остается позади, поезд мчится все дальше и дальше, гадалка, гадалка, какое великое счастье, что путь мой тобой не означен, неточно прочерчен пунктиром, что не обречен я на счастье или на несчастье, и неясно дрожит моя звездочка в водовороте капризном, в мерцанье морозного мира.

Прозрение победителя

(Михаил Любимов – человек, полковник и писатель – как типичный представитель своей эпохи)

Кого сегодня удивишь воспоминаниями отставного разведчика?

Читателю в руки плывет их великое множество. Пишут все: от больших начальников до перебежчиков, которые пытаются предстать не офицерами, изменившими присяге, а идейными борцами. (Тень легендарного Кима Филби не дает им покоя.) Словом, перед нами очевидный избыток произведений данного жанра. Да и шпионский роман на книжном рынке неплохо смотрится и с точки зрения занимательности может без усилий потеснить документальное повествование. Ведь талантливый вымысел много увлекательней правдивого описания повседневной рутины.

Но эта книга, уверен, читателя удивит. Удивит прежде всего литературным даром автора. Это не просто очередной томик воспоминаний, в котором ищешь дотоле неизвестную информацию. Текст читается с удовольствием, которое и призвана доставлять художественная литература, – наслаждаешься стилем, зоркостью, остроумием автора.

И потом, много ли мы читали воспоминаний жандармских чинов, где почти каждая фраза пронизана довольно злой самоиронией?

У нас как-то не принято было писать о войне с юмором, что, впрочем, и понятно, – слишком велика была трагедия народа...

Но как решиться и, взрывая традицию, написать с юмором и иронией о «тайной войне», в которой, по нашим обыденным представлениям, любой наш разведчик – полновесный герой?

Осмелюсь повторить то, что писал лет пятнадцать тому назад и совсем по другому поводу: настоящая литература начинается с беспощадности к самому себе.

Любимов беспощаден к себе? К своему герою?

Книга не зря названа «мемуар-роман». Отношения рассказчика и героя сложны и неоднозначны. Конечно, как сказать, материальной основой повествования является

биографическая канва одного конкретного человека, Михаила Петровича Любимова, школьника, студента, старлея, потом полковника советской разведки. Но можно ли поставить между автором и героем воспоминаний знак равенства? Зная Михаила Петровича, я бы воздержался...

Страницы, посвященные работе Любимова в Англии, неожиданно напомнили мне прелестный английский фильм «Мистер Питкин в тылу врага», и как-то вдруг проговорилось: «Англофил Любимов в тылу...».

Но сам-то Михаил Петрович ничем не напоминает простодушного и неуклюжего мистера Питкина. Любимов обаятелен, умен, хитер и точен. Но что сохранилось в сегодняшнем авторе от того юного старлея, задачей которого была вербовка британских консерваторов? Думаю, что, даже несколько раз перечитав книгу, мы этого не узнаем.

Любимовский герой типичен. Попробую это доказать. Типичен он не фактами биографии (престижный институт, работа за границей и т. д.), а своей духовной эволюцией. Писатель Любимов откровенно и иронично поведал историю своего поколения, которое выросло из недр победившего класса, он показал его, казалось бы, подкрепленный самим ходом истории взлет и неожиданный для многих столь быстрый крах.

Что бы с героем ни происходило в дальнейшем, у него в детстве был старинный особняк во Львове, охраняемый часовым. Примерно в этом же возрасте я с матерью и теткой, как теперь понял, ютился, а тогда просто жил в пятнадцатиметровой комнате в доме на Неглинной улице прямо напротив Госбанка. В квартире была дюжина комнат и еще больше жильцов. По утрам в туалет выстраивалась солидная очередь. Уже много лет спустя я узнал, что когда-то квартира эта принадлежала отцу моей тетки, учившейся в знаменитой в то время гимназии Ржевской.

Герой Любимова с детства усвоил, что принадлежит к передовому, победившему классу. Ему, одаренному и умному, легко училось и в охотку работалось. Он кожей чувствовал, что за ним и ему подобными правда Истории.

Мне же с детства внушалось, что я, увы, из побежденных, из обреченного класса и суждено мне честно и лучше без мучительных раздумий служить победителям. Покойный князь Петр Оболенский, учившийся в пажеском корпусе вместе с Феликсом Юсуповым и в училище правоведения с будущим патриархом Алексием I, проживший тридцать лет во Франции, так и не приняв французского гражданства, и вернувшийся умирать на родину, убеждал меня: «Любая власть, даже эта, от Бога». До сих пор для меня этот удивительно красивый и благородный человек остался образцом истинного патриота России.

К побежденным прозрение приходит трудно. Их душит комплекс вины, не собственной, а предков. Те не хотели или не сумели раздать всем по причитавшемуся кусочку свободы, равенства и справедливости. Чтобы искупить их вину, скорее встань в строй.

А как прозревают победители?

Из дневника рассказчика 1970 года: «И я всем обязан Ленину, и я!» А разве не так? Кто был ничем, тот стал всем. Уж для среднестатистического советского обывателя 70-х годов точно...

Мне, читателю, правда, знакомому с автором, кажется, что Михаил Любимов был превосходным разведчиком. Один его коллега, контрразведчик и тоже полковник, в своих пока еще не опубликованных мемуарах определил их общую работу страшновато, но точно – «охота на человека». Но на человека «охотятся» каждый по-своему – и священнослужитель, и политик, да и писатель. Быть может, именно в этом и кроется объяснение того, что среди разведчиков было немало очень неплохих писателей. В одной столь любезной сердцу нашего автора Англии: Даниэль Дефо, Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Комптон Маккензи, Джон Ле Карре...

Эту самую «охоту на человека» не только в переносном, но в самом прямом смысле слова страшнее всего показал Ле Карре в своем знаменитом романе «Шпион, пришедший с холода». В разведке всегда действовал двойной счет. Грубо говоря, если ты – сам охотник или из семьи охотников, это – одно. А вот если ты из жертв...

Думаю, не ошибусь, предположив, что и в роли «охотника» Любимов был победителем. Иначе как бы он, англофил, бонвиван и немного сноб, одним словом, яркая и выбивающаяся из всех ранжиров индивидуальность, сумел проработать и сделать карьеру в системе, мягко говоря, индивидуальность не поощрявшей.

Так все-таки где же и как началось прозрение?

Невозможно уйти от перекрестья судеб.

Любимов впервые оказался в Лондоне в начале 60-х. Я – в 1969 году. Он был несколько лет; я – всего неделю.

Он изучал этот поразительный город; я только соприкоснулся с ним. «Его» Лондон, без сомнения, дал могучий толчок его духовному движению. Мой лондонский опыт – молодого аспиранта, пишущего диссертацию по английской литературе и волею судьбы ставшего переводчиком писателя Анатолия Кузнецова, оставшегося в Англии, – притормозил мое развитие лет этак на двадцать. Любимов был профессионалом. Во всяком случае, его учили, что надо делать и чего остерегаться. Я же, в сущности тот же самый англофил, оказался в ситуации невыносимой и экстремальной – исчезновение в чужом городе знаменитого писателя, два дня полной неизвестности, веселый и деловитый цинизм прессы, попытка давления на меня со стороны британских спецслужб (?!). Никогда не забуду то чувство растерянности и ужаса, охватившее меня; сознание того, что ты – пешка в какой-то игре непонятных и могущественных сил, никчемная жертва чьей-то удачной охоты...

Что же могло быть общего у кадрового разведчика и скромного специалиста по английской словесности, знания которого нужны сегодня только ему самому? Любовь к литературе и, конечно же, к Англии, несмотря ни на что.

И общность эта являла себя фактами биографий. В своем посольском качестве Любимов общался с известными английскими писателями лордом Чарлзом Сноу и его женой Памелой Хэнсфорд Джонсон. А мне, студенту старших курсов и аспиранту, не раз приходилось доставлять его лордство после дружеских московских вечеринок в гостиницу «Советская». Их сын, Филипп, однажды отмечал свой день рождения у меня дома. Так сложилась судьба, что я был последним из русских друзей, навестивших Памелу Хэнсфорд Джонсон буквально за несколько дней до ее смерти. Общался Любимов и с восходящей звездой английской прозы 60-х годов молодым Аланом Силлитоу. А нам с ним выпало проехать на его машине от Ленинграда до Черновиц. Это был второй приезд Силлитоу в нашу страну. Результатом первого была книга «Дорога на Волгоград», проникнутая симпатией к нам. Много воды утекло с тех пор и в Москве-реке и в Темзе, но я и, надеюсь, Алан с удовольствием вспоминаем это путешествие.

Думаю, первые ростки прозрения пробивались сквозь двойственность присущего Любимову мировосприятия: «одной рукой строчивший поэмки «в стол», другой – шифровки в Центр»; и, работая против Англии, он все больше влюблялся в эту страну и привязывался к ней. «Мой Альбион», – пишет он, и тут, как говорится, ему все карты в руки. Любимов рано прикоснулся к другой жизни, – речь тут вовсе не о материальном благополучии, а о стиле, о форме существования. До сих пор сильна в Англии традиционная рутинность, для кого-то желанная и привлекательная, но дававшая и своих бунтарей и диссидентов, недовольных тем, что в Англии мало что меняется и почти ничего не происходит. В самом деле, хорошо это или плохо, когда каждое утро в точно определенное время вам под дверь ставят бутылку молока? Стабильность и хаос имеют и своих противников, и своих приверженцев.

Может быть, традиционность британского общества отчасти и способствовала прозрению выходца из революционного класса Любимова?

Но, думаю, самым важным фактором была его работа в разведке, увлекательная и ненавистная. Увлекательная, ибо невозможно достичь высот в деле, которое тебе чуждо. Ненавистная, потому что с годами все сильнее было чувство бессмысленности того, чем занимался.

Возьму на себя смелость утверждать, что драма полковника Любимова была в том, что он до поры до времени верно служил Идеологии, а не Факту. И призову на помощь мнение человека в вопросах «тайной войны» безусловно авторитетного – графа Александра де Маранша, много лет руководившего французской секретной службой: «В конце концов, разведка существует со времен пещер, когда одно племя хотело выяснить, чем занимается другое. Она не делает ничего отвратительного. И в России, кстати, мы ничем отвратительным не занимались. Ее цель – узнавать, осмысливать и докладывать политикам. Кстати сказать, знаете, чем отличается политик от государственного деятеля? Политик не любит плохих

новостей – только хорошие. Если он будет преподносить народу, то есть избирателям, только плохое, за него не будут голосовать. Государственный деятель хочет и должен знать все». Разведчик Любимов довольно быстро понял, что служит политикам...

Писатель Любимов написал веселую и печальную книгу. Откровенная абсурдность положений, в которых он оказывался, не может не вызвать улыбки. Но, рассказывая с иронией свою жизнь, Любимов написал историю поколения людей, в большинстве своем честно и искренне служивших тому, что в какой-то миг рухнуло и многих погребло под обломками.

Печально и страшно на склоне лет понять, что лучшие годы твоей жизни оказались прожитыми зря.

Если, конечно, мерить всех нас по гамбургскому счету, когда на весах лишь Добро и Зло...

Георгий Анджапаридзе

На первом форзаце: Счастливое детство Прототипа, 1942 год, г. Ташкент

Отец Прототипа в чекистской форме

На втором форзаце: Катя на Трафальгарской, 1964 год, г. Лондон



